TextUs

Правила игры в человека

Составитель:

Макс Фрай

Оглавление

Мария Станкевич

Ходят

Вера Филенко

Скажите сыр

Макс Фрай

День, когда мы убили всех толстых

Лея Любомирская

Лусия
Заказывать будете
Успела
Сеньор Луис
Уж как-нибудь
На четвёртом этаже
Бабуля Леонильда
Очередь
Бывает в жизни рыба
Коробочка
Слёток Сильверий
Никого
Это я, Господи

Ася Датнова

Колонизация

Татьяна Замировская

Хлорофилл
Благословлены иметь тебя в своей жизни
Три один один
Новый фильтр
Оздоровительная гимнастика
И жизнь прожить и поле перейти

Екатерина Перченкова

Светлый

Александр Шуйский

Другие глаза
Какова вероятность
Круговорот

Лора Белоиван

Штормовое предупреждение
Сюрприз

Александра Зволинская

Пульс есть
Не отвечайте ему
Как сюда добраться

Ольга Березина

Моя идеальная сеть
Ноги

Юлия Ткачева

Коробка
ПТСР
Дежурство
Сосиска
Бабушки

Сергей Кащавцев

Новогоднее обращение

Кэти Тренд

Кто в заливе живёт
Обмен
Викинг с волчьей головой
Кукушкины слёзки
Нет преград
Мы с водой
Закрой глаза, открой глаза
Раскрывающая коробка синнабонов
Старый приёмник

Нина Хеймец

Гай цалма́вет

Яна Листьева

Четверо
Курица Необъятного
То же самое
Слоёный пирог
Неколыбельная
Сошью себе пальто
Элизабет, Лиззи, Бетси и Бесс
Требуется ночной почтальон
ЗОЖ

Совсем рядом
Туман
Те, кто придёт после нас
Как мне быть
Правила игры в человека

Мария Станкевич

Ходят

— Ходят тут, и ходят, и ходят. Чего ходят? Зачем ходят? Окаянные, ходят они. Судят они.

Руки у бабки сухие, жилистые, а живот большой. И грудь на этом животе лежала тоже огромная, тугая и даже не колыхалась, когда бабка напирала на лопату и всаживала ее во влажную тяжелую землю — хэкала, набирала и отбрасывала комья. Матвей бы так не смог, он слабый.

— И ходят, и ходят. Чего ходят? — бабка ворчала не зло, больше по привычке. Матвей висел на заборе, следил, как лопата вгрызается в землю бабкиными стараниями, и просто ждал: когда бабка закончит, она пойдет готовить обед и накормит его. Самого его к готовке бабка не подпускала, он суерукий.

Земля летела с лопаты, получался холмик, а под лопатой — яма. Матвей смотрел молча, с тихим интересом. Бабка ворчала, холмик рос. Большой черный мешок, обвязанный веревкой, вяло шевелился и мычал. Из небольшой прорехи торчало перо — белое, длинное. Наверное, мягкое.

— Ходят, и ходят, и ходят, — бабка воткнула лопату в холмик и устало сплюнула. Матвей сплюнул тоже. Украдкой — на удачу. Ему бабка плеваться не разрешала.

Мешок заколыхался, замычал громче. Бабка сплюнула еще раз, потом достала из кармана самокрутку, долго разминала ее, долго шуршала спичечным коробком. Матвей смотрел, как трясутся ее пальцы, но помощь не предлагал. Куда ему — к спичкам.

Закурив, бабка легонько пнула мешок: молчи уж, ходит он тут, мычит. Матвей тоже хотел бы пнуть, он на секунду представил, как это приятно, когда нога входит в мягкое. Но о таком даже заикнуться

невозможно, бабка быстро расскажет, какой еще он после этого. Хорошо, если в подвал не посадит, чтобы подумал.

Да и не сможет он. Слабый и суерукий. И еще какой-нибудь.

Матвей оглядел поле, сосчитал, сколько раз бабка рыла ямы. Много, штук шесть или восемь. Это если не считать самой большой ямы на дальнем краю, куда сбрасывала тех, кто попроще, кто и до забора-то добраться не сумел. Там уж без мешков даже. Интересно, у тех тоже перья? Или так? Матвей не видел, бабка туда соваться строго-настрого запрещала.

Бабка бросила окурок в яму и потянулась к мешку. Жалко, что перья не разрешает брать, все собирает потом и жжет тщательно. А Матвею бы пригодились. Смастерил бы что-нибудь, а то скучно.

— Ох, грехи наши тяжкие, — обеими руками бабка схватила извивающийся и мычащий мешок за угол и с трудом подтащила его к яме. Остановилась, отдышалась и сбросила мешок вниз двумя тяжелыми пинками (Матвей еще раз сладко представил). Затем снова взялась за лопату.

Когда яма перестала быть ямой и стала просто участком слегка взрыхленной земли, а бабка потянулась в карман за новой самокруткой, Матвей рискнул.

— Б-баб, а эт-то к-кто? Опять, д-да? — глупые вопросы, сейчас бабка как ответит! Но как удержаться?

— Да а кто ж, балбес ты этакий! Опять, ясное дело! Ходят они, судят они! — бабка тяжело дышала, выпуская дым. Матвей сначала обрадовался, что не ругается, а потом быстро испугался: чего так, вдруг помирает? Старая ж уже совсем, трудно ей с лопатой, а эти все ходят и ходят. Бабка иногда говорила: вот помру, Матвеюшка, один совсем останешься. Матвей не хотел оставаться один. Он и так один, кроме бабки и нет никого. Как Судный день прошел, так и нет больше. Кто его защитит от вечных мук? Он же слабый.

— Б-баб, ты в-в п-порядке?

— В порядке, Матвеюшка, в порядке, — бабка закашлялась, отхаркнула. Махнула рукой. — Сейчас докурю, обед пойдем спроворим. Чего хочешь?

Матвей пожал плечами: как будто выбор большой. Мука с лебедой, да лебеда с мукой. Если только вдруг мышь не попалась. Вчера не попалась. И позавчера тоже. А вдруг сегодня? Встрепенувшись и тотчас же забыв про перья, Матвей криво, но резво спрыгнул с забора и заковылял к дому — проверить мышеловки. Бабка только охнула вслед: куда сигать?! Ноги переломаешь! Матвей даже не оглянулся. Суерукий суеруким, а мыши в его ловушки нет-нет, да и попадаются.

Жалко, бабка ангелов есть не хочет. Надрывается, закапывает, а есть не хочет. Не по-христиански, говорит. А что они за ними все ходят и ходят — по-христиански, что ли? Если Судный день прошел, так все, что ли? И не живи никто? Жалко, Матвей слабый, а то он бы этих ангелов! Уж, поди, мясо будет не хуже мышьего.

Мышье, впрочем, тоже оказалось ничего. Повезло сегодня.

Вера Филенко

Скажите сыр

— о блядь, нет, пожалуйста, — тихо сказал ян, всматриваясь в окно. кира недоуменно посмотрела на него, потянула дверь на себя и решительно вошла в одиноко стоящий в тупике магазинчик с вывеской “своя еда”. внутри отчетливо пахло краской и козлом.

— кого я вижу! какие люди! — радостно закричал седой здоровяк в белом фартуке за прилавком.

— о блядь, — одними губами сказала кира и лучезарно улыбнулась: — добрый день!

мужчина довольно резво для своего возраста выскочил из-за прилавка и пошел на яна с рукой, вскинутой, как алебарда, точно целясь ему в живот. ян ловко перехватил ладонь и ответил на энергичное пожатие.

— какими судьбами, соседи? далеко вас занесло от дома, — здоровяк улыбался так, что казалось, будто его губы сейчас сомкнутся у него на затылке, и голова отвалится, как срезанная верхушка арбуза.

— да уж, — сказал ян. кира закашлялась и принялась изучать содержимое витрин. из подсобки за прилавок вышла рыжая тощая женщина в таком же, как на старике, белом фартуке.

— ого, — сказала женщина, — привет.

— липа, доча, покажи ребятам, что у нас есть, — сказал мужчина.

липа отодвинула стеклянную полку и запустила в холодильник руку, пальцем указывая на лоснящиеся под желтым светом головы сыра и творожные развалины.

— тут у нас свежие сыры, есть твердые, есть валансе, сент-мор-де-турен, шевр, есть раклет, а вот творог…

кира зачарованно следила за движениями пухлого пальца с коротким красным ногтем.

“беда”, подумал ян, вслух светски спросил:

— давно открылись?

— да вот на днях, только ремонт закончили.

ян осмотрелся по сторонам: крохотное помещение, несколько полок, заставленных затейливой бакалеей, хлебные корзины, ящики с ягодами и зеленью и ослепительно сияющий алтарь молочной витрины.

— все свежее, от местных фермеров и ремесленников, без всякой химии, натуральное, все свое, наше, — гордо сказал старик.

— отважно вы сейчас бизнес затеяли, — сказал ян, — да еще в таком медвежьем углу.

— кому надо — найдет, — развел руками мужчина. — и потом, все равно все не уедут. а вы сами как, пока не собираетесь? вы, кстати, кем работаете? что-то с компьютерами, кажется?

— дай денег, — сказала кира.

ян молча полез в карман и сунул кире кошелек.

— терминал еще не работает, — сказала липа и протянула увесистый коричневый пакет через прилавок.

— а вы себе ничего не возьмете? — спросил старик. — мясо у нас тоже есть, — и пристально посмотрел яну в глаза.

— не сегодня, — сказал ян, — нам пора.

— жаль, жаль, — сказал мужчина, — соне от артура привет.

ян вышел на улицу, закурил. за ним вышла кира, осторожно прижимая к груди бумажный пакет.

— у него такие глаза странные, — сказала кира. — как у рыбы. и сами они странные.

— странные-странные, но нагребла ты у них от души, — кисло сказал ян.

— ну, сыр-то нормально выглядит, — обиделась кира.

— посмотрим, — сказал ян. — поехали.

едва усевшись на сиденье, кира принялась шуршать пакетом.

— не ешь в машине, пожалуйста, — сказал ян.

— што это жа имена вообще — лыпа! майк! да ему сто лет, какой он майк, — сказала кира с набитым ртом.

ян покосился на жену: подол юбки уже усыпан

крошками, жирные пальцы тычут в кнопки магнитолы.

— сыр, кстати, правда нормальный — хочешь?

ян покачал головой и протянул кире салфетки.

по городу ехали мучительно долго, припарковались во дворе, где свирепо орали дети, бегая друг за другом с мокрыми палками, выловили из чумазой кучи дочь соню и наконец зашли домой.

на этаже сокрушительно пахло вареной свиньей.

— до сих пор воняет, — зажала нос соня, — что они там опять готовят?

— борщ, — предположил ян.

— у бабушки борщ не так пахнет, — заныла соня.

— или маленьких детей! — сделала страшные глаза кира и загремела ключами.

— у них самих дети, — устало сказала соня.

— артур не маленький, — педантично заметил ян.

соня закатила глаза.

— они меня в гости звали, кстати. можно?

— кто? — тупо спросил ян.

— артур. и липа. и майк. мы будем делать мыло.

— нет, — разозлился ян. — нельзя. с ними только во дворе.

— и то! — напомнила кира.

соня запыхтела и хлопнула дверью комнаты. родители устало переглянулись.

отпускать соню с этой семьей не хотелось даже в нейтральные воды общего двора, где артур, сын липы и внук майка, был рок-звездой среди детей — вместе они палили мусор в бочке (возмутительно), взрывали петарды, тискали откровенно лишайных котов, ели какую-то пакость из пакетов и делали вместе еще бог весть что, но в открытую конфронтацию вступать с ними не хотелось — предъявить им по существу, кроме костров в бочке, невнятных запахов в подъезде и рыбьих глаз, было нечего. также поговаривали, что они мелкотравчато стучат на соседей, поэтому ссориться с ними хотелось еще меньше — впрочем, как и дружить. как-то ян увидел, как майк с внуком стоят на крыльце и снимают на старенький телефон парней из пятого

подъезда, тихо переговаривающихся о чем-то возле песочницы.

— зачем вы их снимаете? — не выдержал ян.

— для истории, — сказал майк, и оба лениво посмотрели на яна своими невыносимыми рыбьими глазами, в которых плескался металл. подумав, ян решил не уточнять, для какой.

— да нормальный сыр, чего ты, — сказала кира и отправила в рот еще один липкий желтый ломоть, — попробуй.

— боже упаси, — сказал ян и открыл ноутбук. в почте было пусто — ну, как пусто, гора писем, среди которых не было единственного нужного, с подтверждением его перевода в филиал, прозорливо открытый компанией несколько лет назад в небольшой западной столице. вопрос считался уже решенным, но что-то застряло в толстой стопке внутренней бюрократии, закрытых границ и других проблем, и зависло, как три мигающие точки в окне мессенджера, как будто кто-то нудный пишет тебе бесконечное сообщение и никак не нажмет send. это ожидание выматывало не меньше самой атмосферы, которую хотелось экстренно покинуть или хотя бы вспороть ножом. не хотелось ничего, даже душеспасительного потреблядства: ни новых вещей (зачем они перед переездом? зачем вещи вообще?), ни путешествий (кто куда сейчас едет просто так? серьезно?), ни ресторанов (с кем? все равно все уехали, все равно все закрыто, на месте любимых заведений открывались блядские дискаунтеры, на месте друзей — отметки в соцсетях), не хотелось толком есть вообще.

— очень вкусный сыр, — мечтательно сказала кира, шелестя пододеяльником, резко села в кровати и убежала на кухню, гулко стуча пятками. где-то далеко стукнула дверь холодильника. ян хотел что-то сказать, но беспомощно провалился в сон.

тянулись дни, не заполненные ничем, кроме вязкого, тяжелого ожидания. “что-то сейчас будет, вот-вот что-то изменится”, с тихой надеждой говорили другу другу редкие оставшиеся — как заклинание

(“совсем скоро, это в воздухе уже”).

— это радиация, — мрачно говорила в окошко зума катя, кирина подруга. — в воздухе радиация. ну, не настоящая, просто она так выглядит: внешне ничего не происходит, но все меняется, и хрен пойми как, но явно не к добру. это как в том сериале про чернобыль: дети идут в школу, бабы рожают, каштаны цветут, а еще никто не знает, что уже все!

— слушай, может, приедешь? в трех шагах живешь, — раздраженно говорила кира, откусывая ломоть хлеба с щедрой порцией сыра, — или встретимся в городе, кофе выпьем как люди.

— ай, чего тащиться, и так кофе выпить можно. будущее! — отвечала катя, выходила из кадра, сверкая голыми ногами в пижамных трусах, и возвращалась с гигантской чашкой, из которой торчала нитка с желтым ярлыком.

кира закатывала глаза и отрезала еще кусок хлеба, клала на него еще кусок сыра — свежего, купленного в соседской лавке, в которую она стала наведываться почти каждый день. чаще она ездила туда сама, тайком, прикрываясь тренировкой или встречей с катей. иногда ее привозил туда ян и ждал в машине, пока она делала кассу липе и майку, и категорически отказывался зайти внутрь. где-то глубоко он малодушно радовался успеху соседского проекта — артур почти перестал тягаться по двору с детьми, помогая деду и матери в лавке, а запахи в подъезде стали редкими гостями. напрягало только то, что кира почти перестала есть что-либо, кроме сыра и хлеба, купленного все там же.

— хоть овощей возьми, — говорил ян, — или ягод. клетчатка нужна. и белок.

— в сыре белок, в хлебе клетчатка, — борзо отвечала кира.

— поешь нормально, — сказал ян. — ты как скелет.

парадоксальным образом на этой диете кира теряла в весе. ян заставил ее пройти обследование по семейной страховке от фирмы (будет ли такая страховка там? будет ли это там вообще? с каждым днем ян верил

в это все меньше и все глубже вгрызался в свои рендеры, с уютной скукой глядящие на него с его гигантских рабочих мониторов). обследование не выявило ничего драматичного, кроме умеренного дефицита витамина Д и опущенной почки.

— я ем нормально, — сказала кира. — что там с твоим переводом? с сониной школой нужно решать.

— решим, — сказал ян, стиснув зубы, и злобно защелкал мышкой.

вечера стали холоднее и длиннее, соня продолжала носиться по двору с воплями и рогаткой, однажды завалилась домой с огромной компанией — мам, мы в туалет, дай водички, есть что поесть?

— могу сварить сосиски с макаронами, — задумчиво сказала кира, изучая холодильник.

— это долго! давай бутеры! умираем хотим есть!

— не с чем, — быстро сказала кира, проворно захлопнув дверь перед носом дочери.

— с сыром!

— сыра мало, выбирайте: макароны или смерть. или гречка. — властно сказала кира.

дети покорились судьбе, через полчаса все сидели за столом, сосредоточенно наматывая на вилки утопающие в крови кетчупа спагетти. кира внимательно рассматривала артура, сидящего рядом с дочерью. длинный, рыжий, жилистый, как мать, и с блеклыми, словно постиранными, но цепкими глазами деда.

— а ты чего не ешь?

— а он вообще никогда не ест, — ехидно сказала пухлая фима из третьего подъезда.

артур внимательно посмотрел на фиму. та испуганно уткнулась в тарелку.

— такое, — тихо добавила она.

— я не голоден, спасибо, — вежливо сказал артур.

кира хмыкнула и стала убирать тарелки. еда была буквально уничтожена — посуду можно было просто протереть, за исключением тарелки мальчика. кира подождала, когда хлопнет дверь, и брезгливо соскребла

остывшие макароны в отдельный пакет — несмотря на то, что к еде подросток не притронулся, трогать ее самой тоже почему-то не хотелось.

— а вдруг они откажут? — спрашивала кира ночью, прижимаясь к яну костлявым боком.

— значит, откажут, — отвечал ян, осторожно перебирая ребра жены. — значит, буду искать другие варианты. тут нельзя оставаться.

— почему нельзя? — спросила кира.

ян повернулся к жене и внимательно посмотрел на нее, словно видя впервые.

— ты шутишь сейчас?

— нет, — спокойно ответила кира.

в темноте ее лицо казалось чужим. ян рассматривал ее, словно пытаясь собрать воедино новые для него ломкие линии — заострившийся нос, резкий подбородок, впалые скулы, о которых она всегда мечтала (о чем она еще мечтала? выучиться на режиссера? выпустить альбом? переплыть босфор? родить еще ребенка? невозможно вспомнить). линии отказывались собираться во что-то хоть отдаленно знакомое.

“смотрю ее, как наташа ростова — оперу”, подумал ян и рассмеялся.

— что смешного? — так же спокойно спросила кира. — а чем нам тут плохо?

— а чем нам тут хорошо? — тихо спросил ян.

кира напряглась, скинула с себя плеть руки мужа и пошла на кухню. оттуда донесся шелест бумажного пакета.

ян закрыл глаза.

наступила осень. соня с ворчанием пошла в школу — она уже раструбила всем одноклассникам, что уезжает в другую страну, и теперь возвращение выглядело позором. walk of shame! кричала она из прихожей на своем отполированном репетиторами и сериалами английском, хлопала дверью, и в квартире повисала тишина. ян вставал рано, с остервенением работал и варил супы, кира спала до полудня, с остервенением драила квартиру и ела сыр — уже без хлеба, просто кромсая его ножом и слизывая с лезвия

без малейшего страха порезать язык. в лавку они ездить перестали — теперь сыр попадал прямиком в квартиру, но сначала его нужно было забрать у соседей. кира стала заходить к ним: сначала к двери — воровато, как у курьера из сексшопа, выхватывала сверток из рук майка, потом начала заходить внутрь, потом стала проводить там часы. это ян заметил не сразу.

— что ты там делаешь? — однажды вечером спросил ян, словив ее в дверях.

— ну так, — неопределенно пожимала кира плечами. — болтаю.

— значит, так, — жестко сказал ян. — я тебе туда ходить не разрешаю, сыр этот ебаный ты есть прекращаешь, начинаешь нормально питаться и заниматься ребенком. ей, кстати, тоже туда нельзя.

— что нам еще нельзя? — спросила кира. — что нам тут всем еще, блядь, нельзя?

ян с удивлением посмотрел на жену. она глядела на него с яростью, от которой веяло холодом и козлиным душком. он тихо покачался на пятках и пошел обратно в кабинет. сел перед монитором, дрожащим курсором ткнул в черную жирную строчку во входящих, прочитал письмо, долго смотрел в экран. пошел на кухню, налил стакан выдохшегося от старости портвейна и закурил.

— кури на балконе, — раздраженно сказала кира.

— мы уезжаем, — сказал ян.

кира медленно опустилась на стул.

— когда? — спросила кира.

— через месяц. мне пришло подтверждение. осталась проверка службой безопасности, но это формальность. визы нам сделают за пару дней.

кира подперла лицо кулаком и принялась смотреть в окно.

— ты ничего не скажешь? — спросил ян.

— мы не поедем, — сказала кира.

ян уставился на жену.

— в каком смысле?

— в прямом.

— ага, — сказал ян. — это еще что за новости?

— ну почему новости. просто я уже не понимаю,

чтобы что. чем там будет лучше? что мы будем делать? так же дома сидеть? я дома хочу сидеть дома. кому мы там нужны, кроме твоих рабовладельцев? там для нас ничего.

— а тут что? — тихо спросил ян.

— и тут ничего. но тут хоть наше ничего.

— так, — сказал ян. — я сейчас пойду этому майку с его липой их сраный сыр с героином в дупу запихаю. что они тебе там в голове накрутили?

— ничего не накрутили, отстань от них, нормальные люди.

— да что в них нормального? — заорал ян.

кира даже не пошевелилась.

— мы не поедем.

— оставайся, мы с соней поедем.

кира наконец посмотрела на мужа.

— ты не понял. мы все не поедем.

ян прыснул со смеху, забрал бутылку и ушел спать на диван.

если раньше дни тянулись, то сейчас они неслись кубарем, толкались локтями, слипаясь в промозглый ком из телефонных звонков (их вдруг стало очень много, больше, чем ян привык выносить), работы (ее вдруг тоже стало больше, чем обычно), сборов и суеты. суетился в основном ян, кира окончательно замкнулась и сидела целыми днями на стуле в кухне, изредка неохотно ела суп, который варил ян — преимущественно себе и дочери. готовить кира почти перестала, есть — тоже. сыра в доме больше не было.

за неделю до отъезда ян не смог найти паспорта, перерыл всю квартиру, заглянул даже на антресоли, где нашел казавшиеся потерянными навсегда собственные детские рисунки из художки. это было приятно, но с документами вопрос не решало.

— ты не хочешь помочь искать? — спросил ян киру. — это, вообще-то, твой паспорт.

— а я его порвала, — вдруг сказала кира, с трудом отлепив глаза от окна, под которым торчал майк, что-то отчаянно заливающий новой соседке с дрожащим йорком на руках.

— кира, хорош, — поморщился ян, — шутки кончились.

— показать? — яна полезла в холодильник, достала из нее черный икеевский контейнер, один из тех, в которых раньше хранился сыр.

“беда”, подумал ян, рассматривая скомканные клочки плотной бумаги и темного картона. под плотной пленкой по кириному мятому лицу ползло угрюмое масляное пятно. кира торжествующе смотрела на яна.

— ага, — сказал ян. — а наши с соней где?

кира молча достала еще два черных контейнера. паспорт дочери явно рвался хуже, кире пришлось резать его ножницами. на искромсанное лицо дочери ян смотреть уже не мог. третий контейнер решил не открывать.

— ага, — снова сказал ян. — а сама соня где?

— где-то гуляет, — равнодушно сказала кира.

ян выглянул в окно, за которым уже не было никого, кроме одинокого йорка, деловито скребущего мокрую землю задними лапами.

— я же тебе сказала, что мы все никуда не поедем, — сказала кира и улыбнулась новой неприятной улыбкой.

ян схватил телефон, быстро пошел в прихожую, вытащил из сумки ключи жены, захлопнул дверь, дернул ручку (закрыто), побежал по лестнице вниз, набирая номер дочери. где-то совсем рядом раздался знакомый рингтон. два пролета спустя ян наткнулся на артура, стоящего у лифта с соней. молча схватил дочь за локоть, потащил ее из подъезда под застывшим ртутным взглядом артура, запихал в машину, завел мотор.

— что случилось? я домой хочу, к маме! — захныкала соня.

— поедешь к бабушке, — сказал ян и утопил педаль газа.

в дороге ян немного успокоился: позвонил маме, предупредил, что внучка на выходные останется у нее, нет, ничего не случилось, все в порядке, просто нужно собираться, скоро будем, папе привет; завез упирающуюся дочь родителям, в пробке загуглил срочную

выдачу паспортов, недовольно заскрипел — со всеми доплатами по срокам все равно выходило впритык. на экране высветился входящий вызов с работы — звонил петька, его лид.

— петька, а я тебе как раз звонить собрался, — ян включил громкую связь и быстро затараторил: — короче, тут у меня с документами накладка, не успею к первому числу визу получить, видимо. мы можем выход перенести?

по салону разнесся громкий вздох.

— ян, за тобой сейчас приходили.

— кто? — тупо спросил ян.

— ну, кто. дома тебя не было, приехали в офис.

по окнам потекли струи дождя — жирные, густые, почти как нефть, только светлая.

— что они хотят? — устало спросил ян.

— тебя. за содействие, участие, проведение, финансирование, вот это все.

— да я два года не выходил никуда, — почти удивленно сказал ян, — какое участие-проведение?

— короче. пара часов у тебя есть.

ян нажал отбой, остановился на пешеходном переходе, пропуская беременную женщину в дождевике и школьниц, уткнувшихся в телефоны.

“деревья уже совсем голые”, машинально отметил ян, глядя на лысые ветви хилых каштанов, высаженных вдоль дороги. на экране высветился незнакомый номер. ян выключил звук и аккуратно свернул с проспекта.

рыжая женщина в стеганой куртке вышла из магазина с вывеской “своя еда”, закрыла дверь, подергала ручку, нажала кнопку сигнализации и пошла к метро, прикрывая голову дешевым зонтом.

“что это за имя — липа. даже звучит как подделка”, подумал ян. дождался, пока аляповатый зонт скроется за углом. выкурил еще три сигареты, стер все чаты и фото в телефоне, вынул симку, выкинул ее из окна. вышел из машины, открыл багажник, достал оттуда канистру с бензином, щедро плеснул на пластиковую

дверь.

— настоящее, что твоя липа, — громко сказал ян и захихикал. поджег спичку и бросил на асфальт, завороженно наблюдая, как жидкое пламя украдкой потекло к двери. быстро опомнился, побежал в машину, пристегнулся и выехал из тупика.

снова начался дождь — но уже мелкий, каплями впивающийся в стекла, словно иголками. ян заехал в макдрайв и взял там огромный бургер, ведро картошки, наггетсы, молочный коктейль и диетическую колу, чем искренне развеселил девушку в окошке заказа. вернулся в центр, припарковался напротив озера, возле старого здания телерадиокомпании, на которой когда-то начинал монтажером. развернул коричневый хрусткий пакет и принялся сосредоточенно уминать еду. полез в бардачок за салфетками, оттуда выкатилась старая кирина помада. ян открыл тяжелый кожаный колпачок, выдвинул влажный красный столбик. принюхался к нему. от помады легко тянуло отдушкой и каким-то животным — не козьим, это точно — жиром. ян осторожно надавил на столбик, тот послушно прогнулся под пальцами.

“соне с мамой будет хорошо”, решил ян, задумчиво растирая маслянистую краску подушечками пальцев. “тут же правда в целом может быть хорошо, если знать, чем именно”. отложил истерзанный тюбик, развернул теплый белый сверток. в зеркале заднего вида замаячили синие проблески, сквозь закрытое стекло глухо донесся звук сирен. ян впился зубами в картонную булку, посыпанную кунжутом, и с наслаждением отгрыз огромный кусок.

Макс Фрай

День, когда мы убили всех толстых

День Национального Здоровья, день, когда мы убили всех толстых, празднуют двадцать пятого сентября. На самом деле, с толстыми покончили раньше, последнюю жирную мразь с перевесом целых полтора килограмма, согласно объявлению в официальном фейсбуке Национальной Полиции Здоровья, нашли по доносу бдительного пенсионера в какой-то пещере на Алтае и убили ещё весной, но правительство затянуло с объявлением праздничной даты, они тогда ждали, что к Евразийскому Кодексу Оздоровления Жизни присоединится Китай, но не дождались, косорылые передумали. Жалко, что мы их за это не разбомбили, народ выходил на митинги, требовал начинать войну, но политики выкрутились, все как один написали в своих фейсбуках, типа косорылые к нам сами просились, это мы отказались их принимать, пока не приведут законодательство в соответствие с Едиными Евразийскими Стандартами Оздоровления. А потом, когда всё утихло, подписали с Китаем контракт на поставки костей для строительства и сала для ресторанов, политика такое говно.

В тот день, когда людям разрешили убивать толстых, мне исполнилось восемнадцать лет, и новый закон стал подарком на мой день рождения; я не совсем дурак, понимаю, что так просто совпало, но всё равно сердцем чувствую, что закон был подарком лично мне. Это был самый лучший день рождения в мире, мы с пацанами выпили по четыре банки обезжиренных энергетиков и пошли в три тысячи восемьсот тринадцатую дробь фэ квартиру, где тогда жила жирная тварь, как её кличка - Катька, Наташка? - не помню. Она весила почти целых семьдесят килограммов, теперь даже представить нельзя, чтобы баба так разожралась, а тогда ещё было много таких как она и даже жирней.

Мне повезло, в нормальное время родился. А ведь совсем недавно, когда моя мамаша была молодой, все жили в страшном уродливом мире, где у жирных были

права, как у нормальных людей. Этих скотов даже в школах учили вместе с человеческими детьми и в общественный транспорт пускали всего за двойную цену, и жрачку им продавали неограниченно, были бы деньги, о чём тут вообще говорить.

С жирными вообще слишком долго нянчились, либеральная пропаганда запудрила всем мозги. Даже в оздоровительные лагеря первые десять лет их отправляли только по доброй воле, тех, кто сам хотел похудеть, а потом, когда лагеря наконец-то стали обязательными, лечили их за счёт государства, страшно подумать, сколько народных денег, взятых из карманов налогоплательщиков, на них извели.

Потом, когда профессор Магдала Хиттер из Бостонского Университета доказала, что существа, склонные к ожирению, генетически отличаются от нормальных людей, поскольку наши предки специально разводили их предков как мясную породу, чтобы обеспечить свои потребности в здоровой белковой пище, а Папа Римский совместно с Патриархом Православной Церкви издали Указ о генетической предрасположенности толстых к отсутствию христианской души, либералам стало так стыдно, что многие покончили с собой. Я считаю, туда и дорога, хотя лучше бы они перед смертью больше помучились. Было бы справедливо, если бы их заживо разорвали на куски, или сварили в кипящем масле, всё-таки они чуть не погубили человечество, чуть не лишили здорового будущего наших детей.

Моя мамаша конечно та ещё дура, связалась по пьяни с жирным ублюдком; теперь, слава богу, ни хрена не докажешь, мамаша вовремя спохватилась, исправила документы, поэтому у меня в свидетельстве о рождении написано: «отец неизвестен», но я-то знаю, что он был жирный кабан, мне рассказала соседка Альбина. К счастью, у соседки Альбины был перевес почти два кило выше нормы, я сам убил эту жирную суку, и обществу польза, и меня больше не сможет шантажировать, сама виновата, что так разожралась, а то бы могла.

Но генетику мне мамаша подпортила. Мне всю

жизнь было гораздо трудней оставаться в пределах нормы, чем другим. Шести обязательных часов спортивных занятий в сутки для меня маловато, приходилось хотя бы через день увеличивать до восьми. И норму калорий я добровольно снизил до тысячи восьмисот в сутки; трудно, но это лучше, чем всё время жить на самой границе нормы и перед очередным еженедельным контрольным взвешиванием инфаркт получить.

По старому законодательству, когда норму веса мужчины вычисляли по схеме «рост минус сто», а для баб работала схема «рост минус сто десять», у меня бы никаких проблем не возникло. Но тут мне подгадили феминистки, добились равенства весовых норм. Я не знаю, почему правительство согласилось вместо того, чтобы просто забанить их во всех официальных фейсбуках, это ужасно тупо, даже таким безграмотным дурам должно быть понятно, что у любого нормального мужика есть мускулы, что здоровое мужское мясо весит больше, чем больной бабий жир. Но эти сучки подняли визг на весь мир, и добились своего, теперь всех меряют бабской нормой, и это, конечно, засада. Но всё равно, лучше уж так, чем нездоровая скотская жизнь без норм.

Мне вообще грех жаловаться. Как бы там ни сложилось, но одно можно сказать уверенно: молодость у меня была отличная. Такая, какая надо. Когда ты молод, хочется убивать. Но при этом надо соблюдать законы и думать об общественной пользе. Послушание обществу - то, что отличает людей от тупых скотов. Счастлив тот, кому в юности посчастливилось убивать, принося пользу обществу! В старину такое было возможно только на войне. Но общество развивалось, стало гуманным и просвещённым, задумалось о здоровье людей, и благодаря этому наступили наши счастливые времена, когда каждый обязан соответствовать здоровым нормам. А тех, кто не соответствует, можно и даже обязательно убивать. Я знаю, что среди моих ровесников есть чистоплюи, которые не ходили в рейды здоровья, тогда это не было обязательно, каждый выбирал сам. Я на них не сержусь, хотя по их милости на плечи добровольцев легла слишком большая нагрузка.

Я их даже немного жалею. Считаю, сами наказали себя. Жили в такие интересные времена, а теперь им и вспомнить нечего. И детям рассказать.

Уж я бы нашёл, что рассказать своим детям! Но у меня нет детей, в вопросе продолжения рода не повезло. С другой стороны, это даже закономерно, человеку не может везти абсолютно во всём. Главное, моя совесть чиста: я сделал всё, что было в моих силах. Памятуя о жирном папаше, подпортившем мне генетику, искал идеальную жену, с наследственным низким весом. Чтобы у всех баб в роду вес ниже допустимых пределов здоровой нормы хотя бы на двадцать килограммов. И нашёл даже лучше. У моей Анжелки был рост метр семьдесят четыре, а вес - сорок пять килограммов. Такие тёлки всегда нарасхват, но я и сам в молодости был красавчиком. И умел красиво ухаживать, никогда не лупил своих баб. Я и сейчас вполне ничего, даже жаль, что законы запрещают заводить новые интимные связи мужчинам старше пятидесяти; в этом возрасте большинство, конечно, уже ни на что не годится, но я-то ещё хоть куда.

А с Анжелкой у меня хорошо получилось, я ей сразу понравился. Я был очень спортивный, высокий, худой, мускулистый, с кубиками на животе, подружки ей страшно завидовали, понимали, что им не светит. При всём уважении к показателям здоровой нормы, скажу как есть: все они выглядели коровами, хоть и не настолько жирными, чтобы за это их убивать.

С Анжелой мы хорошо ладили. Прожили вместе почти десять лет. Тогда за сотню задокументированных убийств сразу давали отдельную квартиру, и после каждой новой сотни можно было подавать заявление на улучшение жилищных условий, так что я не в какую-то комнатушку, а в двухэтажные хоромы жену привёл. У нас даже был свой домашний спортзал для дополнительных занятий, а такой роскошью могут похвастаться только самые успешные богачи. Анжела долго не могла забеременеть, я её за это то лупил, то таскал по врачам, короче, очень переживал. Но наконец всё получилось, и я был счастлив ровно девять месяцев, пока эта сучка не родила.

Я до сих пор не знаю, как могло получиться, что в нормальной здоровой семье у нормальных здоровых родителей родился отвратительный жирный урод с перевесом. Четыре килограмма сто граммов при максимальной норме три с половиной. Его ликвидировали сразу же после первого взвешивания. Несмываемый позор. Я конечно сразу сказал Анжеле, что это она виновата, ленивая сука, говорил же я ей, что обязательно надо регулярно бегать марафон для беременных, а она, дура упрямая, соглашалась только на полумарафон. Уверен, что причина именно в этом. Но в глубине души опасаюсь, что не только в ней дело. Мой жирный папаша тоже сыграл свою роль. Может и хорошо, что я не оставляю потомства. Я генетически ущербен, риск наследственного ожирения слишком велик, чтобы продолжать род. Так что всё действительно к лучшему. Жизнь сурова, но справедлива. Только самые здоровые люди имеют право заселить своим безупречным потомством наш совершенный здоровый мир.

Сегодня День Национального Здоровья, день, когда мы убили всех толстых. Я лично много для этого сделал и очень горд своим вкладом. В этот знаменательный день я решил отблагодарить общество за предоставленную мне возможность вести здоровую жизнь среди красивых спортивных людей и своими руками убить столько жирных уродов, на сколько хватило сил. В знак благодарности я добровольно уйду из жизни на целых шесть лет раньше, чем предписано старикам, хотя мой вес позволяет мне спокойно прожить эти годы, не нарушая законодательства. Но общественная польза превыше всего. Если общественные инспекторы, которые найдут моё тело, сочтут возможным выполнить мою последнюю просьбу, я бы хотел, чтобы мои останки были использованы для удобрений полей, где выращивают безуглеводные злаки, а не проданы для дальнейшей утилизации в пунктах общественного питания в Китай или любую другую страну, где не действуют Единые Евразийские Стандарты Оздоровления. Верю, что наше общество не допустит, чтобы героя национального освобождения от толстых съели жирные твари, у которых генетически нет предрасположенности к возникновению здоровой спортивной христианской души.

Лея Любомирская

Лусия

приехала, как все – нелегально. это сейчас у вас безвиз, биометрия, а тогда покупали самую дешёвую поездку на коста-дель-соль или коста-дорада, вещей с собой брали немного, не отдыхать ехали, у кого были дети – оставляли матерям, матери плакали, которые верующие, крестили, говорили, куда тебя, дуру, несёт, в такую даль, но сами тоже понимали, что дома делать нечего, ни работы, ни перспектив.

летели чартером, все вместе, сразу перезнакомились, пили за успех домашнюю наливку, тогда ещё можно было брать в самолёт, это потом запретили. паспорта ихние все были у сопровождающего из агентства, потом должны были вернуть, как пройдут паспортный контроль, но не вернули, конечно, сопровождающий всю пачку отдал другому человеку, который встречал их с автобусом, это, сказал, для вашей же пользы, чтоб никто из вас не потерялся и документы не потерял, а то, знаете, был у нас случай в прошлом году и лицо сделал, мол, не дай бог никому такого случая.

денёк им позволили покупаться, поваляться на пляже, прогуляться по набережной, вечером отвели в ресторан, подносы с едой стояли в центре зала, креветки, ракушки, рис жёлтый, длинненький, фрукты всякие, кушай, сколько влезет, хоть по три добавки бери, если совесть позволяет, и тарелки здоровенные, не как дома, где тарелочки махонькие и плати за каждый подход. они так прекрасно тогда посидели , наелись креветок, выпили, конечно, вино там прямо на столах стояло красное и белое, не очень вкусное, несладкое, но тоже сколько хочешь, она выпила белого, знала, что к рыбе надо белое, а креветки почти что рыба, а девчонки пили красное, чокались, рассказывали, как потратят деньги, её тоже спросили, она сказала – мамке отдам, над ней посмеялись, но не обидно, она много лет потом вспоминала тот ресторан и

тот вечер, а утром только встали, только она себе намазала булочку маслом, а уже пора ехать, автобус на улице ждёт. но булочку она всё же с собой взяла. булочку и ещё яблоко и банан. хотела кофе налить, но ей закричали, пойдём, пойдём, и она только сока попила апельсинового из кувшина, невкусный оказался сок, растворимый, как дома, и побежала за чемоданом.

в автобусе им сказали, что планы у них изменились, в испании сейчас работы не стало, везде иммиграционная полиция, хватает и высылает всех иностранцев и в паспорт такую отметку ставит, что с нею потом десять лет в европу не пустят, а некоторых вообще сажает в тюрьму. им сказали, кто хочет, мы вам сейчас отдадим паспорт и билет, у вас поездка на пять дней, купайтесь, отдыхайте, завтракайте в гостинице, завтрак у вас бесплатный – а через пять дней вернётесь домой. а кто домой не хочет, может ехать с нами через границу в португалию, там платят поменьше, но работы много, даже чистой, в гостинице или ресторане, и берут всех без разбора, а полиция особенно не придирается, если, конечно, вести себя тихо. одна девочка сказала, что это ещё за португалия такая, я за испанию деньги платила, отдавайте, сказала, мне мою тыщу долларов, а человек из агентства сказал, а этого не хочешь, и жест неприличный сделал, я, сказал, тебя сейчас вообще в полицию сдам, скажу, что ты приехала проституцией заниматься и тебя посадят. и всех вас, сказал, посадят, навязались шлюхи на мою голову, и едут, и едут, тогда все закричали той девочке прекрати, прекрати, какая тебе разница, где работать, и она села на своё место, но лицо у неё было хмурое, и у человека из агентства лицо было хмурое, и как-то плохо началась поездка.

а она, не та девочка, что требовала вернуть ей деньги, а про которую мы с самого начала говорили, её звали людмила, люся, а местные стали звать лусия, местные не могут выговорить люся, это мы по-ихнему всё можем выговорить, вот эта лусия сидела у окна и ела булочку и старалась не думать о плохом, но оно всё равно думалось, вдруг, думалось, их автобус сейчас остановит иммиграционная полиция и всех сразу вышлет, или вдруг, думалось, через границу их не пропустят, высадят из автобуса и скажут,

возвращайтесь пешком, как хотите, а за окном бежали деревья странные, незнакомые, как будто освежёванные и в запёкшейся крови, и кусты, колючие даже на вид, и трава, вся пожухлая и сухая, и булочка была совершенно бесвкусная, от этого было страшно, и хотелось плакать.

лусия почти никому не рассказывала о тех временах, хотя жила не очень плохо, лучше других. на работы вместе со всеми её вообще не посылали, а взяли сразу на кухню готовить и мыть посуду. девчонки вначале смеялись, говорили, ты смотри, тебя, небось, хозяин для себя присмотрел, но хозяина никакого не было, а была хозяйка незлая, в первый же день начала учить её языку. показывала на дом, говорила каза, показывала на стол, говорила меза. лусия запоминала. вода была агва. картошка батата. ничего сложного. и ночевала она больше не со всеми, а прямо в кухне на большом таком ларе, только тюфяк на него на ночь клала и подушку и бельё постельное ей хозяйка дала. другие ходили обдирать кору с пробковых дубов, возвращались с изрезанными руками. лусия тоже иногда резалась, когда чистила картошку, но хозяйка сразу же промывала ей руку агвой, а на порез наклеивала пенсу – пластырь. лусия запоминала. по утрам она застилала хозяйкину постель, подметала, вытряхивала половики, вообще прибиралась. постель по-местному была кама. одеяло – манта. метла – васора. хозяйка была ею довольна, называла минья филья – доченька, но кухню на ночь запирала на ключ, а на случай, если лусии понадобится кое-куда, оставляла ей горшок. горшок был старинный, расписной, толстого фаянса. на нём были нарисованы пальмы, дворцы и человек на слоне, на которого напал тигр. лусия стеснялась делать на горшок и терпела до утра.

потом кончился сезон коры, приехал человек из агентства, забрал всех девчонок и деньги, которые им причитались. хотел забрать лусию, ты почему, сказал, ещё не в автобусе, а ну-ка быстро, быстро, но хозяйка не отдала. спросила кванту. это значило сколько. человек из агентства показал два пальца, сказал дос. это было неправильно, надо было сказать дойш, это лусия уже знала, а человек из агентства не знал или ему было всё равно. хозяйка стала с ним спорить, лусия вышла вначале из кухни, потом совсем из дома. к

тому времени хозяйка её уже даже на ночь не запирала, только ворота, когда сама куда-нибудь уходила. у ворот на улице стоял автобус, в автобусе сидели девчонки, лица у всех были одинаковые, загорелые и без выражения. лусия испугалась. если хозяйка её сейчас не купит, ей придётся идти в автобус и садиться вместе со всеми, а она белая, она всё время по дому, ей некогда было загореть. из дому вышел человек из агентства, недовольный. сука, сказал. жадоба. за эскудо удавится. отпихнул лусию. чего выставилась, вали отсюда. девчонки без выражения смотрели из автобуса. лусия повернулась и ушла обратно в дом.

в доме лусия прожила три года, а потом пошла в полицию и написала заявление. никто от неё такого не ждал. хозяйка потом всем говорила, что иностранки неблагодарные твари. ты её селишь у себя, кормишь, поишь, учишь, относишься, как к родной, а она идёт и на тебя же и жалуется.

я познакомилась с лусией лет пять спустя, ей уже дали постоянный вид на жительство как пострадавшей от работорговли и эксплуатации, и она собиралась подавать на гражданство. жили они втроём с лавинией и надьей, снимали четырёхкомнатную квартиру, тэ три по-местному, три спальни и гостиная, тогда это ещё было не так дорого, не то что сейчас. зарабатывали они уборками. надья всё надеялась выйти замуж за местного, лавиния хотела открыть свою компанию, чтобы другие бы девочки убирали, а она бы утром развозила их по хозяевам, а вечером бы забирала и вела бы переговоры и бухгалтерию, а лусия ничего особенного не хотела. она съездила домой, отвезла матери денег и подарков, мать чуть с ума не сошла от радости, она уже такого передумала за те три года, что лусия жила у хозяйки. потом лусия вернулась сюда, скучно ей было дома и даже язык как будто какой-то чужой. не каза, а дом. не меза, а стол. и дочка её – у лусии была дочка, лусия её матери оставила, когда поехала на заработки, - дочка лусию узнавать не хотела и пряталась под стол, когда лусия говорила ей минья филья. трудно так жить.

лавиния пыталась уговорить лусию открыть компанию с ней на паях, заработать, как следует, а потом на всё готовое перевезти мать с дочкой. у

лавинии были планы, а денег не было, а у лусии были деньги, ей тогда хозяйка всё выплатила, её по суду заставили, матери лусия отвезла половину, а половину себе оставила на обзаведение и теперь тоже зарабатывала хорошо и всё время откладывала. но лусия не знала, хочет ли она компанию с лавинией, сидела вечерами, думала, вроде, и хорошо компания, а вроде и странно.

и тут на рынке мария жоау из рыбного ряда сказала по секрету, что в большом жёлтом доме за городом ищут прислугу с проживанием. прежняя, сказала мария жоау, проворовалась, её выгнали, теперь ищут кого-нибудь с рекомендациями, и чтоб с пожилыми умел. дают комнату хорошую, все удобства, еду и униформу за счёт хозяев и ещё сто двадцать тысяч эскудо. к тому времени все уже перешли на евро, но пока ещё путались, переводили мысленно обратно в эскудо, чтоб понять, много это или мало. сто двадцать тысяч плюс проживание плюс еда плюс униформа было очень много, даже трудно поверить. вечером лусия договорилась, что надья завтра её подменит на утренней уборке, утром взяла такси и поехала в большой жёлтый дом на собеседование. потом вернулась, собрала вещи, обзвонила хозяев, сказала всем, что больше не придёт. два дома отдала надье, два лавинии, а в пятом сказали, что вообще больше не хотят никаких иностранок. лавиния обиделась, что лусия решила её бросить, но потом подумала, может, и хорошо, может, лучше она кредит в банке возьмёт, а то это лусия странная какая-то, то говорила, что с проживанием никогда, хватит с неё самой первой хозяйки, а то раз – и переезжает в жёлтый дом.

после этого я не видела лусии лет пять, наверное, или шесть. надья успела выйти замуж, родить, развестись, опять выйти замуж и опять ходила беременная, а лавиния открыла свою компанию по уборке и теперь у неё уже были постоянные работницы, шофёр, две машины и куча клиентов. она оказалась очень деловая, эта лавиния, про неё даже в газете написали, в разделе люди, сделавшие себя сами. о лусии ни надья, ни лавиния ничего не знали, мария жоау из рыбного ряда говорила, что видела её на рынке раз или два, но издалека, а поздороваться лусия не подошла. а потом мне позвонили из прокуратуры, я в те годы

иногда переводила на допросах и в суде, и спросили, есть ли у меня время подъехать прямо сейчас. время у меня было, и я подъехала и увидела лусию. знакомый следователь фонсека сказал, что её обвиняют в чём-то ужасном, вроде бы, она уморила старушку-хозяйку, просто заперла в спальне без еды и воды, а сама осталась жить в большом жёлтом доме и жила все эти годы. за продуктами ходила в ближайшую лавку, расплачивалась хозяйкиной карточкой, за свет и воду тоже, а потом внезапно приехали хозяйкины родственники откуда-то из канады, ввалились без предупреждения с детьми, чемоданами и двумя охотничьими собаками. тут-то всё и раскрылось.

я спросила у следователя фонсеки, зачем ему переводчик, если лусия говорит по-местному не хуже меня. ну прямо, сказал фонсека, вообще она не говорит, я же пытался с ней разговаривать. спроси, спроси её по-вашему, понимает ли она, что происходит. лусия, сказала я по-нашему. лусия, ты что, ты зачем это. ты что, правда всё это сделала, зачем, лусия, зачем.

каза, сказала лусия и засмеялась. каза. меза. минья филья.

Заказывать будете

я шла домой через левую арку, у нас во дворе их четыре, вернее, три, левая на въезд, правая на выезд, а средняя – самая неприятная, - на въезд и выезд сразу, но я через неё не хожу, ночью там нехорошо, так, вроде, и не скажешь, что именно нехорошо, а нехорошо – и всё, даже хуже, чем нехорошо, откровенно плохо ночью в средней арке, страшно и пахнет скверно, и с перекрытий капает что-то мутное и липкое, попадёт на одежду - ни за что не отстираешь, а если на голову – волосы лучше сразу сбрить, иначе они потом всё равно вылезут, хотя, может, и не вылезут, может, это ерунда и сказки, я лично никого не знаю, чтобы у него волосы вылезли оттого, что на них капнуло с перекрытий в средней арке, хотя, с другой стороны, я вообще никого не знаю, чтобы на него капнуло с перекрытий в средней арке, там капает только ночью, а ночью в среднюю арку никто не суётся, даже на машине, и вот я шла домой через левую арку, время было чуть заполночь, не так чтоб очень, может, четверть первого или около того, но вокруг никого не было, народ теперь на улицу и днём без острой нужды не выходит, а ночью, в комендантский час, и по нужде не выйдет, х-хи, простите, это я немного нервничаю, я всегда, когда нервничаю, хихикаю, кстати, когда я шла, я не очень нервничала, так, слегка, потому что ночь, комендантский час, а я без документов, мало ли, патруль, там, или ещё что, хотя, какой патруль, они ночами тоже не выходят, одно название, что патруль, сидят в отделении или в машине на стоянке, радио слушают, в карты играют, а так, чтобы выйти проверить, не нарушает ли кто-нибудь комендантский час, не идёт ли без документов домой через левую выездную арку – это их никогда нету, только если им позвонит кто и донесёт, и вот я иду домой через левую выездную арку, время – четверть первого ночи или даже половина, может, без двадцати час, и тут слышу вдруг голос, и будто бы даже не один, а два или три.

я, конечно, остановилась, хотела прижаться к стене, но подумала, что не надо, арка внутри выкрашена в яичные цвета, белое и жёлтое, полосами, а я вся в чёрном и фиолетовом, прижимайся-не

прижимайся, на белом и жёлтом будет видно, так что, я прижиматься к стене не стала, а просто повернулась и посмотрела, кто там разговаривает, хотя голоса были довольно далеко, и, наверное, не останавливаться надо было, а, наоборот, прибавить шагу, чтобы выйти из арки, потому что, как выйдешь из арки, до моего дома рукой подать, метров, может, сто, а может, и того меньше, но я шагу не прибавила, а остановилась, не знаю, почему, мне даже интересно не было, подумаешь, разговаривают, но я остановилась и посмотрела, и никого не увидела. никогошеньки. и голоса звучат.

тут бы мне повернуться к выходу и быстро бежать домой, что такое, в сущности, голоса, мне до дома осталось сто метров, приду, вымою руки, брошу одежду обеззараживаться, душ приму – и пожалуйста, могу радио включить тихонько, чтобы не разбудить соседей, и слушать себе голоса, сколько захочу, и, главное, я ведь не люблю по ночам голоса слушать, мне от голосов ночами тревожно, я ночами, наоборот, люблю, чтобы было тихо, совсем тихо, как под подушкой, я бы даже спала в таких специальных наушниках, чтобы не слышать ночью никаких голосов, если бы их не запретили в прошлом году, наушники, потому что в них не слышно, если вдруг сигнал тревоги или ещё что, но я даже после запрета ими пользовалась, а потом их у меня конфисковали, соседи донесли, что я пользуюсь, ну, пришёл патруль и конфисковал, штраф тоже выписали, да я не платила, сейчас никто штрафов не платит, и я платить не стала, тем более, они мои наушники унесли, хорошие, дорогие наушники, в пять раз дороже штрафа.

в общем, я не пошла почему-то к выходу из арки, а развернулась и пошла ко входу, к голосам, хотя знала же, что это может быть патруль, или, например, соседи вышли на балкон покурить, увидят меня и донесут, что я в час ночи выхожу из арки, они же не знают, что это я домой иду, а хотя бы и знали, всё равно донесут, они у меня принципиальные, лучшие соседи района, с доски почёта не слезают, не сами, в смысле, а имена их, и вот я знаю это – и всё равно иду ко входу в арку, нервничаю, а иду, а голоса всё приближаются, я уже слышу, что их три – мужской, женский и ещё третий, и даже уже понятно, что это никакие не соседи, у соседей моих такого третьего голоса нету, а этот я слышу так отчётливо, и мужской

слышу, и женский, и вот я выхожу из арки в противоположную сторону, в темноту выхожу, в полвторого ночи, и голоса приближаются, приближаются, и вдруг налетают на меня, все три, и ничего мне не делают. просто налетели и полетели дальше, будто меня нету, будто я им совсем не помеха, не препятствие никакое, не человек живой вышел в темноту из арки в комендантский неположенный час, будто на меня можно просто налететь и, не остановившись лететь дальше, и мужской голос при этом говорил, вот опять то же самое, ведь то же самое, ведь каждый день одно и то же, сколько же можно, в самом-то деле, а женский голос говорил, я бы с тобой согласилась, если бы ты был прав, когда ты прав, я всегда соглашаюсь, но ведь ты неправ, ведь я тебе объяснила, что ты неправ, и ты сам знаешь, что неправ, а третий голос говорил, заказывать будете? заказывать будете?

Успела

чёрная собака – молоденькая, беспородная, но благородных пропорций сука, изящная, стремительная и длинноногая, будто наэлектризованная своей молодостью, силой и восторгом бытия – ни секунды не может постоять на месте, подпрыгивает, пританцовывает, даже остановившись по команде, вся вздрагивает до кончика высоко вскинутого, тонкого и упругого, будто хлыст, хвоста, - бежит за розовым верёвочным мячом, только что улетевшим в кусты. находит, приносит, но хозяину не отдаёт, а валится в траву и, хохоча молодой белозубой пастью, принимается мяч кусать и терзать, и хозяин хохочет вслед за ней, а за ним и хозяйка, и, не зная ещё, что такого смешного произошло, просто радуясь тому, что всем весело, хохочут дети, мальчик и девочка, мальчик помладше, тёмненький, в отца, смеётся взахлёб, закашливается и оттого смеётся ещё сильней, постаршая девочка, золотистая, как мать, заливается колокольчком, а с третьего этажа, с балкона, забранного удобной страховочной сеткой, посмеивается, на них глядя, дымчатая голубоглазая кошечка с розовым носиком, посмеивается и чешет свой розовый носик о ячейки сетки, закидывает аккуратную дымчатую головку, показывая белое горлышко, белую грудку, и ещё веселей хохочет собака, перевернувшись на спину и болтая всеми четырьмя длинными, сухими, как у борзой, ногами, и ты смотришь на это, не в силах оторваться, и любишь эту незнакомую собаку, и эту незнакомую семью, и эту незнакомую, но будто бы уже где-то виденную кошечку с розовым носиком, любишь их всех, исходя на горячее умиление, любишь так, что в груди печёт, и жжёт глаза, и все они, вся эта образцовая семья, взрослые, дети, животные, будто бы расплываются от слёз, или не от слёз, а оттого, что это и не семья вовсе, не собака, не кошка, не люди, а обманка, игра бликов и пятен на крыле огромной жуткой твари, пока ты тут умиляешься, завороженный рисунком на её крыльях, она не сводит с тебя фасетчатых, ничего не выражающих глаз и уже примерилась к тебе жалом – она не станет тебя есть, она не любит кисло-сладкого, жидкого, пузырящегося, но дети, надо

думать о детях, в таких, как ты, лучше всего выводить детей, и, в общем, ты извини, мы прощаемся с тобой, ты славный, ты чувствительный, с тобой было бы интересно познакомиться поближе, но тебя уже не спасти, и лучше мы не будем смотреть, что будет дальше, потому что дальше будет очень неприятно.

ну, куда же ты подевался, визгливо выговаривают тебе, чёрт знает, что, договорились на полпятого, жена ему звонит чуть не полчаса, кричит, обегала весь квартал, а этот чурбан тут стоит, пялится куда-то, перед людьми стыдно, и ты кривишься болезненно и думаешь, господи, что же это, как же ты допустил, как же я допустил, где была моя голова, когда я связался с этим скандальным чудовищем, ты чуть не плачешь, нет, ты плачешь и смаргиваешь слёзы, потому от её голоса в который уже раз вдребезги разбилось что-то чудесное, что-то уже почти вобравшее тебя, и ты думаешь, всё, хватит с меня, сегодня уже соберу вещи и уйду, не могу больше, не хочу, а она, сварливо зудя, тащит тебя прочь и думает, успела, подумать только, всё-таки успела.

Сеньор Луис

конечно, это был сеньор Луис, это просто не мог быть никто другой. вот сами смотрите – всего нас в правлении десять человек. во-первых, я. во-вторых, Мария Рита из десятого номера, я за ней сама зашла, она и маску при мне надевала, значит, я да Мария Рита – это нас две. потом дона Филомена с пятого этажа, там у неё сразу три квартиры, она их объединять хочет. у доны Филомены одна нога короче другой, она носит ужасный ортопедический башмак и страшно стучит им при ходьбе, дону Филомену ни с кем не спутаешь даже в костюме и маске. это три. четыре – бабуля Гиомар из пристройки. бабуле Гиомар сто пятнадцать лет, но голова у неё светлая и замечания её всегда по делу. бабуля Гиомар обезножела ещё в две тысячи пятом, а защитную накидку надевает прямо на электрическое кресло-каталку. пять и шесть – близнецы Пайва из восьмого «а» и восьмого «б», они всегда ходят вместе и говорят хором. семь – это доктор Перейра из шестого "а", педиатр. у неё пижама в мишках, шапочка в мишках, а на маске нарисован мишечий нос, чтобы дети не так пугались, только они всё равно пугаются. ещё есть Селина из третьего, у Селины бас и такие усы, что на них любая маска топорщится, даже самая плотная, Мария Рита однажды достала Селине противогаз – у неё и противогаз на усах топорщился. Селина – это восемь. девять – это наш лифтёр, Шико, у Шико две головы, попробуй его с кем-нибудь спутай. ну, и десять – сеньор Луис. у сеньора Луиса нет особых примет, но если вычесть меня, Марию Риту, дону Филомену, бабулю Гиомар, доктора Перейру, близнецов Пайва, Селину и Шико, останется только сеньор Луис, значит, это был сеньор Луис, это просто не мог быть никто другой. он пришёл вместе со всеми, сел у стола вместе со всеми, места специально не выбирал, сел, где было свободно, отчёт за прошлый год смотрел вместе со всеми, бабуле Гиомар бутылку воды передал, когда бабуля его попросила, защитную накидку ей придержал, потом бутылку на стол поставил, чтобы бабуле из-под накидки не высовываться. лифт обсуждал вместе со всеми. сказал, что у него замечаний нет, лифт ходит строго по

расписанию – он так и ходит, всегда так ходил, это Селина вечно недовольна, что лифт-экспресс на её этаже не останавливается, пусть бы сказала спасибо, что обычный рейсовый останавливается, в других домах лифты до пятого ходят без остановок, чтобы уменьшить риск заражения, но этой Селине только бы поскандалить и она вечно мутит воду. про воду сеньор Луис тоже сказал, что у него нет замечаний, но тут были замечания у меня и Марии Риты, потому что воду дают только по вечерам на два часа, а мы вечерами работаем и не успеваем ни мыться, ни чай пить, и тогда он сказал, что него нет возражений против наших замечаний, кто бы ещё так сказал кроме сеньора Луиса? потом дона Филомена собиралась обсудить предложение бабули Гиомар сделать бабуле рампу ко входу в основной подъезд, чтобы когда собрание, бабуле не приходилось бы колесить по коридорам или ждать, чтобы кто-нибудь вкатил её к нам, но тут встрял Шико и стал требовать второй зарплаты, потому что у него, видите ли, две головы, значит, он работает за двоих, а дона Филомена сказала, что он и за одного не работает, а доктор Перейра сказала, что нельзя ли побыстрей, потому что она с работы и хотела бы отдохнуть, а Мария Рита сказала, что вон у Селины бородавка на носу, что же, Селине тоже теперь полагается зарплата за бородавку, а Селина тогда сказала такое, что доктор Перейра вскочила и сказала, что никому не позволяет при ней так выражаться, и пусть Селина выйдет вон, а Селина сказала да пошла ты, тоже мне цаца, а Шико сказал, что пусть тогда не стучатся к нему среди ночи, если лифт не работает, потому что за ночное дежурство у него отвечает вторая голова, а бесплатно она дежурить не нанималась, а близнецы пихали друг друга в бок и бабуля Гиомар кудахтала под накидкой, и тогда сеньор Луис сказал, что он очень просит уважаемое собрание его простить, но всё, за чем он пришёл на заседание правления, он уже выполнил, и теперь его ждут в другом месте. встал, поклонился доне Филомене, доктору Перейре, нам с Марией Ритой, Селине тоже, хотя Селина, хабалка такая, вовсе не заслуживает, чтобы ей кланялись, отдал вроде как честь близнецам Пайва и Шико, а у бабули Гиомар приподнял защитную накидку и поцеловал бабулину сухонькую лапку в перчатке, потом взял из-за

двери косу и вышел, а мы остались. а чойта он с косой, спросила Селина. не чойта, сказали близнецы Пайва, а почему, и когда вы, Селина, научитесь говорить правильно. а ты меня не поправляй, сказала Селина и сплюнула из-под маски, поправляльщик нашёлся, двойника своего поправляй! ну, и конечно, опять все завелись и кричали, особенно Шико в две глотки, а дона Филомена стучала кулаком по столу, доктор Перейра запустила в Селину бутылкой воды, близнецы Пайва подрались с Шико, мы с Марией Ритой тоже немножко поругались, только бабуля Гиомар совсем притихла у себя под накидкой, но, как я уже сказала, бабуле Гиомар сто пятнадцать лет, и она иногда засыпает прямо посреди заседания.

Уж как-нибудь

поначалу это были просто мокрые следы. они неожиданно появлялись то на балконе, то в коридоре, то в кухне под столом, маленькие подсыхающие лужицы, круглые и безобидные. Фонсека Фонсека, бывшая жена Фонсеки, безропотно их вытирала, она была рассеянной и думала, что, должно быть, сама что-нибудь пролила и не заметила. собака Розалия Давыдовна отнеслась к мокрым следам с некоторым подозрением – один раз она понюхала лужицу на балконе, другой раз на кухне, – лужицы пахли водой, но не такой, как из миски, вода в миске была смирная, ручная, а вода в лужицах была какая-то нездешняя, беспокойная. но всё равно это была вода. Розалия Давыдовна на всякий случай сделала язык ковшиком и лакнула лужицу. лужица была маленькая, и Розалия Давыдовна не сумела её распробовать, где-то внутри языка-ковшика возникло тревожащее чувство, и о нём следовало бы, наверное, подумать, но Фонсека Фонсека позвала обедать, а на обед был борщ. потом Розалия Давыдовна ушла к себе на матрасик усваивать борщ. думать после борща было вредно, борщ мог не усвоиться и начать бродить внутри Розалии Давыдовны, причиняя Розалии Давыдовне неудобства известного характера, поэтому Розалия Давыдовна велела себе о лужицах забыть, и немедленно забыла. с тех пор, когда дома появлялись лужицы, Розалия Давыдовна старалась их огибать, чтобы не вспомнить и не начать думать. Розалия Давыдовна была чрезвычайно длинная и гибкая собака, у неё великолепно получалось огибать лужицы, даже когда их стало много. Розалия Давыдовна между ними змеилась.

потом пришёл запах сырости. он не был затхлым, как в погребе или подъезде, вымытом серой, никогда не просыхающей тряпкой, это была остренькая морская сырость, в ней угадывались йод и соль, и водоросли, и даже немного рыбы и чаек угадывалось в этой сырости. Фонсека Фонсека была бы не против, она любила соль и йод, но от морской сырости у неё начали отекать и болеть колени. Розалия Давыдовна тоже была бы не против, ей нравилось валяться в водорослях и рыбах, но она побаивалась чаек. к тому же, ей стало казаться, что водорослями и рыбами пахнет её

матрасик, и Розалия Давыдовна теперь всякий раз придирчиво обнюхивала матрасик, прежде чем на него лечь.

потом в дом пришло какое-то и стало шнырять перед носом у Розалии Давыдовны. Фонсека Фонсека думала, что это мухи и гоняла их полотенцем, но какое-то будто издевалось – стоило Фонсеке Фонсеке опустить полотенце, оно снова появлялось и шныряло, взблёскивая и переливаясь, и доводило Розалию Давыдовну до белого каления. один раз Розалия Давыдовна не выдержала, щёлкнула зубами и тут же завизжала – какое-то ужалило её в язык. Фонсека Фонсека бросилась на помощь. Розалия Давыдовна плакала, вывалив язык и пытаясь дотянуться до него коротенькими лапками, а на полу быстро таяла маленькая перекушенная пополам медуза.

после этого, будто прорвался давно набухавший пузырь. во всех углах теперь росли водоросли. как ни пыталась Фонсека Фонсека их вывести, чем их ни поливала, они вырастали всё крепче и гуще, только цвет меняли. от хлорки они синели, от жидкости для чистки труб – багровели и становились полупрозрачными, но продолжали расти и уже вышли из углов. на стенах снизу доверху выступили соляные дорожки, в воздухе мельтешили косяки мелких рыбок и неприятно бойких медуз. рыбки, как выяснилось, страшно любили хлеб с сыром, и буквально лезли под руки Фонсеке Фонсеке, когда она пыталась сделать себе бутерброд. если Фонсека Фонсека долго не делала бутерброда, рыбки начинали виться вокруг неё, щипали за шею и за уши, гнали к холодильнику и кухонному столу. наглые, как второгодники, медузы отнимали еду у Розалии Давыдовны. что бы ни положила Фонсека Фонсека в РозалииДавыдовнину миску – хоть борща, хоть макаронов по-флотски, хоть сухого собачьего корма из большого пакета, - медузы вырывали миску у Фонсеки Фонсеки из рук и мгновенно сжирали всё, что там было, так что, Фонсеке Фонсеке пришлось тайно кормить Розалию Давыдовну в ванной – это была единственная комната с запирающейся дверью, и пока Розалия Давыдовна торопливо ела, медузы с размаху бились о дверь.

зато спала Фонсека Фонсека как никогда. в спальне пахло йодом и солью, легчайший бриз веял даже

при закрытых окнах, и неизвестно откуда доносился умиротворящий шорох волн и цокот по миллиардов крохотных лапок по мокрому песку. Фонсека Фонсека спала, и сны её были почти невыносимо прекрасны, иногда ей всерьёз казалось, что однажды она не проснётся, что сердце просто разорвётся от этой красоты и счастья. но сердце у Фонсеки Фонсеки было крепкое и не разрывалось, только Фонсека Фонсека стала меньше гулять с Розалией Давыдовной и всё раньше ложилась спать, торопливо покормив Розалию Давыдовну в ванной. Розалия Давыдовна глядела на Фонсеку Фонсеку укоризненно, тянула к двери, Фонсека Фонсека чувствовала себя виноватой, бралась за поводок, но путь к двери лежал мимо дивана, и Фонсека Фонсека падала и засыпала, не выпуская из рук поводка, и мелкие рыбки зависали над ней, синхронно повиливая хвостиками.

Фонсека Фонсека проснулась от душераздирающего воя. выла Розалия Давыдовна и вой её был страшен, будто Розалию Давыдовну едят. ещё не до конца стряхнув с себя прелестный хрустальный сон, Фонсека Фонсека соскочила с кровати бежать на помощь – и оказалась по пояс в холодой воде. от неожиданности она завизжала – от этого визга Розалия Давыдовна перестала выть и залаяла, - и ринулась прочь из спальни. ноги проваливались в мокрый песок, оскальзывались на водорослях, что-то обмоталось вокруг щиколотки, что-то, примериваясь, ущипнуло за голень, что-то отвратительное коснулось бедра - взвизгнув ещё раз, Фонсека Фонсека рванулась, упала плашмя в воду и саженками поплыла в гостиную. в гостиной вода необъяснимым образом стояла ещё выше, - или она так быстро прибывала, - даже спинки дивана уже не было видно, только плавала лёгонькая банкетка, а на банкетке заливалась лаем невредимая Розалия Давыдовна.

в дверь вначале позвонили, потом постучали, потом замолотили кулаками и, вероятно, ногами, судя по шлёпающим звукам - босыми. Фонсека, бывший муж Фонсеки Фонсеки, всклокоченный и ещё не вполне проснувшийся, дрожащими от спешки и непонимания руками открыл замок, рванул дверь на себя. на пороге стояли бывшая жена, мокрая и разутая, в одной ночной рубашке, и сухая Розалия Давыдовна без поводка. мы,

сказала бывшая жена. у нас там. и зарыдала. Розалия Давыдовна тихонько подвыла.

конечно-конечно, сказал Фонсека бывший муж, когда сухие и переодетые они все сидели на кухне и пили по третьей чашке кофе. Розали Давыдовна от кофе отказалась, съела два бутерброда с сыром и колбасой и спала, вытянувшись на двух снятых с дивана подушках. конечно, сказал Фонсека, его квартира – их квартира, пожалуйста, сколько угодно. он и сам, сказал Фонсека, давно уже собирался пригласить их с Розалией Давыдовной погостить, сколько им захочется. услышав своё имя, спящая Розалия Давыдовно приподняла хвост и два раза благодарственно шлёпнула им по диванной подушке. а как же моя, спросила Фонсека бывшая жена и шмыгнула носом. моя квартира как же? там ведь всё. вообще всё. вот просто вообще всё-всё-всё. ну, сказал Фонсека, стараясь, чтобы его голос звучал как можно уверенней, как-нибудь. воздух слегка пах солью, йодом, водорослями и почему-то борщом. уж как-нибудь, сказал Фонсека.

На четвёртом этаже

приехали ночью, когда все спали, вселились тихо, будто просочились, будто прошептали, ни одна дверь не стукнула, ни одна половица не проскрипела, ни одна живая душа не проснулась, только на шестом этаже взвыла во сне собака Розалия Давыдовна на матрасике у постели Фонсеки Фонсеки, взвыла – и тут же замолчала, потому что Фонсека Фонсека, не просыпаясь, высунула из-под одеяла тёплую руку и успокаивающе погладила Розалию Давыдовну по кожаному носу и бархатным ушам. а утром, когда все встали, оказалось, что четвёртый этаж, пустовавший последние лет тридцать, весь заселён.

первыми об этом узнали дети, когда собрались после завтрака играть там в прятки. дети очень удивились. дети не поверили глазам. никогда прежде не видели они людей на четвётом этаже, если не считать уборщиков в комбинезонах и пылезащитных масках. уборщики приходили тридцатого числа каждого месяца, поднимались на грузовом лифте-экспрессе, отпирали запертые двери, подметали пустые квартиры, мыли чистые стены и уходили, а эти, новые – по всему было видно, - вселились, чтобы жить, и дети разбежались по своим этажам рассказывать родителям, что на четвёртом этаже живут теперь люди, должно быть, цыгане, должно быть, мавры, видимо, индусы, а маленькая Санча, племянница доны Филомены с пятого этажа, крикнула папуасы, но потом застеснялась и не стала повторять. все дети сходились в том, что новые жильцы одеты в чёрное, что их мужчины носят шляпы и усы и кожаные жилеты, а женщины укутаны в покрывала, что кожа у них тоже скорее тёмная, но не чёрная и не коричневая, а какая-то будто зеленоватая, но это неточно, потому что за ночь кто-то опять выкрутил на четвёртом этаже половину лампочек, и теперь там почти совсем темно. и страшно, вставила маленькая Санча, и опять застеснялась и больше уже не раскрыла рта до вечера.

спешно собранный домовый комитет постановил как можно скорее отправить на четвёртый делегацию, чтобы посмотреть на новых жильцов и ознакомить их с правилами поведения в доме и расписанием лифтов. в делегацию вошли сеньор Луис, близнецы Пайва и

двухголовый Шико, лифтёр, а с ними Фонсека Фонсека на случай, если женщины новых жильцов не станут разговаривать с мужчинами из домового комитета, и собака Розалия Давыдовна – просто из любопытства. делегация собралась внизу у лифтёрской и поехала на четвёртый этаж на грузовом лифте-экспрессе. Розалию Давыдовну, чтобы её не затоптали, Фонсека Фонсека держала на руках, и Розалия Давыдовна шумного обнюхивала затылки низкорослого Шико – то правый, то левый. Шико морщился, но терпел – ему нравилась Фонсека Фонсека, и он надеялся добрым отношением к животным снискать её благосклонность.

на четвёртом этаже лифт-экспресс остановился, но двери не открыл, замигал всеми лампочками и пошёл дальше. прошёл мимо пятого, мимо шестого, затормозил было на седьмом, но не остановился и снова стал подниматься, пока не

стал на десятом, у квартиры Марии Риты, постоял – и ринулся вниз. напрасно Шико нажимал на все кнопки, лифт ехал без остановок, всё быстрее и быстрее, - и вдруг стал, да так неожиданно и грубо, что все повалились друг на друга и сеньор Луис прикусил язык и от неожиданности гавкнул, а собака Розалия Давыдовна грозно зарычала. двери открылись, и делегаты вышли на первом этаже у лифтёрской. может, по лестнице, может, по очереди на маленьком со всеми остановками, хором спросили близнецы Пайва. может, не надо, спросил трусоватый Шико. пусть живут без расписания. а сеньор Луис просто махнул рукой – у него сильно болел прикушенный язык.

с тем и разошлись.

правда, Фонсека Фонсека три раза потом пыталась пройти на четвёртый этаж по лестнице, но на лестнице тоже кто-то выкрутил лампочки, и Фонсека Фонсека, хоть и считала ступеньки, всякий раз сбивалась со счёта и оказывалась то на третьем, то на пятом. и близнецы пайва пытались приехать на четвёртый этаж маленьким лифтом со всеми остановками, но лифт проезжал четвёртый, как если бы был экспрессом. сеньор Луис – тот сам не ходил, а вызвал на днях полицию, сказал, что на четвёртом этаже шумят после двадцати трёх часов и что-то жгут. полиция приехала, но не нашла входа в наш подъезд, и уехала. такое часто случается, никто в этом не виноват.

только дети продолжают бегать на четвёртый этаж каждый день после завтрака, бог весть, как они это делают. им уже и запрещали, и ругали их, и оставляли без сладкого и без игрушек, но они всё бегают и бегают, и возвращаясь, рассказывают, что те жильцы разбили в квартирах шатры, что в коридорах у них растёт трава, а на лужайке перед лифтом пасутся лошади. и ослик, всегда добавляет маленькая Санча. дона Филомена один раз в сердцах отвесила ей два подзатыльника: один за враньё, и второй – за то, что довела родную тётку до греха гневливости. потом, конечно, плакала и напекла Санче печенья с изюмными глазками, а Санча кормила печеньем собаку Розалию Давыдовну и рассказывала ей об ослике – какой он коричневый и серый, какой смешной у него хвост с кисточкой, а уши – точь-в-точь, как у Розалии Давыдовны, только серые, остроконечные и стоймя. Розалия Давыдовна, деликатно ела печенье из санчиных рук, а сама думала – ослик ещё какой-то с ушами стоймя, выдумают же люди такую глупость.

Бабуля Леонильда

а всёжтки никто не умер, сказала дона лурдес, откусывая нитку. ей хотелось быть доброй и справедливой. на утренней проповеди пастор назвал её примером для всей деревни. он сказал не прямо, но дона лурдес поняла, потому что пастор говорил о людях, стойко переносящих горести. эти люди, сказал пастор, его лицо на экране слегка подёргивалось и расплывалось, эти люди достойно несут свой крест. они пример для всей нашей деревни. дона лурдес знала, что пастор имел в виду её, дону лурдес, и от этого ей хотелось быть доброй и справедливой и нести свой крест достойно. после чая она разрезала пополам новый передник в утятах и ромашках и стала шить маски для себя и для фернандо. фернандо после обеда вышел во двор наточить вилы. иногда он заглядывал в дом, чтобы посмотреть на свою маску в утятах и ромашках. ему хотелось, чтобы с двух сторон были утята, а ромашки посередине, но он стеснялся сказать об этом доне лурдес. наточив вилы, он опять заглянул и потряс вилами у доны лурдес над головой. наточил, сказал он. острые, хоть рыбу лови. пусть теперь только выздоровеет и явится. вот пусть только явится. а всёжтки, сказала дона лурдес, всёжтки никто не умер. на-ка, примерь маску.

сестра аморинь курила в воротах. правилами запрещалось курить в лечебнице и выходить на улицу в форменной одежде, поэтому сестра аморинь стояла наполовину внутри – наполовину снаружи и выпускала дым за ворота.

он парнишка-то уважительный, сказала сестра аморинь и выпустила за ворота колечко дыма, она умела выпускать дым колечками. вот уважительный и уважительный. вот если кто уважительный парнишка, так это он. ты вот меня спроси, сестра аморинь выпустила за ворота ещё одно колечка, спроси меня - кто из наших местных уважительный парнишка, и я тебе сразу скажу – фонсеков парнишка уважительный, вот уважительней уважительного.

уважительный-уважительный, а стариков своих заразил, сказала практикантка тининья. сестра аморинь приходилась ей тёткой, и тининья не боялась ей

возражать. сеньор фернандо хочет его за это вилами колоть, пусть, говорит, только выздоровеет и явится, вот пусть. сестра аморинь бросила окурок на землю и пошаркала по нему форменным резиновым ботом. да ну, сказала она. ещё чего – колоть. никто ж всё-таки не умер. а бабуля леонильда? спросила практикантка тининья.

дона лурдес в новой маске в утятах и ромашках стояла у полок с консервами в полутора метрах от прилавка. утята на её маске были посередине, а ромашки по краям, а у фернандо наоборот. за прилавком ходил туда-сюда сеньор пинто, вместо маски он обмотал лицо шерстяным клетчатым шарфом. в шарфе было жарко, и сеньор пинто сильно потел. а я ему говорю, говорила дона лурдес, я ему говорю, ну что ты такое говоришь, говорю я ему, что ты говоришь, фернандо, ведь никто ж не умер, дайте мне, сеньор пинто, пожалуйста, вон ту головку сыра. сеньор пинто взял вон ту головку сыра и, не выходя из-за прилавка, показал её доне лурдес. дона лурдес покивала, но с сомнением. сеньор пинто взял другую головку сыра, по виду совершенно такую же. нет, сказала дона лурдес, обойдёмся покуда, взвесьте мне, пожалуйста, вон той кровяной колбасы. сеньор пинто утёр платком мокрый лоб. вы очень красный, сеньор пинто, сказала дона лурдес, отступая вглубь лавки примерно на метр, вы не больны ли. нет, сказал сеньор пинто, из-за шарфа его голос звучал глухо и странно.

практикантка тининья помогла сестре аморинь уложить бабуль поспать после обеда, подоткнула всем одеяла, стараясь не смотреть на пустую койку у окна, два раза спела в третьей палате песенку про коварного жоанзиньо, и теперь сидела в потёртом плетёном кресле в комнате отдыха и ждала, пока закипит мятый жестяной чайник со свистком. чайник присвистнул и одновременно с ним присвистнул тининьин телефон. тининья встала с кресла и сдёрнула свисток с носика чайника. телефон снова присвистнул. заткнись, сказала тининья телефону. замолчи. я с тобой не разговариваю. ты своих стариков заразил и бабулю леонильду мы из-за тебя потеряли.

конечно, дона лурдес, вы совершенно правы, в пятый раз сказал пастор родриго файя, стараясь не думать о мучительно зудящих руках. у пастора родриго

была аллергия на латекс, руки после одноразовых перчаток распухали и чесались. на экране лицо доны лурдес в новой маске расплывалось и слегка подёргивалось. конечно, мы должны уметь прощать, сказал пастор родриго файя в подёргивающееся лицо в утятах и ромашках. руки зудели так, что пастору хотелось завыть. конечно, мы должны, дона лурдес, вы всё правильно говорите.

сеньор пинто вытащил градусник из подмышки. тининья, сказал сеньор пинто слабым голосом, посмотри, доча, сколько у меня там. тридцать семь и шесть, сказала практикантка тининья испуганно, да ты заболел. сеньор пинто заплакал в шарф. я так и знал, сказал он горестно. так и знал, что фонсеков щенок начихал у меня в лавке. тининья выскочила из комнаты. хлопнула дверь. со двора послышался тининьин голос, тоненький и злобный. вот только выздоровей, кричала тининья. только выздоровей, скотина, и явись сюда, я тебя лично убью. сеньор пинто на цыпочках подошёл к окну и выглянул в него. тининья отвела телефон от лица и грозила в экран кулачком. сеньор пинто покивал и размотал, наконец, шерстяной шарф.

и сеньор пинто заболел, бедолага, сказал фернандо, поглаживая рукоятку вил. а ты говоришь прощать. это не я говорю прощать, сказала дона лурдес, выкраивая из скатерти в розах новый передник. это пастор родриго файя говорит. люди, достойно несущие свой крест, говорит пастор родриго файя, должны уметь прощать. но сеньор пинто-то заболел, сказал фернандо. и бабулю леонильду мы потеряли.

сеньора пинто забрали в больницу в среду, а в пятницу он вернулся. вместе с ним вернулись фонсеки, фонсеков сын и бабуля леонильда в кружевной ночной сорочке и шляпе с пером. где они её нашли, спросила практикантка тининья у сестры аморинь, когда сестра аморинь вышла покурить в воротах. сестра аморинь выпустила за ворота одно за другим три колечка дыма. а она к ним явилась. услышала, что парнишка заболел, села на автобус и поехала за ним ухаживать. она его любит, парнишку-то, потому что он уважительный. я же тебе говорила, что он уважительный или не говорила. говорила, сказала практикантка тининья. в кармане у неё свистнул телефон. нечего, сказала сестра аморинь, нечего. после работы наговоритесь. иди проверь, все

ли там на месте, в третьей палате.

Очередь

очередь была длинная, но тихая и даже какая-то заторможенная – чтобы не уснуть на посту, охранник в чёрном придумал щипать себя через костюм за бок, но резина костюма была толстая и никак не получалось ухватиться, только лопнула перчатка на большом пальце и тут же низко и хрипло взвыла сирена. охранник попытался незаметно натянуть поверх испорченной новую перчатку, но уже с потолка опускалась палатка дезинфекции, а из комнаты отдыха, поправляя на боку сумку противогаза, бежал сменщик. сонная очередь вздрогнула, заволновалась, кто-то что-то спросил сипловатым от долгого молчания голосом, кто-то слегка двинул тележкой, взвизгнули застоявшиеся колёсики, кто-то с шумом отодрал липкую ленту, прижимающую рукав к перчатке, и принялся переклеивать поудобнее.

именно этот момент выбрала анинья перес, чтобы почесать под резиновым капюшоном мучительно зудящую голову. из-под капюшона выглянула прядка бледных волос. вы с ума сошли, сказал сменщик охранника, немедленно спрячьте – он хотел сказать волосы, но не сказал и гулко кашлянул в маску противогаза. у вас красивый голос, сказала анинья перес, в противогазе редко бывает, чтоб красивый голос. у вас тоже красивый, сказал сменщик охранника. неправда, сказала анинья перес, у меня голос самый обычный. к тому же, у меня респиратор. бледная прядка поблескивала в электрическом свете. всё-таки вы спрячьте, сказал сменщик охранника и опять не смог сказать волосы, нельзя же. вас так не впустят. вы не впустите, спросила анинья перес. сменщик охранника гулко закашлялся.

на следующий день очередь выглядела поживей. кто-то переговаривался негромко, кто-то нетерпеливо елозил тележкой. анинья перес помахала рукой сменщику охранника и сменщик охранника помахал ей тоже. охранник в чёрном после вчерашней дезинфекции на работу не вышел, прислал по электронной почте справку от врача. как ваши дела, человек с красивым голосом, спросила анинья перес. какие ещё дела, смутился сменщик охранника и подумал о бледной прядке, как она блестела в свете ламп.

у меня для тебя что-то есть, сказала через три дня анинья перес. они уже были на ты. что, спросил, сменщик охранника. очередь вокруг них болтала и смеялась, какой-то ребёнок в респираторе в виде кроличьей мордочки и в резиновом капюшоне с ушками прыгал туда-сюда то на одной, то на другой ножке. потом узнаешь, сказала анинья перес и сунула что-то ему в перчатку.

вечером сменщик охранника снял в раздевалке перчатку и вынул из неё завёрнутую в бумажку бледную прядку. ты что, закричал охранник в чёрном, он первый день вышел на работу и только собирался надеть противогаз. голос у него был противный, как скрип тележных колёсиков. ты с ума сошёл, выкинь сейчас же! сменщик охранника снова завернул прядку в бумажку и сунул в обратно перчатку. на выходе из раздевалки на него опустилась палатка дезинфекции.

ничего, сказал врач, ещё немножко будет тошнить, но к утру должно пройти. если не пройдёт, звоните. дать вам освобождение от работы на денёк-другой? сменщик охранника подумал и отказался.

а я бы согласилась, сказала позже анинья перес. раз всё равно тебе по закону полагаются эти дни. пусти-ка меня к стене, а то я вчера чуть не свалилась. да ну, сказал сменщик охранника, трогая бледные аниньины волосы. я лучше вообще оттуда уволюсь. ну, лучше так лучше, непонятно сказала анинья. сейчас давай спать, ладно? завтра мне рано в очередь.

Бывает в жизни рыба

говорю тебе, он с детства такой, с придурью, кому и знать, как не мне, мы с ним вместе росли, он некровный мне, но вроде родни. мамаша его, тётка Тонинья, постоянно просила, Зе, просила, - это я, значит, Зе, - Зе, поищи моего недоумка, он опять куда-то с самого утра умёлся. если найдёшь, приведи, я тебе пирога дам, или, там, леденца. я, конечно, шёл, дураков нет отказывать тётке Тонинье, не из-за пирогов и леденцов, пироги были как пироги, у моей матери не хуже, а леденца она ни разу не дала, только обещала, а оттого, что язык у неё был до пояса, верь мне, брат, прямо до пояса, она если утром кого начинала ругать – до вечера не останавливалась, только на секунду прервётся – воздуха набрать – и опять, и на все корки, и честит, и частит, как дробь сыплет, но так громко и отчётливо, что тому, кого она ругает, хоть дома запрись, хоть на реку сбеги, всё равно слышно. в общем, все тёткина языка побаивались. все, кроме сына. он уже тогда ухмыляться этой своей ухмылочкой, один угол рта вверх, другой вниз, тётка Тонинья страшно злилась, она его ругает-ругает, а он стоит, ухмыляется, она даже не выдерживала, прекращала ругаться, начинала плакать, что ж ты с матерью делаешь, неблагодарный, мать ради твоего же блага старается, учит тебя, а ты стоишь, лыбишься, так бы и треснула по голове твоей дурацкой. кричать кричала, а бить не била, боялась его ещё больше повредить, один он у неё был, а сама она то ли вдовела, то ли муж сбежал от неё в Бразилию, и я его, брат, понимаю, очень понимаю. в общем, то в детстве, а то я потом в армию ушёл, а вернулся уже в город, работал в порту, снимал комнату, родители свой дом продали и участок тоже, и другой участок, купили в городе квартирку себе, квартирку мне, так мы все и зажили, а про него я забыл, и тут мне письмо. заказное. а в письме открытка с голубками и сердечками - такой-то и такая-то приглашают вас тогда-то на венчание и банкет. я так сразу его ухмылочку эту кривую и увидел, кто ж, думаю, за него, придурковатого, замуж-то пошёл? в общем, брат, любопытно мне стало, так что, я взял на работе два

отгула в счёт отпуска, у милой своей отпросился – у меня тогда уже была милая, хорошая девочка, жаль, не сложилось потом, - и поехал. ну свадьба была как свадьба, невеста как невеста, местная, но из новых каких-то, я ее раньше не видел, а может, видел, да не запомнил, молоденькая, свеженькая, толстенькая, щёки тугие, розовые, на щеках ямочки, тётка Тонинья вокруг неё суетится, оборочку поправит, фату то отвернёт, то завернёт, видно, что нервничает, а невеста ничего, смеётся заливисто, как звоночек, и видно, что счастливая, будто не за полудурка замуж идёт, а за самого, что ни на есть, лучшего принца. ну, и он, - я его сразу и не узнал, он меня на голову перерос, правда, в плечах шире не стал, длинный такой, тощий, бородку отпустил, ухмылки за той бородкой не видать, человек себе и человек, только тётка Тонинья очень уж суетится.

в общем, сыграли свадьбу, хорошую свадьбу, красивую, я даже обиделся немножко, как всё детство посылать его искать, так меня, а как в дру́жки звать, так другого, но потом отвлёкся, стал думать, что и мы с моей милой вот так же будем стоять в церкви, и все будут на нас смотреть, а милая будет краснеть и улыбаться ямочками, хотя ней не было ямочек, но я, когда сидел и представлял это, ямочки как будто бы были.

потом гуляли, и хорошо гуляли, вначале чинно, потом, когда родственники постарше разошлись по домам, начались уже и танцы, и всякое другое по углам. я себе ничего такого не позволил, ты, брат, даже не думай, у меня была милая в городе, зачем мне деревенские, так что, я сидел, пил, ни о чём не думал, и вдруг бежит новобрачная – без фаты, растрёпанная, и, вроде, ищет кого-то, а лицо заплаканное, но от этого она кажется ещё моложе, милей и свежей, я даже подумал, надо же, какой пиончик, и слёзы, будто роса, ей-богу, брат, так и подумал, мне иногда удивительные вещи в голову приходят, а пиончик бросается прямо ко мне, хватает меня за руку и говорит – пожалуйста, говорит, пожалуйста, найдите его, найдите, он ушёл, его нигде нет, я не виновата, пожалуйста, найдите, мама Тонинья говорила, что вы всегда умели его найти, найдите, пожалуйста, приведите, скажите, и трещит, и трещит, а

сама рыдает, уже из носу потекло, лицо в пятнах, в общем, я её от себя отцепил, сказал, конечно-конечно, пожалуйста, не плачьте, как же можно так плакать на собственной свадьбе, а сам смотрю на неё, заплаканную, и думаю, не стоит придурок этого пиончика, нет, не стоит, но вынимаю из кармана платок и ей даю, у меня и платок с собой был, я вообще хорошо оделся на эту свадьбу, я прилично тогда зарабатывал, вот, говорю, вытрите глазки, она платок взяла, высморкалась, вы его найдёте, спрашивает, нос платком зажала и трубит – выиводадёди – найду, говорю, найду, только не плачьте.

и правда, нашёл, то есть, я его и не искал, я же с детства знаю, куда он ходит, у реки, там, где она резко так заворачивает, есть остатки старых мостков, рассохшиеся совсем, даже на вид опасные, вот он всё детство, как из дому сбежит, так туда идёт, усаживается на мостках, ноги в воду свешивает и сидит. так вот просто и сидит, брат, веришь, я один раз нарочно за ним целый час из кустов следил, он хоть бы шевельнулся, сидел, как неживой. я ему тогда крикнул, эй, придурок, ты чего, примёрз, он вздрогнул и вскочил, а по воде круги пошли, будто кто-то нырнул, я потом несколько раз пытался выпытать у него, кто это был, но он запирался, говорил, что мне померещилось, хотя я его и тряс, по уху отоварил, я ж не мать ему, мне ж нет дела, станет он ещё дурковатей или нет, и сейчас я пошёл прямо к мосткам, и, конечно, он там сидел, ноги прямо в костюмных штанах и башмаках хороших свесил в воду, болтал ими, а из воды высунулась рыба. ну, просто себе рыба, брат, не очень даже большая, обычная речная рыба. высунулась из воды и на него смотрела. и он на неё смотрел. и знаешь, что они делали? молчали. они просто молчали, брат, смотрели друг на друга и просто молчали. вот как в жизни-то бывает, брат. вот как бывает.

Коробочка

на рождество сеньору Аристидесу Миранде подарили хорошенькую кожаную коробочку, даже как будто шкатулочку приятного кофейного цвета. сеньор Аристидес погладил шкатулочку сухими, понемногу теряющими чувствительность пальцами – на ощупь шкатулочка была такой, какой и должна быть хорошая кожаная шкатулочка – гладкой и шелковистой. сеньор Аристидес понюхал её – шкатулочка пахла кожей и чем-то ещё, какой-то маленькой несложной техникой, сеньор Аристидес затруднялся пока определить. он совсем было собрался попробовать шкатулочку на зуб – он любил вкус кожи, от всех бумажников, обложек на документы и даже брючных ремней он отгрызал крохотный кусочек в знак признания вещи своей, жена-покойница пыталась бороться с этой привычкой, но быстро перестала, попросила только – полувсерьёз, полувшутку - не грызть ботинки, но ботинки сеньор Аристидес и не грыз, это же глупость, если вдуматься, кому может прийти в голову грызть ботинки, пусть они трижды кожаные. то же касалось щегольского замшевого пиджака и тонких лайковых перчаток. зато досталось жёниной шкатулке, привезённой когда-то из Египта - сеньор Аристидес не мог спокойно пройти мимо туалетного столика, чтобы не укусить тайком пухлую крышку с оттиснутыми на ней золотыми и чёрными цветами. наконец, жена пригрозила шкатулку выкинуть, и сеньор Аристидес купил себе сплетённую из кожаных полосок закладку – это было лет двадцать назад, и теперь от закладки осталась только кисточка. сеньор Аристидес потолкал языком вставные зубы- зубы сидели, как влитые, - и уже приноровился укусить коробочку за уголок, и тут нелёгкая принесла невестку. - ну, папа, - сказала она своим невыносимым голосом – когда-то у сеньора Аристидеса был ожереловый попугай, сеньор Аристидес учил его говорить, но то ли ученик ему попался не очень способный, то ли сам он был неважным учителем, попугай выучился говорить единственное слово - «привет», - зато готов был повторять его часами своим тоненьким, пронзительным, как жестяной свисток, голоском. сеньор Аристидес несколько раз всерьёз собирался свернуть попугаю шею, но побоялся

огорчить сына. может, и зря побоялся. может, заткни он тогда попугая, сын не привёл бы в дом эту женщину – маленькую, низколобую, длинноносую, с круглыми, ничего не выражающими глазками и тоненьким пронзительным голоском, - только что не зелёную, а так – попугай попугаем. – ну, папа, - сказала невестка, - смотрите, скорее, что вам принес дед мороз! – говна на лопате, - хотел сказать сеньор Аристидес, но невестка цепкими костлявыми, вечно холодными пальчиками выхватила у него из руки кожаную коробочку и открыла. в коробочке, в её сером бархатном нутре лежало что-то отвратительное: жирная бежевая запятая, похожая на садового слизня, от запятой шла прозрачная трубочка, а к ней была приделана пластиковая затычка. – слуховой аппарат! – ликующе провизжала невестка. – превосходный слуховой аппарат! теперь вы будете слышать, когда вас зовут к обеду! давайте-ка, давайте-ка примерим!

интересно, - подумал сеньор Аристидес, машинально отклоняясь, чтобы не позволить невестке ухватить его за плечо, - свернуть шею невестке – легче или труднее, чем попугаю? – оставь, оставь папу, - сказал сын, с беспокойством следивший за ними. – пусть папа сам вначале рассмотрит. – я хочу только помочь, - сказала невестка. жестяные свистки не умеют издавать кислые звуки, но ей удалось. – ну-ну, -примирительно сказал сын. – ну-ну-ну.

***

вначале сеньор Аристидес хотел спустить жирную запятую в унитаз, но сын уговорил его примерить. – ты же сам, - сказал сын, - жаловался, что глохнешь. а с этой штукой ты станешь слышать лучше. сеньор Аристидес никогда не жаловался, что глохнет, наоборот, с тех пор, как в доме поселилась попугайная невестка, он мечтал бы оглохнуть, чтобы не слышать её жестяного голоса, а пока симулировал глухоту в надежде отучить невестку поминутно обращаться к нему со всякими глупостями. но признаваться в этом было нельзя, чтобы не расстраивать сына, и сеньор Аристидес со вздохом сунул в ухо затычку, заправил запятую за ухо и покрутил колёсико. и – чудо, - в ухе что-то зашипело, защёлкало, засвистело, как в

настраиваемом радиоприёмнике, пробилась на мгновение негромкая инструментальная музыка, прозвучали позывные какой-то радиостанции, залилась короткой трелью рассветная птица, мужской голос принялся размеренно читать новости на смутно знакомом языке – и, перекрывая все звуки, раздался негромкий смешок покойной жены – только ботинки, Аристидес, только ботинки не начни грызть! сеньор Аристидес вздрогнул – надо же, оказывается, он в задумчивости уже прикусил коробочку от аппарата, - потом покрутил колёсико, делая погромче, и устроился поудобней в кресле. – но это же не ботинки! – сказал он вслух с наигранным возмущением, – и кому, скажи на милость, может прийти в голову грызть ботинки?! в ухе у него, на фоне шипения, пощёлкивания и свиста, будто в гнезде из тоненьких веточек, горлинкой смеялась покойная жена.

Слёток Сильверий

слёток Сильверий был голубь, и в глубине его нескладного носатого тела наливалась жизнью и вся вздрагивала от внутренних токов крепенькая и бодрая птичья душа. слёток Сильверий вслушивался в свою душу и старался дышать в такт её дрожи, чтобы душу не затошнило. ему это было нетрудно, он помнил себя с яйца, когда кроме души и скорлупы в нём ничего ещё не было. тогда душа пела ему вдохновенные героические песни про орлов и постукивала изнутри в скорлупу, оповещая мать о том, что Сильверий зреет внутри сообразно возрасту, и в положенное время выйдет наружу обрести круглые оранжевые глаза, твёрдый тёмный клюв и сильные красные ноги.

мать слётка Сильверия, немолодая шалавая голубь прижила его неизвестно от кого. закон природы велит, чтобы голуби создавали моногамную пару на всю жизнь, но матери Сильверия тесно было в рамках закона, и она желала его нарушать. когда-то у неё была моногамная пара, но муж исчез на другой день после того, как попрыгал у неё на спине, и мать Сильверия, погрустив несколько, вырвала из себя зерно пожизненной любви к мужу, а яйцо в ней от его прыганья и не завелось, тот муж был порожним. потом к ней начали ходить другие голуби, всё женатые, они залетали в гости, покуда их жёны отдавали всю нежность маленьких тёплых тел и весь жар упругих птичьих сердец святому делу насиживания, ничего не оставляя мужьям. мужья приносили матери Сильверия комоче мха, чаячье перо, полкусочка булочки. мать Сильверия всё бросала в угол, поворачивалась спиной и не подглядывала, пока гость прыгал на ней и щёлкал крыльями – ей было всё равно, кто её навещает, и она не хотела потом узнавать лица чужих мужей в суете двора. если внутри неё заводилось яйцо, через положенное время она сранивала его с карниза и говорила – разбилось. но когда в ней завёлся Сильверий в скорлупе, мать отчего-то не стала его ронять, а отложила в кучку камней и веточек, и скорлупяной Сильверий лежал там и светился, будто жемчужный, а из-под скорлупы еле слышно доносились звуки героических песен про орлов.

когда Сильверий вывелся наружу, мать стала его

кормить птичьим молоком, как от века положено кормить голубиных детей, и удивлялась, как ловко у неё это выходит, будто она всю жизнь ходила за птенцами, а не сранивала их ещё яйцами с карниза. в Сильверии она больше всего любила жёлтенький пуховой чубчик, и иногда ерошила чубчик клювом. сам Сильверий к чубчику был равнодушен, ему больше всего нравились его сильные красные ноги, не по возрасту большие и когтистые. когда Сильверий выбирался из гнезда и ходил по карнизу в ожидании матери и еды, когти на его ногах, вступая во взаимодействие с жестью карниза, производили страшный скрежет, и душа в Сильверии начинала радостно подпрыгивать.

однажды мать решила, что птенцу нужна отцовская фигура, и указала Сильверию на тёмное пятно на асфальте. пятно было совершенно гладкое, будто на асфальт пролили краску, но к нему было прикреплено настоящее голубиное крыло – оно взмахивало, когда ветер щекотал его в подмышку, но никуда не улетало. это твой отец, сказала мать Сильверия. он был лодырь и тунеядец, и машина его убила. видишь, он тебе машет? помаши в ответ. Сильверий помахал пятну с крылом, и душа в нём тихо заплакала от ужаса перед увиденным. в ту ночь не душа Сильверию, а Сильверий пел душе героические песни об орлах и уговаривал душу не бояться. душа поплакала ещё немножко, но к утру успокоилась и даже спела вместе с Сильверием одну героическую песню. весь следующий день Сильверий проспал в гнезде в кучке камней и веточек, а через день решительно вылез оттуда, забил крыльями и прыгнул с карниза. ветер подхватил Сильверия под грудку и аккуратно опустил на капот стоящей внизу машины. когти сильных красных Сильвериевых ног скрежетнули по металлу – и Сильверий стал слётком.

слёток Сильверий был почти совсем, как другие слётки его возраста, но у него были три вещи, которых у других слётков не было – жёлтенький пуховой чубчик, отчего-то не сменившийся серым пером, ненужная голубю способность помнить себя с яйца и вполне расцветшая компанейская душа. с такой душой Сильверию не нужны были другие слётки, но они сами тянулись к нему, как воробьи к кусочку булочки, и тогда он рассказывал им про машину-убийцу и пел героические песни про орлов. песни слёткам нравились, но в машину-убийцу они не

верили. машины казались им нелепыми и безобидными конструкциями, и слётки устраивались поспать в их тени, иногда даже прижимались к колёсам, будто ища защиты и утешения. только слёток Сильверий с досадливым скрежетом расхаживал по капотам – он не мог спать, зная, что любая из машин может ожить и убить кого-нибудь из его сверстников. ну, ты! кричали другие слётки с земли, хорош скрежетать! но Сильверий нарочно скрежетал ещё сильнее.

никто не знает, что произошло в тот день чудовищный день. у голубей короткая память, даже мать слётка Сильверия помнила себя только с позавчера, к тому же она весь тот день была занята лицом к стене, потому что к ней один за другим явились трое женатых гостей с подарками и гостинцами. но, вроде бы, слётки поутру наклевались где-то пьяных фиг, а потом, разомлев, разлеглись в прохладной подворотне, подложив под себя одно крыло и укутавшись другим. тогда-то, вроде, во двор совершенно бесшумно, как сама смерть, ворвалась та машина. первые два слётка не успели даже проснуться. третий открыл глаза, попытался взлететь, но было поздно. четвёртый в ужасе барахтался, наступив себе на крыло. и тут невесть откуда с диким криком на машину спикировал слёток Сильверий, выставив свои сильные красные ноги когтями вперёд. четвёртый слёток, слез, наконец, с крыла и вскочил – как раз вовремя, чтобы увидеть, как ставший огромным слёток Сильверий раздирает страшными когтями машину-убийцу, во всё горло распевая героическую песню про орлов.

Никого

радиопьеса для двух голосов

а если, допустим, написать пьесу – можно же написать пьесу, не всё ж рассказы?

- пиши пьесу.

- значит, пьеса.

- пьеса, значит.

- не паясничай, ну!

- где же я паясничаю, скажи на милость? я поддакиваю. а ты пиши свою пьесу.

- я и пишу. значит, пьеса.

- пьеса.

- пьеса! дамский туалет.

- дамский, значит, туале...

- молчи!

- молчу.

- значит, дамский туалет. две кабинки.

- мало. обычно хотя бы три.

- две кабинки! ну, ладно, три, но третья закрыта, на ней наклейка чёрная, написано «извините, временно не работает». две другие тоже закрыты, но там кто-то есть, они разговаривают.

- кабинки разговаривают?

- да не кабинки! те, кто там внутри – разговаривают! переговариваются. один голос говорит – ну, говорит, я тогда ей говорю – убей, говорю, тогда его. если не можешь выгнать – убей. дальше дверь кабинки отрывается, выходит такая...в леопардовом платье.

- катя ванесса?

- катя ванесса, да. платье в обтяжку, немного забилось в трусы, она, значит, вытягивае его, а сама продолжает говорить - убей, говорю, убить-то ты его можешь? – она моет руки, вода шумит, она повышает голос, чтобы перекричать воду – я, говорит, ей говорю – если и убить не сможешь, позвони мне, я приеду – убью. из другой кабинки, из закрытой, говорят – ага.

- ага.

- катя ванесса: - ну, и вот. приеду, говорю, и убью. а она мне, такая, да ладно, да ещё не хватало, чтоб ты...

тут открывается дверь и катю ванессу манят

рукой быстро-быстро, она обтирает руки о леопардовое платье и выходит. заходит маленькая, в штанах таких защитного цвета, везде карманы. взъерошенная немножко. или нет! нет! не взъерошенная, а бритая. нет, наполовину пусть бритая, а наполовину взъерошенная. в майке и штанах-милитари, во. идёт сразу к умывальнику и начинает смывать что-то с рук. а из той кабинки, которая работает, но закрыта, спрашивают так нетерпеливо – ну, и чего? убила? а маленькая в милитари так быстро-быстро начинает руки тереть друг о друга – нет-нет, что вы! конечно, нет!

маленькая в милитари (быстро-быстро смывая что-то с рук): - нет-нет, что вы! конечно, нет!

- а как же тогда?

маленькая в милитари (стряхивает с рук воду, смотрит придирчиво, все ли смыла): - ну, стали на площадку ходить, с тренером заниматься. это небыстрое дело, знаете. но динамика! динамика есть! значит, я думаю, получится.

тщательно вытирает руки бумажным полотенцем, выходит. сразу за ней заходит лет пятидесяти в мешковатом платье, берётся за ручку дверцы. а из кабинки голос – получится, конечно.

- получится, конечно.

лет пятидесяти в мешковатом платье (расцветая и становясь сразу лет сорока в красивом оверсайзе) – вы правда так думаете?

- просто уверена. потому что главное – динамика. а она есть.

лет сорока в красивом оверсайзе (держась за ручку двери): - да, динамика, есть... можно сказать, что есть...

- ну, и вот.

лет сорока в красивом оверсайзе (отпуская ручку. с большим чувством): я вам очень, очень признательна! вы не представляете, как я вам признательна! – быстро выходит. вместо неё входит такая усталая, с немытой головой.

- почему они у тебя все безымянные?!

- ну, не все же. катя ванесса с именем.

- одна катя ванесса! а остальные?! как вот зовут маленькую? и которая непонятного возраста в оверсайзе? и вот эту, усталую, её как зовут? подумаешь отличительный признак – голова немытая!

голову всякий может не вымыть, может, у неё воду отключили, а зовут-то её как?!

- ну, что ты ругаешься, я ещё, может, не знаю, как её зовут! ну, пусть элиана! устроит тебя элиана?

- устроит!

- а чего кричишь?

- я не кричу! давай дальше. входит, значит, элиана, усталая, с немытой головой.

- да! входит элиана, усталая, с немытой головой. за спиной рюкзак на одной лямке, в руке – пакет. снимает рюкзак, ставит на пол. пакет тоже ставит на пол. наклоняется, достаёт из пакета маленький шампунь, запечатанный ещё. начинает вскрывать. и тут такой голос из кабинки: - да что вы, не за что.

- да что вы, не за что.

элиана (роняет шампунь): - ой, простите! я просто задумалась.

- нет, ничего, это вы меня простите! это я сама просто задумалась.

элиана (поднимая шампунь, жалобно): - у меня постоянно так. задумаюсь – и не понимаю, что делаю. а потом смотрю – уже сделала что-то, а было не надо.

- не надо было?

элиана: - нет, не надо было. прекрасно можно было бы без этого обойтись.

- может, вам это просто кажется? может, как раз наоборот, это надо было, но вы еще просто не были к этому готовы?

элиана: - а почему всё равно сделала? если не готова?

- потому что задумались и себя не контролировали.

элиана (вскрывает, наконец, шампунь, смотрит на него недоумённо) – то есть, вы думаете, что мне это было надо?

- конечно. иначе, зачем бы вы это сделали?

элиана (выбрасывает шампунь в корзину): - вы правы. вы правы-правы. вы правы-правы-правы. если б вы знали, как вы правы! – одной рукой хватает рюкзак за лямку, другой хватает пакет и быстро выходит, почти столкнувшись в дверях с катей ванессой.

- опять с катей ванессой?

- ну, а чего бы и не с катей ванессой?

- да нет, я ничего, я просто спрашиваю.

- а я просто отвечаю.

- ты не отвлекайся. столкнувшись в дверях с катей ванессой...

- столкнувшись в дверях с катей ванессой. катя ванесса, такая, сразу от порога – нет, ты прикинь, что! ты только прикинь, что!! она его всё-таки убила! убила и мне звонит – спрашивает, что делать. а я, такая, ну как что делать? выкинь теперь. смогла убить – сможешь и выкинуть. а она мне, значит – катя ванесса подходит к зеркалу, корчит унылое лицо, оттопыривает сильно накрашенную губу - она мне, ну, даааа... убить-то, говорит, просто, а вот вы-ы-ыкинуть... эй! ты меня слышишь? – катя ванесса отворачивается от зеркала и обращается к кабинке, - ты уснула там? нет, серьёзно, ты уже целый час сидишь, у нас тут такое творится, а ты сидишь и молчишь. чего молчишь?

катя ванесса делает шаг и стучит в дверцу кабинки. вначале деликатно, костяшками, потом кулаком, потом барабанит обоими кулаками, потом пинает дверь носком башмака, поворачивается к двери задом и с силой лягает ее. тут заходит уборщица фонсека и с порога – эй! чего это вы хулиганите?!

уборщица фонсека: - эй! чего это вы хулиганите?!

катя ванесса: - ой, как хорошо, что вы пришли! я не хулиганю, там человеку плохо!

уборщица фонсека: - какому человеку?

катя ванесса: - подруге моей. у неё болел живот, она там заперлась час назад, чтобы...ну....это... в общем, заперлась, но мы с ней разговаривали, она отвечала, а теперь перестала отвечать, вы можете открыть эту дверку, я в службу спасения позвоню пока?

уборщица фонсека: - может, она просто ушла? посидела немножко, потом живот прошёл у неё – она и ушла?

катя ванесса: - не уходила она, я её снаружи ждала, я б видела, и у неё очень сильно живот болел, она ещё когда сюда шли сказала – ужасно живот болит, час просижу, не меньше, ну, и просидела, а теперь не отвечает, вы откройте дверку, пожалуйста!

уборщица фонсека (горестно): - и опять в мое

дежурство. что же они, как понос, все в моё дежурство, почему у марии розы никогда не запираются на час в кабинке, почему, как я, так сразу, господибожемой, вот же напасть-то...

катя ванесса (обрывает её): - не нойте, тётя!! открывайте кабинку, может, ей там помощь нужна! открывайте давайте!! – и бьёт с размаху по двери ладонью.

уборщица фонсека делает кисло-возмущённое лицо, тоже хлопает ладонью по двери кабинки, а потом вдруг хмурится, как молодой лабрадор, когда у него ещё шкура не вся на лбу натянута, и от этого вид озадаченный – нет, говорит, погодите...

уборщица фонсека (с озадаченным видом) : - нет, погодите, эту же дверцу не толкать надо, а тянуть.

катя ванесса: тянуть?

уборщица фонсека: тянуть. (берётся за ручку двери)

катя ванесса нетерпеливо сбрасывает руку уборщицы фонсеки, сама хватается за ручку двери и дергает на себя. дверца распахивается, а там...

- никого?

- ну, что ты меня перебиваешь?! что ты всё время вперёд лезешь?! весь эффект испортила!! нет, зачем ты меня перебила, а?! а?! ну, никого, никого, на, подавись!! никого!

- никого.

- никого.

никого.

Это я, Господи

восстанавливать старые привычки все равно что прокапываться в снегу от порога к калитке. дорожка есть, она здесь, под снегом, вчера по ней ходили, позавчера ходили, завтра выглянет солнце, снег стает, и опять можно будет ходить, но сейчас в это почти невозможно поверить, образ дорожки, её изгибы или прямизна, её мраморы или камешки, или мох, зелёный пружинящий под ногами мох, серая бетонная плитка, слегка раскисшая от вчерашнего дождя глина, совсем ещё свежий, но уже начавший крошиться асфальт, всё куда-то делось из головы, остались только ничего не значащие слова – ас-фальт, дор-ожка, мох, - и убийственная реальность снега, мучительная несомненность снега, леденящая бесконечность снега, от неё хочется кричать и бить снег лопатой, колотить снег лопатой по белому лицу, всаживать снегу в живот лопатный штык, или бросить лопату куда-то в сторону, куда-то за спину, куда-то прочь и прямо из двери упасть всем телом в снег и там остаться, я никуда не пойду, господи, я тут буду, пускай меня волки съедят...

труднее всего было выбрать столик. те, кто ходил до меня, говорили, что труднее всего войти, будто кто-то оттаскивает от дверей, будто не только голос в голове – не ходи, нельзя, не ходи, - но и чьи-то руки на плечах, на локтях, повыше локтя, пальцы твёрдые, холодные, железные, никогда не охватят руку целиком, но вцепятся, вопьются в самом нежном, самом белом месте, сожмут, сдавят, выкрутят, ущипнут, завтра будут синяки, неделю потом придётся носить майку с длинными рукавами, я надела толстую гладкую куртку, чтоб пальцам было не впиться, не ухватить, чтоб соскальзывали, но оказалось, что войти просто, никто не хватает, не тянет прочь, даже голоса в голове не звучит, я тренирована, натренирована, вытренирована годами безденежья, когда ходишь по улицам и не замечаешь ни кафе, ни ресторанов, будто их нет, как нет под снегом дорожки, её мраморов, её плитки, её мха, а потом вдруг случились деньги и раз! идёшь, слегка оскальзываясь на раскисшей глине, скрежеща по гравию, как это их

нет, вот они, вот оно, тянешь на себя тяжёлую деревянную дверь, или толкаешь стеклянную податливую, или снисходительно позволяешь фотоэлементу распознать тебя на пороге и услужливо пригласить внутрь, но вот выбрать столик и сесть это да, это было мучительно, это всегда мучительно, не только сегодня, да.

***

когда ввели комендантский час, все обиделись и сильней всех комендант, он сказал я вам не нянька следить, чтобы все улеглись, у меня хозяйство, подвал, чердак, лестницы, счётчики, за всем пригляди, пыль смахни, цветы у входа полей, ещё по домам загонять, спать укладывать, не будет этого.

нянька тоже обиделась, сказала, ввели комендантский – вводите и тихий, всем полезно поспать час после обеда, кто после обеда спит, тот и выглядит лучше, и живёт дольше.

с нянькой согласились, ввели тихий час. ещё час взял себе физкультурник – полчаса на утренню зарядку, полчаса на командные игры после завтрака. хотел больше – на атлетику, борьбу и шахматы, если у кого освобождение от подвижных игр, но ему не дали, сказали, выкуси, тут кроме тебя ещё желающие есть.

комиссар вытребовал себе час политической грамотности, сказал, даже в такое время мы должны разбираться во внутренней и международной политике, а мы как-то даже и не знали, что у нас есть комиссар, но все проголосовали за, всякому хочется разбираться в политике, даже в такое время, это он правильно сказал, комиссар-то.

ещё один закричал, что обязательно нужен час гражданской обороны, потому что все разучились носить противогазы и разбирать автомат, но его стукнули папкой по голове, я со своего места видела, папка была жёлтая, а кто стукнул, я не заметила, кажется, нянька.

дальше пошло проще, питательный час разделили на четыре части, по десять минут на завтрак и полдник и по двадцать на обед и ужин.

гигиенический час нашинковали на два душа утром и вечером, мытьё рук до и после еды и после посещения уборной. на большую и малую нужду выделили отдельный

час в день – трать – не хочу. везде повесили журналы посещений, отмечайся – и сиди, хоть сразу целый час, хоть в разбивку, а если кто не хочет, заперло, там, или непривычен рассиживаться, разрешили экономить и накапливать минуты. кто накопит час – может в субботу пойти в баню или в бассейн, а больше часа копить не разрешили, сказали, что всё, что больше часа, будет сгорать.

***

но я справилась, конечно, выбрала я себе угловой столик с диванчиком, за диванчиком стена, деревянная, крепкая, хорошо сидеть спиной к деревянной стене, спине не так страшно, и с одного боку тоже стена, надёжная, тёплая. с другого, правда, люди, но я от них отгородилась, рюкзак поставила между ними и собой и куртку положила, рюкзак поставила поближе к себе, куртку подальше, потом передумала, рюкзак отставила подальше, а куртку переложила поближе, между собой и рюкзаком, а потом взяла и надела куртку на рюкзак, в капюшон положила шарф, рукава всунула в перчатки и положила курткины руки на стол, будто мы тут вдвоём сидим за столиком – я и рюкзак в куртке, кому какое дело, в чём ходит мой рюкзак, хочет – и в куртке, их не спросил никого, в чём ему ходить.

***

вначале всё хорошо было, вставали в восемь и шли в уборную, потом делали зарядку, потом утреннее гигиеническое время, кто хочет моется, кто хочет бреется, кто хочет в туалете сидит газету читает, потом завтрак, потом мытьё посуды, потом построение. это который хотел гражданскую оборону, стакнулся с комиссаром, и тот ему дал время между мытьём посуды и уборкой территории, они назвали это патриотический час. во время патриотического часа мы строились, маршировали, надевали-снимали противогаз, автомат разбирали тоже, но автомат был один, а нас много, и мы в первый же раз разобрали его весь и забрали себе на память, тот, что получил патриотический час, так орал, мы думали – лопнет, но разобранного автомата не

вернули, и я не вернула, мне досталась спусковая скоба, очень глупая штука, и отверстие для соединительной втулки без втулки. втулку взяла библотекарша, у неё был книжно-журнальный час перед ужином, а у меня сразу после ужина – час полной свободы, это я сама придумала и дралась за него на собрании. меня поддержали библиотекарша, медсестра из амбулатории – ей своего часа не дали, но она и не хотела, она вообще редко выходила из амбулатории, даже обедала и ужинала отдельно, и ещё мы подкупили физкультурника, сказали, что когда я получу час полной свободы, он может тихонько брать у меня минут по пятнадцать для своих шахмат, а если большой турнир – то и полчаса. против были комиссар и этот, который патриотический час, кричали, что полная свобода приводит к хаосу и неразберихе, сегодня полная свобода, а завтра все нарушают комендантский час, и лучше этот час потратить с пользой на разучивание и пение песен о родине, но нас было больше, а комендант и нянька воздержались, их, кажется, вообще на том собрании не было, и я получила свой час, а комиссар с патриотическим часом – кукиш.

***

рюкзаку я тоже заказала чай и булочку, чтоб ему скучно не было и чтоб официантка не думала, почему это за столиком сидят двое, а кушаю только я.

я понимаю, конечно, что рюкзак не пьёт чая, даже если он одет в куртку, а в капюшоне у него шарф, будто серое мохеровое лицо, и официантка, наверное, тоже понимает, но она ничего не сказала, принесла и чай, и булочку, и мой кофе с пирожным тоже, ей, наверное, всё равно, сколько чего нести, лишь бы платили, я и заплатила, конечно, и за себя, и за рюкзак, в смысле, и за кофе с пирожным, и за чай с булочкой, и только женщина напротив сильно меня нервировала. она сидела себе за столиком над своей кофейной чашкой и блюдечком с пирожным, тихо сидела, смотрела в чашку, а только я поднимала голову – и она тут же поднимала и на меня смотрела. а лицо у неё было наглое-наглое, вызывающее-вызывающее, так бы и дать лопатой плашмя по этому лицу и ещё штыком в живот, где больнее. это я комиссара так ткнула –

штыком лопаты в живот, а библиотекарша била его плашмя по лицу.

они отняли наше время, мой час полной свободы и библиотекаршин книжно-журнальный час, и банный накопленный час, и нянькин тихий час, а комендантский час перенесли на час раньше и за нарушение отдавали волкам, и амбулаторию закрыли, вместо неё сделали военно-полевой госпиталь и заперли там медсестру, чтобы она не сбежала, а нянька икомендант ещё раньше пропали, а физкультурник нас предал, ему пообещали настоящую полосу препятствий – с частоколом, окопом и лабиринтом, - и он переметнулся, и после этого мы стали вставать в шесть, потом построение, потом завтрак, потом опять построение, потом час политической грамотности на три часа и ещё домашнее задание и контрольные, а у кого в контрольной больше трёх ошибок, того вместо полдника заставляли отжиматься и подтягиваться под присмотром физкультурника, и никаких освобождений от физкультуры ни у кого больше не было, и мы с библиотекаршей уже больше не могли, а тут выпал снег, и нам с ней вручили лопаты и велели копать от двери до калитки, потому что мы хуже всех пробежали полосу препятствий в полной выкладке, и потому что при обыске у меня нашли спусковую скобу, а у библиотекарши соединительную втулку с отверстием, и мы вначале копали, а потом пришёл комиссар, а тот, что получил патриотический час, не пришёл, потому что библиотекарша ещё раньше заперла его в уборной...

лучше бы, конечно, эта женщина на меня не смотрела так пристально. ей же самой было бы лучше, я только выгляжу спокойной, как рюкзак, на самом деле, я очень нервная, и в руке у меня горячий кофе, а в другой руке чай, тоже горячий, и я так просто не дамся, видела я, что они сделали с нянькой, мы с библиотекаршей увидели, когда прятали комиссара в сугробе, нянька была там, то, что осталось от няньки, и от коменданта, и от банщика, он ещё раньше пропал, они всех их отдали волкам, вероломно отдали, потому что нянька ничего не нарушала, и комендант тоже, и банщик, и мы там же бросили комиссара, прямо сверху них бросили, чтобы волки его сразу нашли, а потом взяли наши лопаты и закопали дверь, хорошо закопали, весь снег, сколько его выпало на дорожку, на её

мраморы, на её камешки, на её зелёный мох, на раскисшую от дождя глину, на некачественный асфальт, весь снег от двери до калитки собрали и завалили им выход, а лопаты взяли с собой и ушли, только потом вспомнили, что у них в военно-полевом госпитале заперта медсестра, но не возвращаться же.

а эта женщина всё смотрит и смотрит, и смотрит, и смотрит, и смотрит, и я уже больше не могу, я сейчас кину в неё чашкой, и я встаю и поднимаю руку, и она встаёт и поднимает руку, у неё в руке чашка, и в другой руке чашка, это зеркало, господи, это просто зеркало, это я в зеркале, это я, господи, Господи, Господи, это я, Господи, это я, я, я, Господи, Господи...господи...

Ася Датнова

Колонизация

Первопроходцы возвращались подкопченные и смурные, с загаром коньячного цвета, мы, прильнув к низким окнам, видели, как они нетвердо поднимались по улице Ленина, на одеждах несли запах чужой стороны, в снегу были похожи на головешки, а кто выходил с ними здороваться, чуял сладкий черносливовый дым, сахарный торф, угли медленно тлеющей древесины уда, словно путешественники смешали в ведре всякий столичный мужской парфюм, да и выпили. На расспросы, как там, молча поднимали вверх большой палец.

Раз такое дело, к декабрю стали, помолясь, переселяться. Первыми двинули мужики одинокие, откинувшиеся - местность эта к нам и поближе, и поприятнее, чем другие места отдаленные - там, где раньше ничего не было в полях, она теперь с каждым годом вспучивалась, всплывала как Атлантида, гнилым корабельным дном кверху, только насухую, мерещилась и маячила заревом.

Зимой у нас все равно нечего делать. Тихо и темно с полудня, мороз такой, что выплеснув воду из ведра у колонки, слышишь, как она потрескивает, застывая. Снег звенит под валенками. Главный холод ждет в сосняке, из просветов между стволами так дохнёт ярко-синим, что страшно - а к вечеру ползет по дороге к домам. Ночью провода воют как волки, столбы гудят как ульи, три фонаря над всем селом, внизу все бело, сверху все черно. По телевизору говорят - не осталось белых пятен на земле, Илон Маск уже хочет колонизировать Марс. А глянешь с крыльца - до горизонта белое пятно. Мерзли, в общем, сильно.

Сначала дурачок Лаврюша хотел идти, напрямки да наобум, мужики пожалели и не пустили, а послали тракториста на переговоры. Он когда пил на майских, рассказывал, как черти скакали у него по трактору и

пели “Этот День Победы”. С чертями всегда можно договориться.

Колонизируем помаленьку. Местность каменистая, душновато, но главное, тепло, живем как в раю. Расселились по Долине тени. Вглубь пока не заходим, воду далеко возить. Да летом у нас и снаружи хорошо. Аборигенов мы зимой в дома пускаем пожить, чтобы не промерзали. Весной гоняем, а то шастают, а от них сухая трава занимается. Начальство к нам и раньше редко ездило, теперь вообще не ездит. За газ всем селом платить перестали. Рассаду без теплиц выращиваем.

Натаха Сдолбицкая раньше самогоном торговала, а теперь пить бросила - хочет агентство открывать, конкурировать с Турцией, вроде как к нам дешевле. Пока делает зимние туры. Демонам, наоборот, наша зима в охотку - ходят остывают, над каждым облако пара, смотрят, как иней поминутно нарастает, как кусты отращивают зимнюю шкуру.

Того дня мы наружу на рыбалку выходили - начался снег с дождем, пошел быстро, наискось, мелкий и острый, а потом стал падать отвесно, и хлопья все крупней, с грецкий орех, наверное. Не видно ни шиша, одно белое кипение, на реке столбики пара над проталинами, ржавые камыши, три старые лодки, а между полыньями по льду демоненок на коньках бегает, шапку натянул до рыльца, один из нас всех рад погоде. Черти - они как дети, даже завидно.

Татьяна Замировская

Хлорофилл

С тех пор, как запретили выходить из дома, Эдвард грезил ботаническим садом или хотя бы парком. Во времена, когда он ездил на работу, заставить его выбраться в парк было невозможно: по вечерам валялся на диване разбитый, расплесканный по нему, как ртутный плевок, источающий опасные испарения, на выходных перебирал шкафы с одеждой и досматривал бесконечные сериалы.

Теперь постоянно ныл: парк, сад, цветущие вишни в этом году пропустим. Мы каждый год пропускали вишни, потому что у Эдварда была работа, а теперь вот пропустим вишни из-за того, что запретили выходить, какое-то неизвестно что.

На улице и правда творилось непонятно что: Эдвард попробовал выйти, но тут же сказал, что все застлано целлофаном. Еды в доме было на две недели — не больше.

— Надо познакомиться с соседями, — сказал я. — Мы даже имен их не знаем.

— Какое не знаем, — сказал Эдвард. — Мы когда посылки там внизу перебираем, видим их имена и, следовательно, всё знаем.

Оказалось, всё не так: несмотря на то, что мы регулярно видим имена, мы их не помним. Видимо, функционируют как имена только те, на которые откликаются конкретные люди. Все остальное работает как метки: Дамиен Хернандес 3В, Париса Вахдатинья 2А, Мириам Монализа Хомейни 1С, Джой Банг 3С, Вильям Кэмпбелл 2С. Разве это живые люди?

— Уильям Кэмпбелл — это двойник Пола Маккартни, — сказал я. — Когда Пола Маккартни в 1966-м сбила машина, его заменили на Уильяма Кэмпбелла. Но мы все так крепко любим старика Уильяма, сто раз спасшего наш мир, что даже представить не можем, что на его месте мог быть какой-то вздорный щекастый парниша из рабочего райончика! Хорошо, что ему свернули голову в шестьдесят шестом, правда?

Эдвард копошился с оконной рамой, дергал ее туда-сюда.

— Вообще все это какие-то нереальные имена, — сказал я. — Джой Банг — мужчина или женщина? Дамиен Хернандес — это вообще имя нарицательное, это может быть человек любой расы, внешности и даже пола. Мириам от Парисы я не отличу ни за что. Они все просто как плесень на стенах, статистика.

Эдвард высунулся из окна, насколько мог, долго рвал руками наружный целлофан — плотный, серый, как в дурном сне про невозможность двигаться и говорить, — но там оказался еще один слой целлофана, и между слоями — это было расстояние где-то в метр — гулял с собакой сосед снизу. Его я знал.

— Это его собака выла по вечерам, когда он еще тусовался? — спросил я.

— Теперь мы уже не узнаем, чья, — ответил Эдвард. — Все сидят дома и ничья собака не воет.

— Если кто-нибудь умрет, его собака начнет выть, — сказал я. — Хотелось бы в это верить, во всяком случае.

Когда я мыл посуду после завтрака, я обнаружил на посудном лотке язвенно-алую, розовую животную плесень. Перевернул, закашлялся, побежал в ванную. Там долго-долго купал словно оживший, покрытый слизью лоток в кипятке. Эдвард был на работе в спальне, я решил его не беспокоить, оттуда слышались жестокие нотки трудного дозвона.

Пока ставил лоток на место, заметил еще немного черной плесени внизу, у самых ножек посудного буфета. Я присел и начал ее рассматривать: на первый взгляд это была черная бугристая земля, которую кто-то ритуальными пригоршнями рассыпал вокруг, но, сфокусировавшись, можно было рассмотреть тонкоствольные грибы, карабкающиеся друг на друга, как муравьи-акробаты с раскидистыми рученьками-ноженьками. Грибы лесились, колосились, заваливались друг на друга, некоторые образовывали пирамиды. От моего внимательного сопения комья грибных колоний закачались — шторм, подумал я, бегают там, собирают тревожные чемоданчики, бедненькие.

Эта плесень счищалась с трудом, я просто поскреб ее по верхам, тем более что на следующий день комья земли наросли снова и на этот раз выглядели как

чистый червяной чернозем.

— Ты, что ли, растения пересаживал? — спросил Эдвард. Он переоделся обратно в домашнее: для конференц-звонков он до сих пор брился и надевал пиджак и брюки, чтобы как в обычной жизни.

— Мошки вывелись, — задумчиво сказал он, проверяя наши растения, которые я, конечно же, не пересаживал. Мускулисто сжатые хрустящие ладошки замиокулькаса, который все тут называют зи-зи плант, выпускали, как будто фокусник мерцающие вееры карт, мельтещащих серебристо-черных мошек. Они вылетали мучительно и порционно, словно вот-вот крошечными эскадрильями полетят бомбить маленькую-маленькую Польшу, расположенную где-то под туалетным столиком.

— Меня вчера укусила такая мошка, — сообщил Эдвард и начал закатывать растянутую, обмазанную чем-то жирным, вареную штанину, от чего меня затошнило.

— Смотри, это типичный укус мухи: отъедена верхняя часть кожи. Мошечка не впивается, как комар, а именно что кушает, как пилочкой срезает. Даже маленькая может нормально так отожрать, если не согнать ее вовремя.

Через три дня я заметил на лимоне, лежавшем в вазе скорей для успокоения и красоты, нежели для отплытия в чайные воды, тонкие бледно-синие грибы-плесневики. Я повертел лимон в руках. На него села мушка.

В коробке, где мы хранили овощи и фрукты, что-то стыдливо зашуршало, как будто маленькая застенчивая школьница пытается завернуть в вощеную бумагу собственноручно испеченное скаутское печенье — чтобы получился аккуратный кулечек.

— Мышь! — сказал Эдвард. — Я тебе говорил!

— Тут не может быть мышей, — сказал я. — Может, какой-то фрукт гниет и испускает газы. И они двигаются вдоль лука и шелестят луковой шелухой, эти потоки воздуха. Надо пожаловаться в домоуправление. Они обязаны что-то сделать.

— У меня была подруга, — сказал Эдвард. — Ей было лет пятьдесят, что ли. Она все переживала, что у нее может быть ранний Альцгеймер. И как-то она проснулась и видит: посреди комнаты сидит опоссум. Ты же знаешь, опоссумы — они здоровенные! Первый этаж.

Там сад за окном, он из сада как-то приполз, может, через дырку какую-то, дом старый. Она его шуганула — он зашипел и убежал. И на следующую ночь так же — проснулась: смотрит, опоссум ходит топает.

— И что? — спросил я. — Он ее укусил и она заразилась бешенством?

— Нет, — сказал Эдвард. — Опоссумы не болеют бешенством. Это такие древние животные, что у них все сформировалось еще до того, как этот вирус получился. Сумчатые, с низкой температурой тела. Такой низкой, что вирусы бешенства там не выживают, им холодно.

— Просто замерзают, как полярники, — сказал я.

— Она постоянно жаловалась домоуправлению — мол, заделайте дыры, ходит опоссум каждый день, роется в корзине с бельем. А ей никто не верил, думали, она с ума сходит, там и говорили: может, это у вас ранний Альцгеймер. Ужасно, правда? И когда она пришла со скандалом, они ей выдали знаешь что? Маленькую мышеловку. Размером с ладонь.

— И что?

— И больше опоссум не приходил. Но она считает, что это просто они таки дырку из сада заделали.

— Из сада может прийти что угодно, — сказал я. — Хотя сейчас тут всюду целлофан, оно не пролезет, наверное.

Эдвард помыл за собой чашку и долго смотрел во всхлипывающее отверстие слива.

— Там какие-то серые треугольные мушки кружатся, ты таких знаешь? — спросил он.

— Я тебе сколько раз говорил: не смывать даже крошечные кусочки еды! Там всегда заводятся сливные мухи, даже от картофельных очистков! — ответил я.

В луковых залежах снова что-то завозилось.

— Дай-ка я случайно уроню туда нож, — сказал я. — Повод все перебрать.

— Мне надо работать, — сказал Эдвард. — Ты можешь сделать это завтра?

Я предложил ему спуститься в подвал — может, соседи организовали какую-нибудь простую разновидность досуга для таких, как мы. Подвал объединял все подъезды дома — там было несколько коммунальных комнат, прачечная, стоянка для велосипедов, котельная и еще какие-то извилистые коридорные пространства для хранения дерьма.

В подвале шумел лес, но все было жухлое, никудышное.

Раздвигая желтые, шелестящие, как наша мышь, ветки, мы добрались до коммунальной комнаты. Нас встретил 3В с теннисной ракеткой, которую он держал под мышкой наподобие ружья. Хорошенько присмотревшись, я понял, что это и было ружье.

— Хлорофилла мало, — сказал сосед, указывая глазами на желтое, укутывающее потолок растительное месиво из ветвей, плющей и каких-то перевивчатых, висельничных, жгутовых кровоостанавливающих лиан.

Казалось, он извиняется за плохое качество леса.

— Солнца нет, вот и хлорофилла нет. Но лезут все равно, видишь.

Он пнул ногой жухлый косматый куст.

— Мы охотимся, можете с нами сейчас. Если вы просто поговорить, лучше потом.

***

3В и партнерша 3В медленно двигались по увитому ржавыми джунглями коридору в сторону соседнего подъезда. Партнерша 3В осторожно раздвигала чащу мачете.

Из-за коридорного поворота вышел невысокий круглобокий олень с затуманенными, какими-то непротертыми тусклыми глазами.

— Олень! Отлично! — закричал 3В. — Давай!

Из-за другого поворота коридора кто-то выстрелил. Это были 2А и 1С — они выскочили с дымящимися ружьями нам навстречу, стараясь не задеть замедлившегося, оседающего оленя, выпускающего из ноздрей дрожащий чайный пар.

Олень грузно повалился, как стол, в жухлые заросли.

— Если не убивать, они не посылают новых, — сказал 3В. — Вот только не начинайте. У нас на этаже тоже все веганы. Не начинайте, ладно? Я не могу уже. Еще раз это все объяснять я заебался уже.

— Эти откуда? — спросили 2А и 1С. — Это со второго этажа? Оружие у них есть?

— Зачем вы его убили? — спросил Эдвард.

— Если не убивать, они не посылают новых, —

сказала 2А. — Мы слышали, что в соседнем доме не убивали, например. И что? И все, больше не посылали. Хана соседнему дому, жопа. Один раз не убьешь — еще простят. Второй — ну, относительно нормально, просто перерыв будет. После третьего раза — больше не посылают новых.

— Там какие-то плоды растут, можно питаться, — я погладил Эдварда по плечу.

— Они плохие, — сказала 1С, склоняясь над оленем с ножом, — Не успевают дозреть, но при этом перезревают и портятся. Солнца мало. Мы тоже вначале такие: «О, плоды». Ага, плоды. Попробуйте сами. Физалис где-то под третьим подъездом был, но вы же не вытянете на одном физалисе.

Эдвард развернулся и пошел по лестнице наверх.

Через некоторое время я постучал в спальню, которую он переоборудовал под свой рабочий кабинет. Почему-то Эдвард знал, что я принес с собой кусок мяса.

— Я не буду это есть, — сказал он из-за закрытой двери.

— Давай я просто попробую приготовить! — сказал я. — Может, тебе понравится. Слышал, что случилось в соседнем доме?

— Я такое не ем, — капризно сказал Эдвард.

Я порезал мясо на тонкие полосочки, положил в сковородку, залив оливковым маслом, добавил сливки, чеснок, лук и прочее. Олень по вкусу был как говядина, но мягче. Все равно, конечно, надо было добавить в соус немного лимона.

Из спальни вышел Эдвард в халате и недовольно посмотрел на меня.

— А что ты ешь? — спросил я. — Я понимаю, что оленя ты не ешь. Но что-то ты ведь ешь, когда невозможно достать твою обычную еду, все эти овощи. Или ты такая неженка, что ешь только физалис?

— Курицу, — подумав, сказал Эдвард. — Это тоже так себе, но я, возможно, смогу как-то смириться.

Поговорю с соседями, попробую загнать в этих джунглях курицу для Эдварда, понял я.

***

Через несколько дней я спустился в подвал. Там

по-прежнему были желтые джунгли. На ступеньках в костюмах хаки, как американские солдаты во Вьетнаме, сидели 2А и 1С. 1С курила самокрутку.

— Осторожно, — заметил я. — Сухие все эти растения, чаща эта сухая. Угробишь весь дом.

— У нее стресс, — сказала 2А. — Овечку вчера убила. Переживает. Есть не смогла.

— Я убила только потому, что у нас уже было одно предупреждение в доме. Ну, когда ты не смогла по собаке стрелять. Помнишь?

— Заткнись.

— Ты же из Китая! — 1С сплюнула прямо под ноги. — Тебе раз плюнуть собаку убить! Вы их там в котлах живьем варите!

— Я не реагирую на твои слова, только потому что мне тебя жалко, — сказала 2А.

Я объяснил им, что хотел бы подстрелить для Эдварда курицу. Меня представили 2С, который действительно был похож на чьего-то двойника или даже универсального двойника — он напоминал вообще всех, кого мне хотелось бы забыть.

— Курицу редко посылают, — сказал 2С. — Да и как мы ее потом поделим, она мелкая. Хотя можно. Завтра приходи в обед, ходят слухи, птицу какую-то пошлют. Я скажу ребятам с третьего, что ваша очередь, вы же вроде еще не охотились. Отдашь мне и девчонкам ножки или там крылышки, нормально?

— Нормально, — сказал я.

На следующий день я взял с собой большой кухонный нож и погуглил, как сворачивать курице шею, чтобы курице не было больно. Но как ее поймать? Неужели только подстрелить?

Внизу, в подвале, у входа в джунгли, меня уже ждал 2С в зеленой защитной куртке и антимоскитной сетке.

— Мухи, — объяснил он. — Такие маленькие треугольные. Да ты их знаешь! Как самолет «Фантом», ха-ха-ха. Видел уже таких явно!

Он сунул мне в руки ружье.

— Запутается в лианах этих — добивай, не думай даже. И в глаза не смотри! Даже если птица — не смотри. Не сможешь убить — второе предупреждение будет!

Мы углубились в заросли. По лицу неприятно

хлестала кукурузная шелуха, выбивающаяся из-под навешанных всюду проводов — видимо, добрались до электрощитовой. Где-то неприятно кричала какая-то тропическая птица и были слышны звуки булькающего ручья.

— Стой! — прошептал 2С. — Молчи! Да стой же, дубина!

Из-за поворота на прачечную беспечно вышла маленькая зеленая утка с круглым глазом.

Я стоял и смотрел на утку.

— Не дыши! — прошептал 2С. — Давай!

Утка проковыляла несколько шагов и замерла. Кажется, ее заинтересовал какой-то паучок на цементной стене, непривычно выглядывающей из-под осыпающейся бурой шапки косматого, как ведьмины косы, тропического плюща. Утка близоруко ткнулась желтым клювом в сырой цемент. В ее круглом глазе отражались электрические щитки.

Я дышал, целился и смотрел утке в глаз. Оказалось, что если контролировать свое дыхание так, чтобы концентрироваться не на дыхании, а на самом процессе контроля, руки перестают дрожать.

Утка покружилась, пошелестела листьями и медленно ушла за поворот.

— Идиот! — 2С выхватил у меня ружье.

За поворотом послышался звук хлопанья крыльев. Утка улетела: спугнул.

— Идиот! — снова заорал 2С и наставил ружье на меня.

— Спокойно, спокойно! — Я вскинул руки и стал пятиться. — Не говорите только, что у нас в подъезде такого не было еще.

2С опустил ружье и заплакал, закрыв неприятно родное бородатое лицо незнакомыми чужими руками.

— Все, — сказал он. — Утку в наш дом не будут больше посылать. И вообще никого не будут теперь посылать несколько дней. Пиздец. Допрыгался, гринпис ебаный. Хиппи сраный.

— У меня крупа есть дома, — сказал я. — Давайте я со всем домом поделюсь.

— Не ходи больше на охоту, — сказал 2С. — Христом Богом молю. Не ходи.

Я поднялся по лестнице, тихо вошел в спальню. Эдвард лежал на кровати в рабочем костюме и спал:

видимо, устал после очередных переговоров.

Я тихо лег позади него, обнял и закрыл глаза. Положил руку ему на горло. Вспомнил, как мысленно тренировался на воображаемой курице. Странно, почему вообще эволюцией предусмотрена шея? Это же такое ломкое место.

— Убери руку, — сказал Эдвард.

— Хорошо, — сказал я. — Прости, пожалуйста. Я не смог убить утку.

И подумал: если я его потеряю, они больше не будут посылать мне людей.

— Мы можем туда просто ходить гулять, как в парк, — добавил я. — Осенний парк.

— М-м-м, — сонно ответил Эдвард.

Благословлены иметь тебя в своей жизни

– Не наступите на моего воображаемого жука! – снова закричал маленький Эл за ужином, когда старшие, ошарашенные полураспадом очередного элемента ритуальной еды в печи, растерянно топтались вокруг пылающего ада.

– Он не воображаемый, – скривилась Джей. – Просто залетел жук на огонек.

– Да осторожно же, коровы! – закричал Эл. – Вот почти наступили! Не надо, не надо, не надо!

Джей выскочила из-за стола и точным ударом расплющила крошечного золотистого жука, переливчато застывшего на тонком стыке половиц.

– Аааааааа! – басом заорал Эл.

– Видишь? – Джей с грохотом вернулась за стол. – Это был не твой воображаемый жук. Это был просто жук.

– Воображаемый! – заорал Эл.

– Тогда почему он сдох?

– Потому что я его точно вообразил!

Ну и что, ну и что. Насильственная смерть как единственный способ верификации воображаемого – этим Джей уже было не удивить.

* * *

Тем летом Джей окончательно поняла, что находится в секте. После этого осознания она принимала все, происходящее вокруг, со злобным смирением.

Интернет в доме был ограниченный (тоже один из признаков секты), искромсанный и зауженный воронкой

«родительского контроля», поэтому все, что он пропускал, в целом не противоречило правилам секты.

Сделав запрос в городскую библиотеку и дождавшись своей очереди, Джей получила доступ к библиотечным компьютерам и за максимальные доступные ей три часа переписала в тетрадку тщательно нагугленные признаки и правила сект.

Да, все совпадало. Оказывается, Джей выросла в секте. И строгость была во всем, и ритуалы были повсюду, и никакой живой чувствующей души не могло вырасти в этом аду.

Их в этом конкретном отделении секты было всего лишь шестеро: четверо младших, и двое старших и главных (иерархия – тоже важный признак): он-Горовиц и она-Горовиц. Возможно, Горовицы были брат и сестра, выращенные в похожей секте – они были чем-то похожи, одинаково бубнили, одинаково кричали, одинаково хмурились. Горовицам-старшим нужно было безоговорочно подчиняться, за неподчинение применялись различного уровня дисциплинарные взыскания – часто, например, самое бесчеловечное, имитирующее отлучение от секты, когда с тобой просто прекращали разговаривать, но продолжали кормить, и распределяли паек молча.

Джей и еще двух младших постарше ее, вероятнее всего, украли в детстве и передали Горовицам на воспитание.

Пятилетний Эл – другое дело. Джей помнила, как он появился, его родила она-Горовиц. Вначале рожала дома, орала страшно, часами лежала безрезультатно в ванне и все заглядывала себе под колени, не пошел ли Эл наружу, но потом он-Горовиц устроил скандал и отвез ее в клинику к таким же, как она, и уже через два дня домой принесли молчаливого и тонкого, как спагетти, Эла.

Ритуалов (еще один важный признак) в их секте было огромное множество.

По вечерам все непременно собирались за столом

полным составом и ели вместе, еда была всегда разная, но чередовалась. Иногда она-Горовиц лепила шарики из мяса, где она брала мясо, вопрос. Иногда, в дни, когда требовались особые, высокого свойства ритуалы, она приносила голое животное или птицу, четырехлапое что-то, укладывала в раковину. Ждала, пока все стечет, наверное, потом наносила какие-то швы, метки, знаки, и отправляла в печь.

Потом все садились за стол, где иногда посередине царило это уже коричневое животное, наряженное во вспученный кожаный сарафан, полежавшее в печи в масляной бане; от него полагалось отламывать конечности и выходило по одной для каждого младшего. Голова полагалась непонятно чему, ее уносили, и наверное где-то (в подвале?) был склад таких голов. Тоже для ритуалов, вероятно.

Во время таких церемоний полагалось разговаривать на одни и те же темы, но Джей помнила это все смутно, как нескончаемый потоп монотонного речевого ужаса: а что мы сегодня узнали, а что мы сегодня узнали? Когда узнаешь самое главное, все остальное уже не имеет значения.

В секте всегда свои тайные языки, иносказания, словечки, мемы, причудливые переименования очевидного. Здесь было то же самое: свой язык, отдельная речь, птичий щебет. Ты мой воробушек, птичка моя, котичек мой, детка-конфетка. Енотик, иди почисти за котиком (это уже другой котик). Каждое утро полагалось произносить определенные слова, каждый вечер тоже что-то полагалось, и от этих повторов у Джей шумело в ушах – все сливалось в бесконечно шуршащий кошачий песочек.

Были и другие ритуалы. Иногда Горовицы звонили какой-то старухе и робели перед ней. Он-Горовиц уезжал куда-то каждый день в определенное время и в определенной одежде, которая чередовалась, словно глупые стихи из еще одного школьного публичного ритуала, три-четыре, раз-два. Сектантские собрания, наверняка. Пропаганда секты – важный элемент жизни секты. Секта платила ему какие-то деньги на жизнь, а

он в благодарность за это отдавал ей время своей (никчемной) жизни.

Раньше всех троих младших Горовицы-старшие отвозили в школы, наверняка намеренно разные (Джей и Эм в одну, Энн – в другую, Эла – в третью), где младшим в основном просто вдадбливали правила секты и больше ничему такому не учили: Джей с ужасом это осознала, когда попробовала скомпоновать в голове все свои школьные знания, мысленно вылепив из них слякотный, ноздреватый февральский ком непригодной мглы. Да, все, что происходило в школе, включало в себя только мир секты и больше ничего.

Потом школы закрылись из-за эпидемии, и правила стали вдалбливать дистанционно, через планшеты, которые опять же раздали в школах. Правила постоянно менялись – вначале можно было выходить на улицу в определенные часы, потом нельзя, общественные заведения вроде бассейна тоже были привязаны к каким-то расписаниям. Плюс постоянно опросы и анкеты: что бы ты сделал, если бы нашел на улице кошелек с деньгами? Как себя вести, если в школе кто-то тебя постоянно бьет и толкает? Джей шутки ради ответила: «Ударить эту суку в ответ», и ее-Горовица директор школы вызывала на беседу из-за того, что у Джей проблемы с управлением агрессией. Оказывается, в секте порицается насилие, но при этом положено жаловаться всем на всех. Публичное осуждение – это прекрасно, а тихое нежное насилие между двумя – повод для публичного осуждения. Никак не ударить ловкую суку даже на словах.

Вне школы тоже кругом были ритуалы и правила, и они постоянно менялись, особенно последний год. Вначале запретили собираться участникам секты в одном пространстве. Потом снова разрешили. Потом снова запретили. Потом запретили коллективно хоронить родственников, похороны стали делом индивидуальным – покойник, фактически, хоронил себя сам с помощью специально обученных мортуарной логистике клерков. Потом разрешили, но только вдесятером – видимо, какое-то новое сакральное число, которое оказалось более действенным в рамках ритуалистики, чем глупый

ноль. Все эти правила были бессмысленными, учитывая то, как быстро они сменялись на противоположные: такого рода ограничения обычно направлены на вырабатывание в людях слепого подчинения, чтобы человек не успевал даже задуматься о том, почему и с какой целью он выполняет предписанное, действуя на автомате.

За невыполнение предписаний приходилось платить взносы управляющим сектой. Джей их никогда не видела, но они иногда и впрямь высылали чеки Горовицам, и те расстраивались, что их отлучат – однажды, например, пытались отлучить за то, что она-Горовиц спешила на какое-то свое сектантское собрание для таких же, как она, и поставила машину не с той стороны улицы. Оказывается, в той части города были правила про определенные дни и стороны улицы – скажем, по средам парковаться можно только справа, а в четверг только слева, и если поменять дни местами, то небо упадет на землю и реки выйдут из берегов и берега окрасятся кровью. Горовицы тогда сильно опечалились и даже поругались: они всегда скрупулезно выполняли все правила, а тут что-то сломалось, наверное, доверие.

Оказалось, что в повседневности практически не осталось места воле или желаниям. Джей просыпалась – и начиналась повторяющаяся муть; каждое повседневное действие было выполнением правил и частью ритуала. Нанести на лицо белую мазь, под пиджак обязательно светлую сорочку, залить хлебное крошево молочной рекой, сложить маленькому Элу два квадратных бутерброда с белым хлебом, жидким зефиром и арахисовым маслом, и жидкий зефир – непременно снизу, все кладется в ланч-коробочку зефиром вниз, иначе будет истерика.

Эл был единственным, кого повторы и ритуалы успокаивали, но это из-за его особенности. Джей же они сводили с ума. Ни одного осмысленного поступка живой души – только следование бесчисленным однообразным паттернам.

При этом секта закрытая, чужакам тут не рады. Энн в прошлом году переписывалась с каким-то парнем

из соседнего города не из сектантских, из нормальных. И вот он однажды приехал к ней в гости, и он-Горовиц его чуть не убил, хотя это был здоровый семнадцатилетний лоб. И Энн тоже чуть не убил – потому что привела чужака. Для сект это обычное дело – жесткое разделение на своих и чужих.

После эпизода с жуком Джей поняла, что надо с этим что-то делать. Если она продолжит расти в секте, она не сможет адаптироваться к реальному миру, если когда-нибудь в него попадет: с уходом из секты тоже, как она подозревала, были какие-то сложности.

Джей решила спросить у остальных младших товарищей по секте, понимают ли они, куда попали.

С Энн разговор вышел так себе – ей уже было 17, и ее интересовали только парни.

– Как выпускной в этом году? – бесхитростно спросила Джей, использовав одну из самых жестоких ритуальных схем.

– Ты чо, у нас же в интернете выпускной, – вытаращилась Энн. – Я думала, ты знаешь.

– Никто не позвал? – скривилась Джей. – Ой бедная-бедная.

Энн закатила глаза.

– Тебе деньги на что-то нужны, да? Говори сразу, в чем дело.

– Тебе не кажется, что мы в секте? – сразу выпалила Джей. – Ты взрослая, ты должна понимать. Все признаки секты: ритуалы, правила, ограничения, восхваление нашей ячейки, неприятие чужих – помнишь, как с этим чуваком твоим вышло – запреты, наказания, мнимое чувство единства и любви, которое – ну – нам просто навязывается, ты же сама видишь.

– Ты серьезно? – вытаращилась на нее Энн. – Наоборот же, они нас поддерживают, нормальные чуваки. У других еще хуже. Ничего они нас не ограничивают. И гордятся нами. Чего ты на них гонишь?

– Ага, гордятся! – затараторила Джей. – Это все ритуалы. Вспомни, как они говорят: как же здорово, какая же ты у нас прекрасная, как мы гордимся тем, что ты у нас есть, мы благословлены иметь тебя в своей жизни, ты такая смелая, ты такая умная; и это все одними и теми же словами произносится раз в год для каждой из нас, и все потом режут такой круглый кремовый, ну, ты знаешь, и свечи надо задуть, и шары, и так постоянно! Или вот Эл недавно нарисовал в школе домик с роботами – и помнишь, что было? Как здорово! Как прекрасно! Какие они все прекрасные! Какие клевые ребята! А что нарисовал Эл – полную фигню он нарисовал. Просто он особенный, и его надо поддерживать, поэтому все говорят ему, что он делает что-то прекрасное. Это потому, что мы в секте!

Энн, корчась (от слез? от хохота) достала из-под подушки телефон.

– Не тараторь, дура! Помедленнее! Я тебя сейчас запишу, в ТикТок выложу!

Гордость! – продолжала Джей. – Вот как они про Эм говорят – милая, мы так тобой гордимся! Ты такая упрямая в достижении своих целей! Твои успехи греют нам сердце! Это же все схемы, эти слова не означают ничего вообще. Я рассчитала все реакции, я всю последнюю неделю их записывала, вообще все поддерживающие слова записывала и анализировала, клянусь, они все одинаковые, это просто сленг, это другие обозначения, это отдельная речь, это такой развернутый страшный мем, который сам себя повторяет и множится. Ну что это за бред – мы благословлены иметь тебя в своей жизни? Что это за срань? Это какая-то фраза из послесмертия, в ней никакой жизни нет и быть не может!

Энн отложила телефон и серьезно спросила:

– Ты куришь какую-то херню?

–В нашей секте запрещены вещества, – покачала головой Джей, – Я уже этот вопрос выяснила, причем очень жестко. За что у нас были санкции? За вещества! Помнишь, Эм зимой курила какую-то дурь? Он-Горовиц ей врезал. И, кстати, полицию никто не вызывал. Потому

что полиция тоже часть секты. Весь город секта. Школы, полиция, рестораны, кафе. Похоронные дома, аптеки, дома престарелых.

– Давай ты просто скажешь мне, что ты шутишь, и мы сделаем вид, что этого разговора не было, хорошо?

– Как мы сюда попали? – закричала Джей. – Эла они родили, это понятно. И понятно, почему у него аутизм – потому что они брат и сестра, родные. А нас похитили, получается? В каком возрасте? Что ты помнишь до того, как к ним попала? Кто наши настоящие родители? Мы с тобой родственницы или нет?

– Можно сделать генетический тест, – сказала Энн, – Но лучше бы мы не были с тобой родственницами, потому что я не хочу, чтобы мне эта хрень передалась тоже. Иди давай перед кем-нибудь еще выебнись, хорошо? Я устала.

Джей решила не хлопать дверью, потому что вспомнила, что это тоже ритуальное действие, символизирующее гнев и отчаяние.

Действительно, почему бы не выебнуться перед кем-то еще, раз уж назад дороги нет. Одноклассники! Когда-то она нравилась Тео, прошлой осенью он предлагал ей гулять с ним вместе. Это ни к чему такому не привело, конечно, ей было всего двенадцать, и тогда она чудовищно стеснялась, кривилась, отворачивалась. Теперь ей тринадцать и, наверное, уже можно гулять с мальчиками и все может быть серьезно. Когда у нее начались месячные (как раз в тринадцать), она-Горовиц тут же объявила: теперь с мальчиками надо осторожно. Осторожно что? Этого она-Горовиц не объясняла. Осторожно целоваться? Джей решила, что пойдет наперекор ритуалам и будет делать все максимально неосторожно.

Она позвонила Тео с домашнего телефона и томным утиным голосом, как было принято у ее одноклассниц, прогнусавила:

– Давай увидимся. Скука страшная. Как проходит

твое лето?

Тео отреагировал с неожиданным энтузиазмом и тут же предложил поехать на велосипедах на озеро, он знает, куда именно. Джей принимала все его предложения с восторгом: да, велосипед! Да, озеро! Да, алкоголь! Тео взял с собой бутылку вина, и они выпили ее практически сразу.

– Так, теперь я готова, – зажмурилась Джей. – Важный разговор.

– Я знаю, – закивал Тео. – Я тоже готов.

– Короче, мне кажется, что я в секте. И все в нашем городке тоже в секте. У нас все разделено по кластерам – ты не замечал? Все живут маленькими сообществами в основном по 3-8 человек. Встречаются раз в неделю в доме для совместных ритуалов и молитв, сидят там на скамейках. Потом еще ритуалы, даже покупка продуктов ритуалы, ты видел, как они говорят, как они здороваются? Попробуй выйти за пределы ритуала – тебе пиздец, жопа. Сразу говорят: ты ненормальная. Странная. Откуда это – тебя называют странной, как только выпрыгиваешь из ритуала?

– Ты не странная, – немного подумав, ответил Тео, – Но вообще слушай, у всех так, все так живут. Это нормальная жизнь.

– Ты так думаешь, потому что мы не видели другой жизни! И, наверное, уже не увидим!

Тут Тео решил, очевидно, показать Джей возможность другой жизни и стал ее целовать винными теплыми губами.

Вот это и происходит со мной, подумала Джей, мой первый поцелуй. Что я должна чувствовать? Являются ли все эти чувства навязанными мне? Где во всем этом мои собственные чувства? Вместо чувств Джей чувствовала собственные зубы, которые вдруг показались ей щербатыми и неловкими, как шахматы в чужой гостиной.

– А что происходит с людьми в 18 лет после школы? – спросила она, когда Тео отлепился от нее, чтобы отдышаться. – Они же почти всегда куда-то уезжают из городка! Куда? Это другой уровень?

– Учиться уезжают, – недоверчиво сказал Тео.

– Чему учиться? – потрясла его за плечи Джей. – Вот чему и куда? Почему они не возвращаются? Никто из них еще не вернулся!

Тео тоже схватил Джей за плечи и опять начал ее целовать. Джей ничего не чувствовала: никакой мягкости, никакой теплоты, как будто бы она не была влюблена. Но она и не была, наверное. У Тео был теплый и чуть колючий язык, как у кошки.

– Это тоже правило? – спросила она после. – То, как надо обращаться с языком у себя во рту, когда чужой. Именно так, а не иначе?

– Я интуитивно, – улыбнулся Тео, - И я в кино видел. Не подумай, что я со всеми подряд целуюсь. Тебе так не нравится?

– Кино! Телевизор! – взвилась Джей. – Вот именно! Они смотрят там только про такого же типа секты, как наша, серьезно! Это тотальная жопа, невозможно вырваться, замкнутый круг! Извини, но у меня другая интуиция!

– Скажи, если тебе не нравится, – расстроился Тео. – Я не хочу делать тебе больно или неприятно.

– Ты делаешь мне больно и неприятно тем, что уже повторяешь все эти схемы! – рассердилась Джей.

– Давай ты попробуешь потошнить вином перед тем, как ехать домой, – растерянно сказал Тео. – Два пальца, все дела. Твои меня убьют. Я не думал, что ты так напьешься с двух стаканов.

* * *

Эм была последней надеждой. Эм недавно исполнилось четырнадцать, и она себя вела как запредельно сложный подросток: курила травку, развешивала по стенам готические плакаты про смерть, страшно хамила Горовицам и однажды даже пыталась

сбежать из дома, но ее, конечно же, нашли в ближайшем Старбаксе и надавали по жопе. Возможно, Эм уже давно знает про секту и поэтому ее так кроет. Возможно, ей даже не нужно ничего объяснять.

– Снова у тебя это, – вздохнула Эм, когда Джей выложила ей все. – То, что было в прошлом году. Только еще хуже теперь. Будем говорить предкам?

– У нас даже имен нет! – запищала Джей, в ужасе понимая, что выбалтывает, выкладывает бессердечной Эм самую страшную, самую сокровенную свою догадку. – Мы просто инвентарь. Нас называли по буквам, как однопометных собак: Джей, Эл, Эм, Эн. Не хватает Кей: J, K, L, M, N. Должен быть пятый ребенок.

– Пятый? – ужаснулась Эм.

Оказалось, что у нее-Горовиц за пару лет до Эла был выкидыш – Эм об этом всегда знала, но не рассказывала, но сейчас решила рассказать.

Джей в ужасе охнула:

– А почему мы не в алфавитном порядке? К идет перед L, это нормально. Я иду перед К, это тоже правильно. Но почему ты и Энн идут после нас? Они перепутали наши буквы? С какой целью?

– Какой бред, господи, это просто сокращенные имена, это не буквы. Эл – это Александр. Эм – это Анна-Мария, мое полное имя. Только у тебя и Энн это полные имена, но это тоже не буквы.

– Это буквы! Буквы! – заплакала Джей.

– Ты хочешь, чтобы я все рассказала родителям и тебя снова отвезли в клинику? – мягко спросила Эм. – Мне бы этого очень не хотелось. Я в прошлый раз, вот честно, ужасно себя чувствовала, когда тебя увезли. Тут я с тобой согласна: они не должны были тебя отдавать, они тебя фактически предали. Поэтому ты теперь и не можешь признать, что эти люди – твои родители. И ты их диссоциируешь таким вот образом.

– Это их сектантские клиники, – продолжала

плакать Джей, – За пределами города вообще другие правила, все по-другому, я тебе клянусь, давай попробуем. Надо просто выехать из города и сказать, что мы в сектантском поселении, можно к первому полицейскому подойти и сказать. Мы просто не видели ничего другого. Ты же хотела уехать, ты же убегала, ну. Давай попробуем. Может быть, мы сможем найти своих настоящих родителей. Мы вернемся домой. Домой, представляешь?

Эм тоже заплакала, стала обнимать Джей и гладить ее по голове. Все это было совершенно не то, что Джей было нужно – это тоже был ритуал, причем один из самых мерзких.

Все рассыпалось, все провалилось.

Эм пообещала, что не будет ничего рассказывать Горовицам, хотя Джей ее об этом не просила. Джей просила ее только об одном, и Эм эту просьбу не выполнила.

Как ни удивительно, только маленький Эл понял ее сразу же. Джей даже не думала говорить с ним об этом всем – Эл был особенный, поэтому некоторых вещей он просто не понимал.

– Ты моя воображаемая сестра, – сказал он, заметив, как зареванная Джей крадется через кухню, чтобы взять из холодильника бутылочку с соком. – Поэтому ты не такая, как все.

– Ты тоже не такой, как все, – огрызнулась Джей.

– Не наступите на мою воображаемую сестру, – захихикал Эл.

– Слушай, – вдруг серьезным голосом спросила Джей, - А ты никогда не думал о том, что тебя с этим домом вообще ничего не связывает?

– Вообще ничего, – закивал Эл. – Все ненастоящее, все страшное. Настоящий только я, и ты тоже настоящая, потому что ты воображаемая сестра.

Все остальное я не могу контролировать.

– Ты генетический продукт руководителей нашей ячейки, – вздохнула Джей. – Я не требую от тебя сверх-уровня понимания. Но я тебе сейчас попытаюсь все объяснить.

* * *

Когда они наконец сели в машину, было около трех часов утра. В багажнике было все, что нужно – Горовицы спали крепко, потому что принимали на ночь всевозможные ритуальные сонные шарики.

Хотя нет, не все. Подумав, Джей спустилась в подвал и принесла оттуда два ружья и коробку патронов. Подошла к багажнику, потом вздохнула и положила все на заднее сиденье.

– Теперь все, – выдохнула она. – Поедем искать свою семью.

– Меня родили эти люди, – напомнил Эл.

– Хорошо, давай так, – сказала Джей, – Ты согласен жить с нами, если я найду свою настоящую семью? Мы тебя усыновим, обещаю. Клянусь, мои настоящие мамочка и папочка – отличные ребята.

– А дашь пострелять? – спросил Эл.

– Когда доедем до пустыни – пожалуйста, – пожала Джей плечами. – Сделаю тебе там тир. Или будем палить по гремучим змеям.

– Змей убивать нельзя, – строго сказал Эл.

– А белых голых птиц убивать можно, – осадила его Джей. – Если у живого существа есть конечности, совпадающие числом с количеством младших жильцов ячейки, это не значит, что оно циклически обречено на ритуальное уничтожение. Змея – удел одиночек, как мы. Два конца, посередине гвоздик. Мы теперь ячейка из двоих, змея нам в самый раз.

– Со стороны погремушки – твоя половинка, – сказал Эл.

Джей еще немного подумала, вылезла из машины, и втащила в багажник еще одну канистру с бензином. Ей тринадцать. По ней видно, сколько ей лет. На первой же заправке ее остановят. Поэтому придется ехать, пока хватит бензина.

Механическая дверь гаража страшно заскрипела, закрываясь, но ни в одном окошке не зажегся свет. Наверное, можно было что-нибудь прокричать на прощание – все равно никто бы не услышал.

Они ехали очень долго – час, два, три, шесть. Джей решила, что раз у нее другая интуиция, ей стоит целиком этой интуиции довериться и не смотреть на дорожные указатели.

Последние три часа за окном медленно текла пустыня; встречных машин практически не было.

На призрачной, полузаметной развилке Джей свернула налево, на узенькую, совсем неухоженную дорогу. Так они ехали еще три часа, пока пустыня не закончилась, и дорога тоже не закончилась, и бензин тоже не закончился.

Джей обернулась, схватила с заднего сиденья ружье, открыла дверь.

– Не наступи на мою воображаемую змею, – тихо прошептал Эл. Было заметно, что ему страшно.

Джей вышла. Вдалеке чернели горы, в летнем утреннем мареве угадывались бесконечные луга, где паслись будто нарисованные овечки и коровки; из тумана постепенно выступили какие-то странные, ни на что не похожие куполообразные блестящие строения на колесах. Из них стали выходить люди, мужчины и женщины в одинаковых и незнакомых длинных одеждах, расшитых золотом и синевой, и их было много – два, десять, двадцать, пятьдесят.

Джей опустила руку с ружьем, люди ее окружили.

Ружье упало в песок. И сама Джей тоже упала в песок и закрыла глаза.

«Я наконец-то дома, – думала Джей. – Я нашла свой дом. Я как собака, выброшенная на ветер, на пустое шоссе, я чую направление сердцем».

Из самого красивого и блестящего строения вышли двое с сияющими бездонными голубыми глазами, похожие на богов, и это были самые прекрасные люди в мире, прорастающие вниз корнями в песок при каждом своем шаге, и корни пронизывали землю насквозь до самого раскаленного жидкого ее дна и сути, и напитывались огненной сутью, которая вспыхивала в глазах.

Это были ее отец и мать – ровно такие же вспышки видела Джей в зеркале всякий раз, когда осмеливалась взглянуть себе в глаза.

Она поднялась и сделала шаг им навстречу.

Три один один

Когда Джо вспомнила, что кофе снова остыл, в дверь позвонили и закричали «Полиция». Или, скорей всего, в дверь вначале позвонили и закричали, и уже тогда Джо вспомнила, что нажала на эспрессо-машине кнопку «Лунго» минут десять назад, а потом что – потом сидела и скроллила чужие жидкие жизни с повторами туда-сюда. Можно насыпать кубиков из морозилки и будет ледяной кофе, хотя кто пьет ледяной кофе в ноябре?

Как-то они проникли в подъезд, раз звонят прямо в дверь. Слышимость в доме слишком хорошая – не должно быть так, чтобы представляющегося из-за двери было слышно из спальни. Значит, они тоже услышали, как Джо подкралась к двери. Никаких шансов.

Сложно не открыть дверь, когда за ней полиция. Погружая в палец резкий консервный курок заслонки глазка, Джо опасалась, что за стеклом возникнет пистолетное дуло, она слышала, что так убивают людей или подозреваемых, которые еще пока не люди – четко, прямо в глаз. В глазке плавал полицейский значок с длинным тошнотворным именем нрзбрч – будь что будет, Джо открыла дверь и привычно сделала заспанный вид, как делала всегда, когда приносили почту, плохие вести, мертвых птиц и чужую еду в пропотевшем картоне.

– Жалоба три-один-один, – сказал полицейский. – На шум. Вы меня впустите?

Джо покосилась на эспрессо-машину.

– Она тихая, – сказала Джо. – Не так уж и много шума.

– Она? – удивился полицейский. – Вы писали «он». И там было написано, что он не тихий, а наоборот. Я из службы три-один-один. Жалоба на шум.

Джо просияла.

– А, это! Да, конечно! Жаловалась, еще как! Как

хорошо, что вы пришли! Да, жалоба на шум, еще какой. Вы присядьте, пожалуйста. Я вам сейчас сделаю кофе. Это очень тихая эспрессо-машина, никто из соседей пока не жаловался.

– Я не буду кофе, – сказал полицейский. – У меня нет времени. Давайте быстро вашу жалобу. Жозефина Стенциян, 33, шумный сосед в доме напротив. Мы, думаете, по полдня на каждую жалобу тратим, часами в домах просиживаем, чаи гоняем. Ничего подобного. Вас у нас тысячи. Так что случилось? Покажите, где там шумят.

– Короче, – Джо забросила в эспрессо-машину перламутрово-бирюзовую капсулу и надавила всем телом на рычаг. – Шумный сосед, да. Вот там окно. И за окном – видите? – этот дом крутой, который из церкви перестроили. В нем квартиры столько стоят, что я в жизни не заработаю таких денег – я фрилансер, веду социальные сети нескольких медицинских бизнесов, немножко лекции читаю – мне еле-еле на эту студию денег хватает, это половина зарплаты. А там – ну, лакшери же – по идее живет преуспевающий средний класс. И вот непонятно каким образом, может, в лотерею выиграл – там этот мужик на пятом этаже, который практикует вуду прямо в форточку.

– Вуду? – с интересом переспросил полицейский.

– Ну, не вуду. Обея. Есть такая религия в Ямайке. Откуда я знаю? Да прочитала, я гуглила целый месяц все, что могла, про это дерьмо. Причем в Ямайке она запрещена на уровне закона. Буквально: за обею тебя могут в тюрьму, это криминал. А тут – видите, приходится вызывать не настоящую полицию, а такую вот домашнюю, три-один-один.

– Я настоящая полиция, – мрачно сказал полицейский.

Джо протянула ему чашку горячего кофе, полицейский покачал головой медленно-медленно, словно на его голове стояла огромная корзина со спелыми тонкокожими персиками.

– Короче, там даже нет богов, по большому

счету, – продолжила Джо. – Человек сам придумывает себе практики и ритуалы и работает с ними. Изгоняет демонов, например. Призывает разного рода магические сущности, чтобы кому-то помочь или там, ну, наоборот. «Обея» - это от слова «убио», на одном из нигерийских языков это «плохой знак». Короче, это плохой убик, если вы понимаете, о чем я.

– Не понимаю, – ответил полицейский. – У меня мало времени.

– Извините, – Джо отпила кофе, отметив про себя, что это чужой кофе, наверняка предназначавшийся полицейскому и его покачивающемуся головному воинству полупрозрачных фруктов непонимания. – В общем, это плохая, очень нехорошая ритуальная шаманская практика. На работу он не ходит, сидит дома. Практикует круглосуточно. После каждого ритуала ему надо, видимо, произвести выброс духовных отходов или выпустить на волю темные силы, которые он изгонял из своих клиентов. Делает он это прямо в форточку: надевает такую, знаете, золотую голову быка, видели такие? Как на дискотеке в лабиринте.

Полицейский кивнул.

– Нет, – смутилась Джо. – Я риторически спросила, вы таких не видели точно. Короче, он надевает голову быка, открывает окно, вылезает оттуда и вываливает туда эти ритуалистические песенные отправления. Звучит это чудовищно, и, вот честно, очень раздражает и пугает. Понимаете, это черная энергия. И она такая не потому, что она такая, а потому что он уверен, что она такая – и я знаю, что он уверен в этом, и сумма наших знаний дает вот это вот все. А так я материалист. Я в эту херню не верю.

– Вы записали аудио, так? Мы получили несколько записей, но там ничего не разобрать.

– Да, да, – закивала Джо. – Записала. Он вот так вот высовывается – и начинает с таких длинных завываний, как бы готовится: ооооо! ооооо! На весь квартал. А потом вот так вот немножко как индюшка: гегооо-гегооо, гелагоооо, оооо! гегоооо, гелагоооо, гелагэ! глоглогло, гееее!

Джо помахала руками, изображая индюшку, потом скривилась и опустилась на стул.

– У меня артрит там, в коленке, и спина болит почти постоянно. И еще нога опухла – что-то с оттоком лимфы. Это уже месяц длится. Я точно знаю, что это его энергия. Не в том смысле, что это объективно такая энергия. Просто я точно знаю, что он верит в то, что делает. Поэтому я постепенно разрушаюсь. Видите, нога не работает почти.

Джо поднялась, немного попрыгала на больной ноге, потом снова скривилась и триумфально опустилась на пол штопорообразным движением, как в современном балете.

Полицейский смотрел на нее, подняв брови. Джо заметила, что полицейский – ее возраста, просто выглядит очень уставшим.

– Это вы думаете, что у меня уже все, началось, да? – усмехнулась она. – Так вот у меня еще не началось. Я отлично. Я в порядке. Просто знаете – он это делает раз семь в сутки, и ночью тоже, я просыпаюсь в полной тишине, лежу и слушаю это его курлыканье и завывания, и знаете – там такая ярость, там такая злость на мир – что у меня сердце в груди дергается и трепыхается безысходно и навсегда, как когда цыпленка душишь, знаете?

– Я понял, – сказал полицейский. – Темное дельце.

– Я вам чаю сделаю? – снова предложила Джо. – Может, вы кофе не пьете вообще, у вас и так работа стрессовая. Надо было сразу чай предложить, я дура.

– Я спешу, – сказал полицейский. – Вы думаете, у полиции есть другие дела? Точнее, нет других дел? Знаете, сколько нас у вас? Точнее, вас у нас.

Пока он это говорил, Джо пропрыгала к газовой плите и поставила на нее черно-розовый подкопченный

чайничек.

– Мы сейчас к нему пойдем и допросим, - сказал полицейский. – По поводу жалобы. Вы бы выключили чайник, выкипит.

– Нет-нет-нет, – взмолилась Джо. – Я потому и подавала жалобу в три-один-один, а не звонила сразу в настоящую полицию. Мне страшно. Кто-то узнает. Кто-то точно сообщит. Меня все сгноят потом. Я белая же, вы что, не видите? Я работу потеряю. Я преподаю на полставки историю дизайна сейчас – меня сразу вышвырнут и всюду пропечатают, и полная отмена, я изгой, волчий билет, можно сразу идти вешаться. Ни за что. Это с моей стороны будет расизм, неуважение к чужой религии, чужим традициям. Может, у него традиция такая, может там, у них в культуре, все по десять раз в день из форточки выкрикивают вуду-проклятия. Ну, или не из форточки, что у них там вместо форточки для проклятий.

– Такие правила, – сказал полицейский. – Анонимный донос в полицию невозможен. А так я приду с вами, и сошлюсь на вас. Хорошо, кстати, что у вас есть какие-то нарушения в организме. У вас есть справки от врачей?

– Знаете, – подумав, сообщила Джо. – Я в итоге просто зеркало к груди примотала. Сердце болело иногда и трепыхалось хомячком и цыпленком, и я примотала такое круглое, икеевское, для косметики, знаете? Где с обратной стороны типа линза, и увеличивается площадь. Я им все равно не могла пользоваться, когда красилась, потому что в нем у меня поры на лице были огромные, как у чуваков с обложки журнала «Эсквайр» в нулевые. Короче, я его вынула из рамки и примотала изолентой к груди, и вот так с ним и работаю – показать?

– Не надо, – попросил полицейский. – Понимаете, мне нужны доказательства, свидетели. Справки от врача – это доказательство. А зеркало – не стоит.

– Давайте вы один к нему сходите, без меня, – сказала Джо. – Господи, это точно кто-то увидит или

снимет на видео, я не отмоюсь потом.

Мне нужны доказательства, повторил полицейский.

Джо выключила чайник и выругалась – вода выкипела, как всегда, еще ни разу не было, чтобы не выкипела. Надо будет купить чайник со свистком.

– Так, – сказал полицейский. – Я должен убедиться в том, что он это все практикует. Если вы категорически отказываетесь идти со мной к нему домой, чтобы быть свидетельницей, я должен убедиться на практике. Я тут тогда у вас посижу и подожду, пока он – ну – не вылезет в окно и не начнет шуметь. Мы должны убедиться, что это действительно нарушающий спокойствие, невыносимый, опасный шум.

– Это может и через два часа произойти, – смутилась Джо. – Или через три.

– Нормально, – сказал полицейский. – Я вот тут на диванчике и посижу. Нам все равно нечего делать, сейчас мало вызовов, иногда по вечерам на стрельбу вызывают, но если вызовут, то я занят, я тут сижу.

– Вы же сказали, что у вас времени нет. Вы даже от кофе отказались.

– Я буду ждать, пока он наденет голову быка, – сказал полицейский. – Чтобы запротоколировать соблюдение им протокола, который вы нам предоставили. Чтобы засвидетельствовать. Я не могу даже дело открыть без свидетельствования.

Джо закатила глаза, прошла размашистым неровным шагом к столу, распахнула лэптоп и картинно, как кинематографический пианист, опустила чашечки рук на молчаливый гром клавиатуры.

– Вы можете работать, – успокоил ее полицейский, скролля что-то в телефоне. – Занимайтесь своими обычными делами, а когда это начнется, дайте мне знать.

Джо пожала плечами. Ей нужно было подготовить фрагмент лекции и придумать для студентов задание. Не

хочет кофе – ну и ладно. Главное, чтобы не заснул тут, на диване. Интересно, если сфотографировать заснувшего в засаде полицейского и вывесить это в Инстаграм – могут за такое подать в суд как за дискредитацию образа полиции?

Полицеский не заснул: пока Джо работала, он, сидя строго и ровно, будто ему в спину вонзили меч, листал телефон, очевидно стараясь не рухнуть спиной в искушающую мякоть лимонных, как суфле, диванных подушек, которые Джо недавно купила с огромной скидкой: натуральный утиный пух, а стоят как синтетика, редкая удача.

Джо погрузилась в работу, и когда полицейский вдруг переспросил, как часто это происходит, она подпрыгнула от неожиданности, но быстро взяла себя в руки и ответила: два-три часа, я же говорила; полицейский неожиданно рассеянно повторил, словно убеждая себя в чем-то:

– Отлично. Отлично. Я подожду

– А когда вы все это увидите и услышите и таким образом сами станете необходимым вам свидетелем – вы к нему пойдете? – спросила Джо. – Вы его арестуете? Я не хочу, чтобы его из-за меня арестовали. Понимаете, сейчас такая всюду ненависть.

– Я знаю, – сказал полицейский. – Уж я-то отлично знаю.

– Мне иногда кажется, что эти практики – обея, например – они сейчас адаптируются специально для того, чтобы уничтожать таких, как мы. Или таких, как вы, – уточнила Джо. – Это их песни мести и ненависти лютой. Они делают это, чтобы мы умерли наконец. Чтобы нас больше не было. Понимаете, там травма. И нет никакого способа с ней справиться, кроме как уничтожив нас совсем. Потому что кроме нас, некому персонифицировать эту ненависть.

– У меня семья, – вдруг потеплев, признался полицейский. – Я сталкиваюсь с ненавистью каждый день. Они хотят, чтобы мы сдохли, я в курсе. Я специально не хожу на серьезные вызовы, я боюсь. Я

стрелять не должен, я боюсь стрелять – а они, чуть что, будут по нам палить, да? Ну и палят же, чо. Я поэтому специально на такое хожу, на такие мелкие вызовы, бытовуха, шум, туда-сюда. И то – здесь тоже они: и когда бытовуха – они, и когда шум – тоже они. Вот, например, я поднимаюсь туда, а у него оружие. Но если я первый выстрелю – то я его убил, ой-ой, я мировое зло и фашист, и меня будут судить, и на весь мир я буду злодей, и мою дочку в школе затравят. А я не злодей. Я хороший человек. Я хороший отец. Я дочку каждый вечер вожу на баскетбол, она совсем крошка, начальная школа, а хочет баскетбол, и как я могу сказать нет? И я сижу с ней там четыре вечера в неделю, отвожу ее, сижу там, потом обратно везу, потому что ей хочется этот баскетбол сраный, я жену не вижу вообще, она с подругами там тусуется, или с друзьями, да, друзьями тоже, может, у нее кто-то есть уже давно, а я с дочкой сижу-катаюсь, а все остальное время работа. А дочку травят, кстати, мне она недавно говорит: баскетбол ей нельзя, оказывается, это чужая культура, она делает кому-то больно тем, что ходит на баскетбол, как вам такое, а? Ненавижу это, и ненавижу, что мне не с кем говорить про это. Они нас ненавидят, а мы что должны взамен делать? Бояться их ранить? Вот сейчас я тоже должен, как вы, бояться туда подняться?

Вдруг словно раненая утка медленно крякнула где-то за рекой.

Джо оторвалась от лэптопа резким, животным броском.

– Началось!

Полицейский замедленно, как будто отражая медленный утиный крик, посмотрел ей прямо в глаза, Джо смутилась. Может быть, спросить, сколько ему лет? Вообще, какого рода small talk допускается с полицейским, который по долгу службы сидит у вас на диване и уже начал рассказывать вам всю свою жизнь?

– Вы боитесь, правильно? – вежливо уточнила Джо.

– Ничего я не боюсь. Но мне неприятно, – поежился полицейский.

За окном протяжно и угрожающе раздалось очень нехорошее, сумрачное «оооооо!».

Джо резво доковыляла к окну и распахнула его.

– Вот! Сейчас начнет! Он всегда начинает эти сессии вот так, этими длинными: «ооооо!», «огоооооо!». Это у него вступление такое! Идите сюда!

Полицейский осторожно подошел к окну.

– Вот сюда становитесь, ровно напротив – скомандовала Джо. – Я тут крестик наклеила из изоленты, где стоять надо – видите? Главное, не бояться. Оно звучит реально как будто вас проклинают прямо сейчас, но вы потерпите. Это быстро будет. Сейчас он вернется, наверное, он пошел голову надевать, он эти первые «ооо» просто так выдает, а потом надевает золотую голову быка и уже тогда идет сам речитатив. Вы только не бойтесь. Я просто восприимчивая и чувствительная, поэтому спина болит, и нога болит. Да, это херовая энергия. Но у меня психосоматика. Мне палец покажи – и я заболею. Вы не бойтесь просто.

– Нормально, - сказал полицейский. – Я болел. В смысле, я всяким уже болел.

– Вот! Слышите?

– Да! – сказал полицейский. – Боже мой, так он, сволочь, довольно гро…

Тут он схватился за сердце и медленно-медленно, как в очень плохом кино, сполз вниз, помогая себе руками и туго наглаживая ими бесполезный воздух.

Оказалось, что все, что Джо считала плохим кино, было обычной жизнью.

Полицейский немного посучил ногами и затих.

Джо присела и потрогала полицейскому шею. Шея была теплой, но в ней все было пусто и ничего не билось, не толкалось в пальцы. Тут она поняла, что так и не переспросила, как его зовут. Да, он показывал значок – но теперь ей придется пошарить у него по карманам.

Вместо того, чтобы шарить по карманам мертвого человека, Джо накинула плащ, вышла на улицу – как есть, в домашних тапочках – и задрала голову. В окне третьего этажа дома напротив, голый по пояс, стоял огромный чернокожий мужчина в сверкающей миллионами золотых зеркал маске-шлеме виторогого быка, и пел свою песню ненависти.

Заметив Джо, он снял шлем и посмотрел точно на нее. Его рот был вымазан каким-то белым ритуальным веществом, может быть, специальной известкой, которая, вероятно, помогала ненависти безболезненно катить наружу.

Джо замедленно, как во сне, подняла руку и помахала ему, ощущая, как в ноябрьском вечереющем воздухе лопаются летучие льдинки-невидимки. В ответ он вопросительно кивнул белым подбородком. Джо показала ему три пальца; это выглядело как немножко расширенная, дополненная победа.

Он ухмыльнулся в ответ и надел голову быка обратно.

Джо отвернулась и пошла домой: снова, уже в третий раз звонить в настоящую полицию.

Новый фильтр

Мы не на вашей стороне, говорит Катя, это все ложь, пиздеж, они специально это пишут, чтобы голову вам задурить. Вы как зомби, мозгов нет, всему верите, что вам говорят. Мы не на вашей стороне, мы не с вами, мы не подавали вам знак, а если вам казалось, что подавали, и даже где-то об этом писали, то это был не знак. И вы узнаете сейчас, что это было.

Володя уже знает, что это было: Катины спутники только что сломали ему нос, он это понял, когда попробовал вытереть с лица кровь: нос мягко, как котлета, ушатнулся вслед за рукой куда-то в сторону, и Володя испуганно отдернул руку.

Мы ровно такие же, как вы, немного запинаясь, как по учебнику, говорит Катя. То есть нет, не как вы, говорит Катя. Ровно такие же, как вы говорили о нас - вы помните, как и что говорили? Что вам про нас говорят, напомнить? Фашисты, уроды, нелюди. Выродки, животные, твари. Помните, что вы о нас говорили? Помните, что писали про нас на сайтах своих уродских? Вот все ровно так и есть. Правду писали. Сволочи, фашисты, садисты. Ни перед чем не остановятся. За все будут мстить. Домой придут к вам, двери выбьют и будут убивать вас и детей ваших, если вы их не остановите? Так вы писали? И смотрите-ка – все так и вышло. Пришли домой, двери выбили, и убивают вас сейчас. Видите, правду о нас говорят.

Еще один удар. У Володи выбиты зубы. Полон рот зубов, которые нужно теперь как-то распределить внутри рта. Он думает о том, что как раз собирался удалять восьмерку: а достали ли они до восьмерки? Это надо далеко и глубоко бить. Восьмерку удалить тяжело, она крепко сидит. Большие деньги нужны, чтобы восьмерку удалить. Бесплатно удаляются только передние – раз-два и нету. Легкие зубы, бесплатные.

Это похоже на сон, понимает Володя. Сон, где выпали все зубы и руки в крови.

– Нелюди! – кричит Володина жена, пытаясь не пустить Катю и ее спутников в спальню.

– Да, мы нелюди! – безразлично говорит Катя, отталкивая ее. – Я же сразу сказала. Все, что ваши про наших пишут – чистая правда.

Начинается обыск. Катя и ее спутники ходят по квартире, вываливают на пол все книги с полок, сметают с тонких досточек серванта посуду, срывают с кровати постельное белье, спортивно бьют ногами подушки, распахивают шкафы.

– А что вы хотели? – говорит Катя, отталкивая ногой Володину жену, пытающуюся отнять у нее планшет и старенький нет-бук, – Чтобы мы как люди себя вели? Для этого надо признать, что мы люди. А вы у нас это – забрали. Теперь мы заберем ваши носители информации. Проверим. На кого подписаны, с кем нас обсуждаете, кто вам платит, проверим, и сколько платят. Вам же платят? Вот. И мы знаем, что вам платят. Но немного платят, да? Старая какая-то у вас техника. Не хватает, значит, на новую? Ой-ой, что же вы так дешево продаетесь?

Жена Володи плачет. Когда Катя распахивает очередной шкаф, оказывается, что в этом шкафу сидит дочка Володи.

Дочка Володи испуганно смотрит на Катю. Катя хватает ее за плечо и вытряхивает из шкафа, как старую пыльную книгу. Жена Володи подносит мокрые руки к лицу.

– А с нашими детьми вы что делали? – строго спрашивает Катя. – Помните, что вы делали? Подробно помните? Во всех деталях? Да, это тоже были дети, потому что у них есть родители. Интересно, как вы посмотрите на то, что мы сейчас будем делать с вашими.

– Я чужой ребенок! – громко говорит дочка Володи, – Я не из этой семьи. Я тут случайно оказалась.

– Как это случайно? – удивляется Катя.

– Он меня утащил, – говорит дочка Володи. – Маму в тюрьму забрали, с улицы взяли, а со мной что делать, непонятно. Не по улице же таскаться вместе с остальными, вот он и потащил домой, а завтра сдаст в детдом.

– Это правда! – плачет жена Володи. – Это не наш ребенок! Я клянусь вам, она не наша! Не трогайте ее!

– У вас ребенок на аватарке вконтакте, – говорит Катя. – И там еще куча фото с ребенком. И в нашей базе тоже прописано: у вас дочка. Вы кого сейчас обмануть хотите?

– Лицо замазано! – плачет жена Володи. - Лицо у нее на аватарке было замазано, потому что она ребенок! Вот посмотрите, откройте страницу нашу! Лиза у мамы сейчас, я клянусь вам, хотите, мы маме позвоним? Она подтвердит. Я клянусь!

Жена Володи вытаскивает из-под пояса джинс телефон и звонит кому-то, возможно, маме. У нее забирают телефон, швыряют его на пол, бьют телефон ногой, потом этими ногами бьют жену по почкам.

– Так ее, суку, – безразлично говорит дочка Володи.

Володя подходит к дочке и, немного подумав, бьет ее по лицу.

– Теперь понятно, почему вы такими вырастаете, – говорит Катя. – Вы даже своих детей так растите. Чтобы они стали такими же, как вы.

– Это он не поэтому! Это он чтобы доказать, что это не наша дочка! – рыдает жена Володи. – Это он не поэтому!

– Мы забираем ребенка, – говорит Катя. – Какая же вы тварь.

– Так а вы про нас как пишете? – кричит жена Володи. – Твари, нелюди. Вот он тварь, да. И я тоже. А вы чего ожидали? Человеческого поведения? Нет, у нас для вас такого нету.

Володя тоже хочет что-то сказать, но у него полон рот зубов и крови.

– Спасибо, – говорит дочка Володи. – Заберите меня.

Катя просит Володю выплюнуть те зубы, которые мешают ему разговаривать, потом отматывает рукой, как веретеном, пару метров бумажного полотенца, и протягивает Володе руку.

– Вытрись, – говорит она. – Сейчас будем видео с тобой записывать, понял, о чем я?

Один из Катиных спутников включает камеру на своем телефоне и направляет ее на Володю. Володя прикладывает полотенце к лицу и застывает.

– Давай, говори, – командует Катя. – Сам знаешь, что должен сказать. Будешь еще делать, что делаешь?

Володя давится зубами.

– На камеру, давай, – повторяет Катя. - Ты будешь еще это делать? Записываем.

Володя косится на ребенка.

– Мы не сделаем ей ничего, – ехидно говорит Катя. – Мы что, нелюди, что ли.

Володя смотрит на нее тяжелым долгим взглядом.

– А, да, – говорит Катя. – Мы нелюди. Но если это не ваш ребенок, мы не будем ничего ей делать.

Разобравшись с зубами, Володя наконец-то говорит в камеру о том, что он больше не будет заниматься тем, чем он занимался раньше. Володя все понял. Володя просит других Володь тоже сделать так, как Володя, и не делать того, что делал Володя, и чего Володя больше делать не будет никогда, потому что Володя все понял. Он все понял сам, без давления. Надо жить мирной хорошей жизнью. Быть добрым. Вместе строить будущее с другими добрыми людьми.

Катя проверяет записанное видео и заливает его в сеть, как есть.

– Ладно, – говорит она Володе. – Оставим вас так. Тебе уже все равно пиздец, теперь тебя свои же растерзают, все. А мы тебе уже ничего не сделаем. Видео уже есть, сейчас разойдется повсюду, теперь не так важно.

Катя и ее спутники кладут в сумку всю технику, найденную в Володином доме, и ждут, пока дочка Володи зашнурует ботинки.

– Фамилию помнишь? – спрашивает ее Катя.
– Да, Герасименко.

– Это его фамилия, – говорит Катя. – Ты же как бы не их ребенок, так? Тогда говори свою фамилию. Ну?

Дочка Володи запинается, не может завязать крепкий узел, не может нормально назвать фамилию, и смотрит Кате прямо в глаза.

– Мы отвезем ее в детдом, – говорит Катя. - Вы это понимаете?

Володя и его жена молча кивают.
– Предположим, вы соврали и это ваш ребенок. Вы еще можете сознаться. – уточняет Катя.
– Если это наш ребенок, вы его тем более заберете, – с ненавистью говорит Володина жена. – Вы же, мрази, всегда отбираете детей. Я читала, что вы делаете с детьми.

Володину жену еще несколько раз бьют по почкам, на прощание. Мрази – значит, мрази.

Володина дочка смотрит на это с интересом.

– Ты как, нормально? – спрашивает ее Катя, когда они заходят в лифт.
Володина дочка пожимает плечами.
– Я уже привыкла, – говорит она. – Чуть что -

сразу в детдом. Идеальное решение.

– Даже дети привыкли, – говорит Катя своим спутникам. – Вот до чего народ довели.

Из сумки звонит разбитый телефон Володиной жены, Катя несколько раз сбрасывает его, нажимая на пятно экрана, просвечивающее сквозь ткань. Но телефон продолжает звонить; уже во дворе Катя осторожно, чтобы не порезаться об экран, вынимает его из сумки и отвечает на звонок. На оставшейся половине экрана возникает пожилая женщина в кофте с синими цветочками.

– Юленька? – натужно говорит пожилая женщина.

– Нет, это конфискованная техника, – говорит Катя. – Вы кто?

– Бабушка! – радуется дочка Володи.

– Так это ваша внучка? – холодеет Катя.

– Нет, – отвечает бабушка. – Внучка моя у меня сейчас.

– Докажите это, – говорит Катя.

К экрану подходит девочка, у нее вместо лица размытое пятно.

– Как это так, и у этой тоже лицо замазано, как на аватарке, – говорит Катя.

– Такой блюр в реальном времени, – говорит бабушка, – Эффект такой новый, вы что, не слышали? Дети же. Чтобы лица не было видно.

– Что это за девочка блять, – говорит дочка Володи. – Бабушка, что это блять за девочка.

Катя швыряет телефон в лужу.

Этот вопрос уже можно не решать.

Когда они садятся в машине, Катины спутники спрашивают:

– Девочку мы забираем?

– Я вспомнила мамину фамилию, – говорит дочка Володи.

Дочка Володи называет фамилию-имя мамы, катины спутники пробивают ее по базе – и, действительно, там есть женщина с таким именем-фамилией, тридцать суток. Но в базе данных не указано, что она мать-одиночка.

– Она не мать-одиночка, – говорит Катя. – Тогда бы ей не дали сутки, матерям-одиночкам не дают.

– Я не зарегистрированная, она от меня отказалась, – отвечает дочка Володи.

– Так где ты живешь? – спрашивает Катя.

Дочка Володи долго думает, и потом неуверенно отвечает:

– У бабушки.

– Это не твоя бабушка, и потом, телефон утонул и разбился, – говорит ей Катя.

Дочку Володи в итоге везут в детдом, потому что непонятно, что еще с ней делать. В машине она засыпает. Катины спутники передают ее в детдом спящую, показывая какие-то справки и удостоверения – стандартная процедура, там уже привыкли, утром разберутся.

В детдоме дочке Володи дают по голове и кричат на нее: снова сбежала к матери, дура, сколько можно, ты ей не нужна, она алкоголичка, она ради выпивки кого угодно продаст, не ценишь ты никого, настоящей истинной заботы не ценишь, тех, кто тебя любит, не ценишь. Чудовище, нелюдь, тварь.

Потом она вылезает из окна и за гаражами Димон из старшей группы показывает ей на своем мобильнике видео, где ее папа во всем раскаивается. У папы изо рта течет кровь и зубы. На заднем плане рыдает ненавистная папина жена, которая родила ему эту безлицую суку. Дочка Володи улыбается – все, что про нее говорили, это правда, она чудовище, она нелюдь, она способна только на ненависть.

Катю ее спутники отвозят домой: впереди еще один бесконечно длинный ноябрьский день. По дороге Катя задумчиво пересматривает залитое в сеть видео, у него уже под сто тысяч просмотров. На видео есть и девочка, но у ребенка замазано лицо. Это такой новый

фильтр youtube, детей нельзя, говорят ей спутники, спецэффект такой новый, ведь это же дети, дети не виноваты ни в чем, им еще здесь жить.

Дома Катя долго-долго снимает с себя тяжелый пиджак, а перед сном идет в ванную и внимательно смотрит на себя в зеркало. Вместо лица у нее – размытие, дымка, блюр. Да, новый фильтр, понимает Катя, и идет спать.

Оздоровительная гимнастика

Не придумывалась хорошая шутка для соцсетей о том, что и правильно, в общем-то, не выбросила елку. Когда рождественский подарок доставляют только 25 января, с елкой можно вообще не дергаться: сайт производителя еще пару недель назад сообщил, что на новинку большая очередь и придется подождать. Видимо, все сейчас дарят друг другу на Рождество шлем виртуальной реальности, поняла она; видимо, теперь это лучший подарок. Да и что теперь увидишь в реальной реальности, ничего не видно. Рябит в глазах, и серая клеточка мелко-мелко бежит-едет по темно-зеленому икеевскому покрывалу: то ли аура мигрени, то ли зрительная кора тает, как хрустальная наледь, от плывущей в горизонт сетчатости.

Шлем виртуальной реальности был белый и колкий, как купол яйца – к нему не хватало серебряной ложечки в локоть длиной. Она снова пожалела, что не распаковывает в прямом эфире инстаграма, это же буквально как коробка конфет: упругие пластмассовые рожки ручных контроллеров словно требовали горку пластикового мороженого, молочный курок жалко жался к пальцу. Но лучше уж без соцсетей, вздрогнула она, когда глянула в бледный блокнот инструкций и увидела, что без фейсбука не обойтись. Как-то обойтись бы.

Кое-как вспомнив пароль от фейсбука и натянув шлем, она оказалась в сладостно, удивительно, запредельно сероватой сепии квартиры и, заулыбавшись тому, как крупнозернистая цифровая угловатость одомашнивает мерзкую цветную неприятно мягкую мебель, стала настраивать уровень пола, пытаясь уложить на него повисшую на уровне ее ладоней сеточку. Пол все не спускался, она похлопала по сеточке, как по воде. Ничего не брызнуло, но пол ниже не шел, упирался.

Мало места из-за коробок, которые стоят на полу, поняла она. Она не выбрасывала коробки, как будто коробками было что-то другое, или за коробками было что-то еще. Но вдруг что-нибудь из тех декабрьских покупок окажется неисправным, например, кофе-машина, и обратно без коробки не примут, нельзя выбрасывать.

Не снимая шлема, она кое-как перенесла коробки

на кровать. Спать можно и на полу, зачем-то подумала она. Хотя теперь пол зона для игры, сообщил ей шлем, опустив решетку куда надо и потребовав освободить квадрат со стороной в шесть футов для выстраивания защитной сетки. Это, наверное, мой рост, подумала она и быстро легла на пол. На полу было очень деревянно и удобно лежать. Она поняла, что и правда будет спать на полу. Но надо было подняться, сообщил шлем, и лечь еще три раза, чтобы был квадрат. Жалко, что никто не видит, как я четыре раза лежу на полу, подумала она, если бы кто-то видел, смеялся бы. Пост был бы смешной в инстаграм. Или тикток. Как бы вернуться в 14 лет – но не своих, чужих – и завести тикток.

Тут зазвонил телефон, и ей пришлось нашаривать его за игровой зоной, погружая руки в укоризненно расширяющиеся красные дыры в защитной сетке.

– Ты где? – спросила подруга.

Она сказала, где.

– Ты что, не приедешь? – спросила подруга.

Она подумала и сказала, что нет, не приедет.

– Давай тогда я приеду, – быстро сказала подруга.

– Зачем я тебе? – спросила она.

– Ты точно в порядке? – спросила подруга. – Я приеду, дождись меня.

– Я в порядке, – сказала она.

Потом она немного полежала на полу, потом выбирала игру: спорт, скалолазание, упражнения, аэробика, прыжки. Ей нужно больше двигаться, нужно выбрать что-то спортивное, чтобы размахивать руками или хотя бы подпрыгивать на месте.

Скачала оздоровительную гимнастику, какой-то фитнес среди водопадов – вокруг тут же раскинулись дымные, бьющие в дно земли парные выси. Под ногами стелился мелкий пляжный песочек, за спиной восставало что-то вроде тропического леса. Мосластая крепкая девица невысокого роста (пять футов), зависнув над рекой, делала энергичные взмахи ногами под бодрую музыку, приглашая к сотрудничеству и отзеркаленной выработке эндорфинов. Но это было не совсем то, почти сразу поняла она. Пришлось немного покопаться в настройках, наверняка там можно добавить еще один уровень сложности, где стреляют. Во всяком случае,

когда она читала описание игры с американскими горками, там можно было докупить уровень, где стреляют. Тут, наверное, тоже было бы неплохо стрелять, чтобы расслабиться. Хотя кого тут можно стрелять? Девицу-инструктора с круглыми ненавистными коленками – за то, что посмела попрать гравитацию? Ну, может, какие-то кубики вылетят. Придется охотиться на кубики.

Наконец-то у нее получилось найти уровень, где стреляют. Действительно, из-за самого высокого водопада вылетел огромный белый куб и стал опускаться на песочек. В куб надо было, наверное, выстрелить, но стрелять было нечем.

Она посмотрела на свои руки. Две белые лишенные оружия руки болтались в воздухе, такие пластиковые, глупые и бледные, ими разве что голубей душить или вот мороженое накладывать в рожки, зачем такой игре такие руки.

Куб окончательно опустился на песок и засиял нестерпимым перламутром – видимо, оттого, что в него так и не выстрелили. Оказалось, что это довольно большой куб, в человеческий рост. Из него вышел сияющий камуфляжный человек с ружьем, это был охотник. Черт, подумала она, я ведь сама выбрала уровень, где стреляют. Охотник подошел ближе. У него было неприятно знакомое лицо. Чтобы не узнать или не вспомнить это лицо, она инстинктивно сделала шаг назад.

Охотник сделал шаг вперед. Тогда она снова сделала шаг назад. Охотник сделал еще шаг вперед и вскинул ружье. Она попятилась назад, и тут же завыла предупредительная сирена, вокруг взвилась защитная, как колючая проволока, башня сетки, пятка пребольно ударилась о холодильник. Совсем забыла, шесть футов. Охотник остановился, опустил ружье.

В игре можно было телепортироваться на небольшие расстояния, если игровая комната не позволяет развернуться – она поняла это по серебряному лучу, исходящему из ее пластиковой правой руки (вначале она подумала, что это световой меч, но нет, меч даже песочек не мог порубить). Указав лучом на ничтожные, крошечные дозволенные, допустим, шесть футов вперед (дальше луч обрывался, как прожектор),

она тут же переместилась чуть дальше от реки, чуть ближе к тропическому лесу. Спортивная фигурка зависшей над водопадом инструкторши, продолжающей бойко взмахивать ногами под теперь уже тихую, принадлежащую только ей, энергичную музыку, стала меньше и дальше, охотник тоже отдалился. Он тут же вскинул ружье, прицелился. Вид у него был довольный. Ей показалось, что охотнику удобнее, когда она далеко, потому что тогда это настоящая охота.

Ее оглушило выстрелом. От грохота она пошатнулась и чуть не упала, поэтому пуля прошла мимо. Охотник передернул затвор, выстрелил еще раз. На этот раз она почти уловила траекторию выстрела и успела быстро шагнуть вправо. Охотник сделал шаг по направлению к ней и снова выстрелил. Она еле успела отпрыгнуть влево и пригнуться. Охотник сделал еще несколько шагов в ее направлении, и ей спешно пришлось телепортироваться на шесть футов. Потом еще на шесть. Охотник делал шаг вперед и стрелял, потом передергивал затвор и стрелял снова, он был весь отточенный и механический, как карандаш.

От каждого выстрела она пригибалась, оглушенная, и хаотично отпрыгивала, думая о том, как бы не влететь в холодильник или кухонный шкафчик. Шаг, еще шаг, снова телепортироваться. Пригнуться, шаг влево, шесть футов, шаг вправо, пригнуться, снова пригнуться, телепортироваться. От выстрелов тоненько, как комары августовской ночью в просвечивающейся луной палатке, звенело в ушах. Охотник медленно, но уверенно шел за ней, продолжая стрелять.

Она снова телепортировалась и больно ударилась о шкафчик коленом. Снова завыла сирена. Охотник сделал размашистый шаг в ее сторону, она беспомощно оглянулась. Его лицо что-то ей напоминало, и это было невыносимо, и надо было срочно бежать. Она телепортировалась еще на шесть футов и, развернувшись на 180 градусов, еще на шесть, и сложенным вдвое зигзагом пробежала это расстояние в 12 футов, стараясь не думать о том, что может с разбегу влететь лбом в стальную дверцу морозилки.

Снова зазвонил телефон. Она опустилась на четвереньки и быстро-быстро поползла за пределы игровой зоны, пока над ее головой свистели пули.

Наконец, она просунула голову через защитный барьер в реальность. Реальность была совсем плохой фильм: зерно стало крупнее и казалось разбухшим, как разваренная греча.

Она осторожно приложила трубку к сплетению ремней, укутавших ее голову, как бинты.

– Ты же сама все организовала, как можно взять и не приехать, тебя же все ждут, – сказала его родственница.

– Я не приеду, – ответила она вежливым голосом.

– Там будут все, – угрюмо сообщила его родственница.

– Я не могу, – сказала она.

– Что мне им сказать? – спросила его родственница.

– Я не приеду, – повторила она.

– Мы деньги тебе собрали, – укоризненно сказала его родственница.

Она положила трубку, отползла в игровую зону и распрямилась. Охотник, пока ждал ее, подобрался так близко, что его лицо было уже почти совсем отчетливым: ей пришлось отчаянно вертеть головой в стороны, лишь бы не посмотреть ему в глаза.

Шаг влево, шаг вправо, телепортация шесть футов. Выстрел. Еще шаг. Выстрел. Еще шаг. Там газовая плита должна быть, подумала она, делая шаг назад, только бы случайно не нажать задницей конфорку, по-дурацки выйдет. В ушах прогремело так, что стало понятно – она чудом увернулась. Охотник поднял ружье, посмотрел ей в глаза, она отвернулась. Снова шаг назад. Сейчас будет плита. Еще шаг. Выстрел. Еще шаг. Газовой плиты все еще не было. Выстрел. Еще шаг. Тело с каждым шагом реагировало инстинктивным, ежиным сжатием на бесконечно наваливающийся пустой призрак плиты. Она пригнулась, над головой просвистела пуля. Охотник сделал шаг вперед, и это было невыносимо. Она сделала шаг назад, снова шаг. Плиты по-прежнему не было. Сделав еще три шага назад (охотник сделал три шага вперед) и развернувшись резким, рваным, почти балетным разворотом в сторону леса, она с невероятным, счастливым облегчением поняла: все, плиты уже нет и не будет, и ничего уже нет и не будет.

Она швырнула шлем в песок, рванулась и побежала вперед, так быстро, как только могла.

Охотник швырнул ружье в песок и побежал за ней.

И жизнь прожить и поле перейти

Милый мой дорогой Н!

Очень хорошо что ты перешел, не то я бы не смог сообщить тебе то, что должен сообщить, бережным и нежным способом, со всеми этими утешительными приложительными, пусть здесь и ошибочное слово, но подходящее где ж взять теперь – окружить тебя еще и в этом письме зияниями отсутствий было бы совсем жестоко, все преодоления здесь только мои собственные, тебе же в этой мучительной истории должно быть комфортно. Если бы ты был женщиной, которой был в момент, в котором мы с тобой и встретились, мне бы все пришлось крутить по-другому, вертясь в колком тошнотворном лимбе из неверных спряжений, мне место только в лимбе, ниже или выше не пропустят по ряду причин, о которых я вот-вот уже – мне вряд ли повезет очутиться в месте, которое я не могу выговорить.

Я уже принял все (я серьезно, все) свои пилюли, вот же глупое слово «пилюли» (тут бы тебе уже ощутить тревогу) и выпил три емкости (ты чувствуешь, к чему я это веду?) с водой. Ну, в тот момент это еще были не емкости с водой и не пилюли, я пил из чего обычно люди пьют, и пил то, чем психически неудобных людей обычно чинят, но смотри, что было потом.

Потом, в общем, я сел к своему пишущему техническому устройству, чтобы (и вот опять эти ебучие спряжения), предположим, изъять, вынуть из себя прощение, ну, не прощение, я про это последнее тебе письмо, и в момент невозможности уже что-либо вернуть, я вдруг увидел, точнее, ощутил физически, что в чугунном комплекте букв пишущей этой штуки нет основной, первой буквы и всего, что вокруг нее! (чисто технически – речь о четвертой, по которой обычно бьет и колотит, будто демон, демонстрирующий перст левой руки – видишь, я пробую быть понятным изо всех сил!) В другой истории, в которой я бы не был весь исполнен чертовых смертельных пилюль, я бы просто пошел в сервисный центр или бутик технических устройств (прости!), способствующих появлению

текстов, и попросил бы у них починить устройство, впихнув в него вновь эту чертову букву, быстрый ремонт, и пиши что хочешь. Но тут сложность – тело мое уже, похоже, в процессе, и уже немеют немножечко ноги, и не дойду. И не дошел бы.

Еще можно было бы просто проститься от руки, но легких путей мы не ищем, плюс все стремительно прогрессирует, и пусть будет то, что будет.

Но тут дело дрянь – у меня резонное подозрение, что для всего, что хочется сообщить, есть только сорок-пятьдесят минут, ну, может, трижды сорок минут в лучшем скрипте этой стыдной жути, но это все. Счет чем-то еще, что не минуты, для меня ныне невозможен, ты можешь судить об этом уже по слову «ныне», поэтому приходится мучить тебя этими громоздкими счетными горгульями.

Для точной и бережной формулировки положенных последних слов тебе у меня совсем немного времени, и вместо того, чтобы просто быстро делиться с тобой мыслями о вечном и верном, я вынужден тормозить перед всяким словом и долго мучительно крутить перед мысленным взглядом идиотские пестрые торговые ряды неверных, уродливых синонимов: это не то, то не то, это вообще не подходит, и это, вот и другое тоже не подходит, и всякое слово дрянь и ошибочное. Был похожий момент, лет пять тому – мое пишущее устройство изрыгнуло из себя кнопку «о», и я в то время тоже по определенной причине не мог пойти в сервисный центр (ремонтный бутик) и по-быстрому поменять кнопку, но я, в общем, превосходно обошелся ноликом! Вот тебе необходимо вывести в письменную зону букву «о», и ты выводишь миленький нолик, вот пох0жим сп0с0б0м, но все же с буквой номер один этот финт не пройдет. Четверочкой, может, ее подменим? К4т4строф4. Мне очень мило и хорошо оттого, что мне не доступны формулировки к4т4строф, и многое другое чудовищное, это потому что в этом языке очень большое количество чудовищного содержит в себе первую букву, плюс меня приводит в полный покой отменяемость всех посмертных мест – и хорошего, и плохого – кроме того срединного, которое лимб. Видимо, я действительно

после смерти буду в лимбе и, выходит, смогу, будучи в нем, прочесть твой ответ.

То, что ты от меня ушел, и то, что это все случилось в прошлом и случилось с уже истинным тобой, щедро швыряет мне в лицо призовую возможность говорить об этом прямо и открыто, без этой изнуряющей переброски мгновенно отсыревших и бесполезных словесных дров из мысленной печи прямо в ледяной утиль. Дело, конечно, вовсе не в твоем уходе, твоей вины тут нет. Просто пойми, я уже несколько лет нес в холодеющих, эээ, допустим, локтях (удобно ли носить что-либо между локтями? вряд ли. к моему восторгу, здесь моя лингво-стесненность в выборе конечностей цветет источником великолепных, точнейших определений) эту мысль и идею, и вот, смотри, успешно донес и не менее успешно воплотил. Твое отсутствие тут помогло только тем, что удобнее всего пилюльный суицид воплотим в минуты (дни, месяцы) отсутствия свидетелей, которые могут отвезти в больничку, где труп легко и дорого перекуют в овощ: помидор, огурец, синенький (вот хорошо же господь уберег овощ юности моей речью киевского дедушки моего!). К тому же, и пилюли эти – от депрессии, вот все и легко объяснилось. Передоз мне можно, поскольку тут легко фиксируется передоз. Всякое другое попробуй еще опиши, не опишешь ничем, получится лишь передоз. Смерть цветок, дуб дерево, третий элемент ложь, России нет.

При том, что меня, безусловно, очень веселит то обстоятельство, что России нет (и не будет уже), вот все это (мой передоз-трип, я имею в виду) длится слишком долго, и мне от этого тревожно. Лечили ли пилюли депрессию? Безусловно – вот посмотри, я же был совершенно здоров и весел, хе-хе. Хорошо ли я погуглил их передоз и последствия? Еще бы. Ну, и в чем же дело?

Ты меня увидишь через несколько дней, вернувшись домой, ты ведь вернешься, я верю, вернешься и увидишь меня здесь; и в этой смертной неприятной точке мне нужно извиниться, и я извиняюсь, прости меня. Вот же легко и хорошо от этих слов,

прости меня, не нужен этот мучительный подбор синонимов, прости меня, извини меня, перепиши меня, тут я могу быть целиком открыт и искренен и не бороться с преодолением. Хотя мне теперь чудится, что преодоление необходимо и всякий человек в нужный смертный момент тренируется чем-то высшим в смысле преодоления, у кого-то это может быть квест про букву, но у кого-то может быть и другое – к примеру, невозможность провернуть ключ в двери или сложность с телефонным номером близкого, которому необходимо сообщить о нестерпимом жжении в грудине, но двоечку что-то не получилось вывести в поле возможностей, и не получится вывести двоечку уже, все. Но во время тошнотворной, болезненной, клинической невыводимости этой пошлейшей двоечки человек через преодоление выводит уже, что ли, себя – ты чувствуешь, о чем я? Берет и выводит из горящего – чего? – из горящего всего, если ты меня слышишь. При технической невозможности уточнения, что именно горит, мы просто генерируем горящее все и через это обобщение неприятного и чудовищного, мне мнится, плывем к свету и все же выплывем в некоторый момент, непременно выплывем.

Гм, тут еще бы про вещи и имущество что-то проговорить – это типичный элемент подобных писулек, судя по всему. Дом по-любому твой, документы не соврут, я еще столько-то (точное число невозможно, в нем есть чортов этот буквенный глитч, хотя есть же цифры! чего это я! 2!) – я еще 2 зимы, осени и весны (обойдемся тут без лет, понятно же) в юридическом бутике (прости) перевел тебе, и деньги тоже тебе перевел, ты теперь весь должен быть покой, привилегия, денежный поток и нечего тревожиться, ну. Книги, вот. Что с будущим для книг, хороший вопрос. Их можно в режиме донейшн отнести в университетскую библиотеку, они (книги?) меня должны помнить, я пять лет у них провел, тебе вряд ли известно – лекции по истории письменности, вот же глупо получилось все теперь с этой историей письменности в итоге, теперь тут ни книг, ни меня, ни возможности по-человечески, достойно и изящно, щелкнув костью о кость, положить здесь горсточку, в смысле, просто утешить всех скорбящих некой внятной точкой, переходя в иное

состояние. Короче, пусть с библиотекой возятся именно они, тебе это не нужно. Тебе вообще ничего не было нужно, есть у меня подозрение. Ни-че-го. Вот оно, конфетное, рождественское, приторное мое ни-че-го, бери его себе, оно твое, это мой тебе – что? нечем договорить? ох, и действительно, у меня для тебя есть лишь слово «нет», и не будет тебе иных колядных подношений, кроме собственного отсутствия в осточертевшей тебе моей жизни. Я, может, и зря тебя изводил – и ты не ушел бы, если бы я был помягче, посговорчивее (и если бы я тебя не толкнул тем утром, конечно) – но времени объясняться у меня нет, повторюсь, времени нет и из всех слов доступнее всего мне лишь слово «нет», и я вечно готов его повторять: средний, средний, демонстрирующий, средний, средний, демонстрирующий, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет у меня языковых средств хоть с чем-нибудь смириться и доступен мне лишь протест. И я действительно протестую! Я тебя вообще не обидел бы, если – черт, здесь недоступное лежит и ржет. Но я тебя действительно вообще не обидел бы, если бы не это недоступное. Твой (или мой, несущественно) любовник доступен. Мои (твои) крики доступны. Все прочее – тут идет список синонимов видимой, конкретной и описуемой нелюбви – недоступно, поэтому бессмысленно вообще об этом говорить, нет речи, увы, вот хорошо же, что именно в этот день устройство для букв отвергло букву, присутствующую во всем, что громоздилось пиздецом непрощения между тобой и мной. Теперь этого всего нет, и меня тоже скоро не будет.

Хотя очень уж что-то долго мне этот протест доступен, меня это тревожит.

В месте, в которое я буду переложен, будто вещь, мне хотелось бы тебя долго-долго – нет, нет, и еще одно нет, всех этих слов у меня нет, поэтому я их не использую – любить? Ну хорошо, из всего тут есть только «любить», ебучие спряжения, я уже и не помню, что и где первое-второе, но сердце мое и руки мои теперь отлично выучили спряжения в полевых, болевых условиях, что ли.

У меня есть ощущение, что я – человек, который

изобрел примитивный, но действующий прибор для изменения плотности времени, потому что я все пишу и пишу, но смерти все нет и нет, офигеть, в этом новом моем текстоскудном мире-речевом-скопце смерти все же нет. Теперь вопрос с жизнью, что же жизнь. Жизнь вот же, есть. И больше ничего нет.

Еще должно было тут где-то рядом быть животное-помощник, я вел и про это лекции в том числе – но его почему-то не было и нет. Или, возможно, помощником было не животное, но что-то другое? Возможно, без этой буквы все идет не в ту сторону вообще. Может ли преодоление быть этим животным помощи смертной? В смысле, может ли препятствие в речи быть психопомпом? Если может, то нет вопросов – все понятно и все легко объясняется. Мою руку крепко-крепко держит чугунное зияние пустоты вместо первой буквы непроизносимого, и с этой дырой в сердце, с этой дурехой-прорехой, рвущей и тянущей свой сплетенный из моих и твоих волос поводок, мы ворвемся в будущее, потому что это тошное прошлое уже нет сил терпеть.

Теперь про очень серьезное. Если этот текст перевести, то из него исчезнет преодоление. Поэтому, очень тебя прошу, не переводи его вообще никому и нигде. Если хочешь, перепиши меня поприличнее, но чтобы преодоление не исчезло, хорошо?

Я может быть воскресну, потому что новый мой язык мне это позволяет.

Если бы не позволял, я бы не смог об этом говорить, но видишь – я могу. Может, я уже воскрес. Пойду посмотрю, что говорят цифры в устройстве для определения времени.

Ты перешел – и я перейду, не бойся. Встретимся где-нибудь. О будущем говорить легко и приятно, потому что в нем – в будущем – нет и не может быть этой богомерзкой буквы. Будущее вершится с буквы «б», и мы с тобой тоже в нем, выходит, будем, были и есть. Или я в нем уже – один, без тебя, и мне уже почему-то комфортно и хорошо.

Не грусти (я же не грущу).

Вечно твой,

Екатерина Перченкова

Светлый

Тётка держалась на честном слове, но слово у неё было советской, жертвенной закалки: всё ещё ходила сама, спускалась с третьего этажа в магазин и поднималась обратно, не забывала пить лекарства, не позволяла себе ходить в халате и оставлять немытую посуду. Это тёткино честное слово будто бы распространялось на всю квартиру: на нём держались и облупившиеся щелястые рамы, и гудящий кухонный кран, и шаткий неизвестно почему кухонный стол. Всё было лучше, чем Ася представляла по дороге сюда. И тётка, вроде бы, не собиралась помирать, и не случилось никакой коммунальной беды, грозившей опустошением Асиному кошельку. И даже не было привычных назидательных речей о необходимости родить ребёнка — «да хоть для себя, а то будешь вот как я на старости лет». Раньше казалось, что мучительная тяжесть, захватывавшая Асю изнутри каждый приезд сюда, порождалась предчувствием тёткиной смерти и её нелепыми наставлениями. А теперь — ни предчувствий, ни наставлений, но тяжесть была на своём месте, где-то под нижними рёбрами: холодноватая, шершавая, напоминающая о школьных двойках и плохих новостях. Вероятно, она пришла снаружи, из местного воздуха, в котором обитала всегда, и заполнила Асю; и всю дорогу до дома её предстояло выталкивать обратно короткими судорожными выдохами.

Даже город выглядел так, словно весь целиком держался на тёткином слове. Фонари светили, но слабенько, через один, издавая сумрачное электрическое гудение. Новая асфальтовая дорожка от подъезда до перекрёстка была разделена пополам трещиной такой глубокой, что её причиной могло послужить разве что землетрясение. Возле лавочки в углу двора сгрудились нетрезвые и недобрые тени — Ася ускорила шаг, и её не заметили. Светофор на перекрёстке горел жёлтым и не менял цвета. «Надо купить что-нибудь», — подумала Ася, ей всегда помогало купить что-нибудь, когда было не по себе.

Продуктовый в соседнем доме был уже закрыт, но через дорогу мерцал цветочный ларёк. «Розу, — подумала Ася, — купить розу и ехать с ней, красиво», — но присмотрелась, а ларёк оказался похож на кубик льда с замороженными цветами внутри, и не захотелось подходить к нему близко. До автобуса оставалось почти сорок минут; бродить по дворам в темноте — страшно, но и у тётки сидеть было уже невыносимо. Ася решила пойти на остановку, но медленно, длинной дорогой, вдоль реки. Там было светлее и ходили люди, нормальные на вид, и даже мамы с колясками.

Она прошла до излучины, до поворота, за которым собиралась увидеть по-зимнему мёртвый речной вокзал, но стеклянный павильон светился неярким оранжевым светом, внутри угадывались человеческие фигуры, кто-то курил снаружи. Ася подошла ближе с опаской. Курильщик оказался пожилым мужчиной с аккуратной бородкой.

— Ходит ещё? — недоверчиво спросила она.

— А чего ему не ходить?

— Зима же.

— Так река уже лет пять не замерзает. Глобальное потепление. Чего зря навигацию закрывать?

— Здорово, — улыбнулась Ася. Внутри потеплело. По воде всегда веселее. Только дольше. Дороже. И погода не самая подходящая. Зато настроение — в самый раз: такое, что за капельку веселья, за крошку радости, за глупый цветной леденец можно хоть душу продать.

— Не местная, что ли?

— Я была из этого города, — сказала она и пошла в павильон покупать билет. Билеты были как в детстве, и даже не «как» — те же самые, их при Союзе напечатали с запасом на светлое будущее: «Городской маршрут водного транспорта, 28 копеек», — и теперь продавали за триста пятьдесят рублей, если до конечной.

Люди внутри выглядели поразительно нормально. Или это Асю так стремительно отпустило от одной мысли, что не придётся возвращаться с двумя пересадками, трястись в неуютном старом автобусе по узкой дороге, где с одной стороны лес и с другой лес.

Или это в билетах было дело: кругом стояли взрослые, грели дыханием замёрзшие руки, и у каждого в кармане лежал пропуск в те незапамятные времена, когда деревья были выше, река больше и по ней ходили две белых Ракеты и голубой буксир, а внутри речного вокзала, вот прямо здесь, продавалось мороженое. Или же дело было в детях: при женщине в высокой меховой шапке томились ожиданием мальчик и девочка лет семи-восьми, и у молодой пары был дремлющий младенческий кулёк; места, где находятся дети, Ася считала безопасными. Но внутри было душно и даже как будто холоднее, чем снаружи, поэтому она вышла на улицу.

— Скоро придёт? — спросила она курильщика.

— Да сейчас уже.

— Ракета?

— Нет, конечно, — курильщик посмотрел на неё удивлённо, — давно здесь не были?

— Давно.

— Дядь Юру Харитонова не помните, наверное?

— Помню, — Ася снова заулыбалась. Ох, дядя Юра… Все героические капитаны и насквозь просоленные морские волки в её детском представлении выглядели точь в точь как он — высокий, широкоплечий, в выцветшей тельняшке, с волосами и бородой цвета лежалой соломы, с красным от солнца лицом (загар к нему не лип) и немного страшными, но очень красивыми, прямо по-настоящему капитанскими глазами, похожими на светлые льдинки. Конечно, дядя Юра не был всамделишным капитаном. Он водил тот самый голубой буксир, а папа был с ним знаком, и несколько раз в детстве Асе досталось восхитительное путешествие на открытой палубе — отсюда и до деревни Левобережное, где жила бабушка. Дядя Юра разрешал погудеть в гудок, угощал малосольными огурцами, которые держал в запотевшем пакете, и надевал Асе на голову свою огромную фуражку, пахнувшую табаком… И тут она сообразила, что дяде Юре сейчас должно быть под восемьдесят лет, а то и больше, и спросила, — неужели, жив ещё?

— Да нет, — вздохнул курильщик. — То ли внук у него, то ли внучатый племянник остался. Вот и весь наш речной транспорт…

Люди из стеклянного павильона медленно потянулись на сходни, точно им дали неслышный сигнал. Все такие же замёрзшие, как Ася. Зима выдалась тёплой, бесснежной; это всё близость воды и серая пелена тумана, такого густого, что противоположный берег был призрачен, а от колокольни в Михайловском виднелась только чёрная маковка. Ася всё это любила: и туман, и воду, и ночь. А собственные глаза временами ненавидела: они то и дело норовили повернуться к людям так, чтобы разглядеть что-нибудь отвратительное, скучное, злое, унижающее и без того нелепую человеческую природу. Но теперь помогал свет, исходящий от павильона, немного отражённый туманом: он проявлял в лицах особенную, зимнюю, сумеречную то ли предсмертную, то ли посмертную уже красоту. Ася даже не удивилась, когда крупная немолодая женщина принялась вглядываться в речной сумрак так пристально, будто почуяла в нём что-то, и так сказала: «Светлый», — словно призывала неведомого спасителя из клубящейся темноты.

И он пришёл, выскользнул из темноты, совсем бесшумный, на остатках хода, — белый двухпалубный катер с надписью «Светлый» на борту. То ли новый, то ли совсем недавно подлатанный и покрашенный. Как будто не местный, не в сезон, — такому бы ходить по широкой синей Волге, возить туристов с фотоаппаратами и шампанским. Но здесь его ждали и были к нему привычны; неторопливо поднялись на борт, — Ася изумилась, что билетов на входе никто не проверял. Может быть, в пути проверят? Или вовсе можно было проплыть зайцем?

Первым, что она увидела на палубе, был старый игровой автомат с зелёными лампочками. Дети, те самые мальчик с девочкой, сразу кинулись к нему бросать монетки. Внутри автомата застучало и заскрежетало, лампочки замигали, на экране заплясали цифры и разноцветные стрелки, а в жестяной ящичек внизу что-то упало; дети подхватили это и бросились к маме просить ещё монеток. Что там, интересно, было? Каучуковый мячик? Жевательная резинка? — Ася сунула руку в карман, не нащупала там мелочи и почти всерьёз расстроилась.

Как ни странно, насчёт туристов с шампанским она не ошиблась. Парочка в тёплых бесформенных куртках, одного роста и одинаково сложенные, почти подростки, — парень вытащил из-за пазухи бутылку шампанского, открыл её, протянул девушке, и она тут же облилась белой пахучей пеной от подбородка до пояса. Он метнулся в надстройку и вернулся с полотенцем и — Асины глаза удивлённо расширились, — двумя хрустальными бокалами.

— Музыку попросил включить, — сказал он.

Ася поморщилась. Вот этого она не учла. Но прислушалась и поняла, что музыка уже здесь — еле различимая в сыром зимнем воздухе, не хорошая и не плохая, без слов, — не мешающая, вот что самое главное. «Светлый» ещё не отчалил, а они уже топтались на месте под эту музыку, положив руки друг другу на плечи, и целовались, закрывшись капюшонами от внешнего мира, и разливали шампанское в хрусталь. Это было… ну, да, это было мило. Институтская подружка как-то сказала Асе, что её проблема в тяге к крайностям, в привычке видеть вокруг только прекрасное или ужасное, а ведь есть ещё просто милое, — и Ася возмутилась до глубины души, как будто ей предложили поверить в розовых единорогов или подобную сахарную чушь. Но, возможно, в этих словах была своеобразная правда. Если бы давным-давно, в прошлой жизни, семнадцатилетний Димка предложил шестнадцатилетней Асе романтическую прогулку по воде от Кудыкиных гор до Ново-Ебенёво с музыкой и шампанским, она не просто согласилась бы. Она бы, наверное, была на седьмом небе от счастья. Не по подъездам же обниматься, в конце концов.

— Может, мне вас тоже пригласить на танец? — спросил из-за спины давешний курильщик и, почувствовав, что Ася встревожилась, тут же отступил на шаг, — шучу, шучу… хотя как знаете. Дело молодое…

Она так и не определилась, как называть человека, управляющего катером, — капитаном? водителем? — он вышел на палубу, поздоровался с курильщиком за руку, как с давним знакомым — ну, да, город маленький, — они заговорили о чём-то. Ася,

разглядев его, изумлённо хихикнула. Внука дяди Юры Харитонова она представляла себе совсем не так. Местным таким мальчишкой. Белобрысым. Простеньким. В телогрейке и картузе, наверное. Даже пожалела его, воображаемого: день изо дня водить катер по зимней реке, в темноте, — за такое дело не берутся от хорошей жизни, а куда деваться, работы в городе особенно нет… А этот оказался немного старше Аси на вид — и совсем не местным, даже неуместным здесь. Его намного проще было представить себе в московской кофейне или в питерском книжном, если не считать фуражки. А впрочем, отличная была фуражка — синяя, с новенькой блестящей кокардой. И синий же форменный китель с серебристыми пуговицами. А ещё оранжевый свитер крупной вязки, потёртые джинсы и тяжёлые ботинки. И очки с оранжевыми стёклами. О, кем бы ни был этот человек, капитаном он не был точно; он играл в капитана, вероятно, сам с собой. Надо признать, это поднимало настроение. Ася всегда любила наблюдать игры, в которые люди играют сами с собой. И любила таких людей, потому что они обычно оказывались интереснее прочих. И завидовала им. Потому что им всегда хватало того, отсутствие чего не позволяло Асе с головой рухнуть в какую-нибудь собственную игру, — то времени, то денег, то душевных сил или обычной человеческой беззаботности.

— По местам, — сказал он, развернулся на месте, отсалютовал детям фуражкой и удалился в рубку.

Ася заглянула в надстройку. Там оказалось неожиданно тепло. Восхитительно тепло — а ведь она, в дурацком своём порыве детского путешествия, уже мысленно приготовилась стучать зубами и отогревать руки под мышками все три — или сколько там? — часа пути, и расплатиться простудой. Пассажиры уже расселись по креслам, она села тоже, обнаружила ремни и на всякий случай пристегнулась. И почти не ощутила движения, только в первый момент немного качнуло, а потом «Светлый» пошёл по воде так, словно его влекла вперёд необъяснимая волшебная сила: не слишком быстро, размеренно и совершенно бесшумно. Это было немного грустно, это всегда грустно: все чудеса технической эволюции в последнее время напоминали Асе, что ей скоро будет сорок. И жизнь, если уж

честно, не удалась. И что-то среднее между болезненной фантазией и инстинктом самосохранения постоянно тянуло вернуться — любой ценой — туда, где компьютер был недостижимой мечтой, в самолётах неистово укачивало, двигатели шумели и гудели, а люди, желающие увидеться, просто приходили и звонили в дверь.

Словно в насмешку, пропал сигнал сотовой связи. Снаружи, за окном, оказалось непроглядно. Можно было почитать, но заряда оставалось всего ничего. Ася задремала было, пригревшись, но вскоре случилась первая стоянка, и пассажиры потянулись к выходу. Кто вышел, кто вошёл в посёлке с неосвещёнными мостками, она не заметила, но услышала в разговорах, что интернет не будет ловиться до самого Кочеткова, такие уж здесь места. Те, что заскучали без связи, остались на палубе снаружи, и Ася вышла к ним. После тепла зимняя сырость чувствовалась совсем не так мучительно, как в городе. Курильщик, понятное дело, курил. Дети на носу терзали игрушечный штурвал, воюя за право управлять «Светлым». Юных влюблённых не было видно. По берегам тянулись то тёмные леса, то редкие огни; туман то рассеивался, то наползал снова, пахло отчего-то снегом, хотя единственный снег, выпавший в этом декабре, продержался не больше дня и безнадёжно ушёл в земную зимнюю грязь. Было отчего-то томительное предновогоднее чувство, такое, что каждый источник света во тьме — и зелёные лампочки, и огонёк сигареты курильщика, и что-то оранжевое, мерцавшее по борту ближе к носу, — казался праздничным. И чувство это, похоже, томило не только Асю: женщина в меховой шапке достала из сумки тоненькую пачку бенгальских огней и зажигалку, запалила две штуки и бережно вручила детям; девочка взяла свой огонь голой рукой, а мальчик боязливо натянул варежку. Они были в том возрасте, когда все эти чудесные светящиеся штуки ещё по-настоящему восхищают. Ася подумала, что запомнит этот вечер покрепче на тот случай, если новый год не удастся, — чтобы потом, тайком от себя самой, подменить воспоминание. И ещё подумала — можно ли в детстве насмотреться на всё это впрок, под завязку, так, чтобы потом взрослые голодные глаза не вцеплялись в фонари, витрины и фары, как в заветные

сияющие леденцы?

— А жить-то неплохо, — сказал курильщик то ли ей, то ли в пространство.

— Наверное, — отозвалась Ася.

— А штурвал такой, для детишек, ещё у дядь Юры на буксире был, не помните? Всё время давал мне покрутить.

— Не помню. Может, при мне уже не было, — вздохнула Ася. — Мне зато погудеть давал.

— Повезло. Меня-то он к гудку не пускал. Я вот у нынешнего порулить спрашиваю, он тоже не даёт. Электроника, автоматика, чёрт ногу сломит. Отдельно учиться надо. А я бы… Да. Детская мечта, понимаете? Я вот ему, — он указал в сторону рубки, — завидую. Это, понимаете, жизнь. У меня вот машина есть. Я в гости еду, — курильщик вдруг смутился, — к близким людям. Сел за руль, сорок минут — и там. А если по воде, то дольше. И дорого получается. Но подышать можно. Выпить можно, у меня вот тут коньяк. Вроде перезагрузки, понимаете?

— Понимаю.

— И, с одной стороны, это нужное дело, «Светлый», потому что в Левобережное и в Кочетково всю зиму другого транспорта нет. Автобус только в дачный сезон. А с другой… ну, какой это транспорт? Аттракцион.

О, конечно! Ася тут же поняла, отчего люди кругом не вызывали у неё привычного тягостного чувства. Они больше напоминали детей в парке, чем взрослых в городе. Её с пассажирами «Светлого» будто бы объединяли не работа, быт и прочая жизнь, которую надлежало вершить с отвратительно серьёзным видом и закончить с ещё более серьёзным — словно это могло что-то изменить. А «Лодочки», «Зонтики», «Сюрприз» и «Юнга», три минуты за пять копеек, очередь в кассу, смятый билетик в руке, ушедшая из-под ног земля, полёт, смех.

— Только детская мечта, — курильщик совсем расчувствовался: должно быть, успел хлебнуть своего коньяка, — может делать с человеком вот такое, чтобы… Ну, понимаете?

— Или взрослое разочарование, — безжалостно

сказала Ася. Она не любила пьяных.

— А вы умная, — сказал курильщик. — Второе обычно следует из первого. Давно уехали? Чем занимаетесь?

— Давно, — сказала Ася. — Я редактор на детском телевидении. Училась. Работала. Замуж вышла. Неудачно. Развелась. Как у всех. Книжку написала. Напечатали. Ничего не изменилось.

— Про любовь, небось, книжка?

— Да, — сказала Ася. — Про любовь.

К следующей стоянке на палубу выбрались и влюблённые — помятые, растрёпанные, с искусанными губами и шальными глазами, — и, не замечая никого вокруг, сошли на невидимую в темноте пристань, за которой не было ничего, кроме леса. Ася уговаривала себя, что всё обстоит обыденно: через этот лес тянется недолгая тропинка, за которой садовое товарищество или дачный посёлок, какая-нибудь дача друзей, обогреватель, ещё пахнущая летом постель с лоскутными одеялами. Но всё равно было тревожно наблюдать, как они — такие дети ещё, такие красивые — идут медленно, не оборачиваясь, держась за руки, и растворяются то ли в тумане, то ли в лесу, словно бы бесповоротно и насовсем.

«Если бы я всё время могла так видеть, я бы и жить здесь смогла, наверное», — подумала она. Это, вероятно, была неправда. Слишком долго — дольше, чем принято, — у неё сохранялось неиспорченное и очарованное детское зрение. В реке — русалки, в лесу — всадники, в зеркале — взъерошенный подменыш, у одноклассницы Ленки на кухне полтергейст, небесная почта исправно доставит сожжённую на свече записку воображаемому виконту, учитель физики по утрам заторможен и бледен от несчастной любви к новенькой психологине, а вовсе не с похмелья; а у дяди Юры Харитонова такие светлые, ледяные даже в июльскую жару глаза, потому что он же капитан, моряк, может быть, в молодости ходил на ледоколе в Арктику, и Арктика заглянула в него. И вот с этим-то зрением, с вывихом обоих хрусталиков на цветную сторону, она сбежала отсюда в семнадцать лет и поняла, что если бы затянула с побегом ещё хоть на полгода — не ушла бы живой. Теперь, наверное, от этого ничего уже не

осталось. То, что мнилось цветной стороной, с возрастом стало тёмным и тревожным и выглядывало из-за любого угла в самый неподходящий момент.

Вот как сейчас: дети подрались из-за очередного пустячка в жестяном ящике автомата, сцепились, пытаясь сразу и держать друг друга, и вывернуться из хватки, вскрик, — девочка рассадила руку об угол ящика, брат отпустил её тут же, пошла кровь, на палубу упали тяжёлые тёмные капли, женщина в меховой шапке кинулась к ней с носовым платком. О, она была напугана больше, чем матери обычно боятся царапин и ссадин, особенно когда детей двое. Это был необычный, не повседневный страх, — и Ася, вместо того чтобы предложить ещё один платок, остановилась, наблюдая за ними. И точно. Остановив дочери кровь, мать достала из сумки упаковку салфеток, неловко нагнулась, а потом и вовсе бухнулась на колени, пачкая полы дублёнки, и принялась тщательно протирать палубу там, куда попали капли. Эту грязную, истоптанную десятками пассажиров палубу, на которой, наверное, даже литра крови не было бы заметно, не то что пары капель. Мальчик выглядел виноватым — нормально; но тоже был испуган, — не нормально, нет. «Сектанты, — решила Ася, — точно, какие-то сектанты, что-то связанное с кровью — нельзя проливать? Нельзя оставлять следы?». Но женщина, поднявшись, смотрела на неё и на других пассажиров так, будто хотела сказать: «Простите, простите!»— и все молчали, только курильщик понимающе нахмурился.

Да. Примерно так видит жизнь слишком тревожный и не слишком счастливый человек с богатой фантазией и никудышными нервами, вынужденный навещать больную сварливую тётку в богом забытом городке, который ненавидит всей душой. Или же кровь действительно могла привлечь кого-то, обитавшего в речном тумане, на берегу или даже на самом «Светлом». Почему бы нет? Асе стало немного стыдно за то, что ей понравился бы такой поворот сюжета, окажись он правдой.

Отвернулась, просто отвернулась, и всё прошло. Зима. Река. Лес. Бесснежная темнота. Туман. Если долго и неотрывно вглядываться в темноту, можно увидеть призрачные вспышки света, странные

геометрические формы; Ася читала, это называется «кино для заключённого», неврологический феномен. Ася не заключённый, она сбежала, и теперь произносит: «я была из этого города» — как говорят не эмигранты, нет: погорельцы.

Эта женщина и дети сошли на следующей стоянке, и все трое словно бы облегчённо выдохнули, оказавшись на суше. Слово сбросили с себя память о путешествии по воде и подстерегавшей в нём неведомой опасности, расправили плечи и пошли туда, где виднелись светофор и автобусная остановка. Снова зажгли бенгальские огни, им было весело. Не были они похожи на сектантов, хотя что Ася знала о сектантах, — вон, оказалось когда-то, что родители одноклассницы Ленки — пятидесятники, а выглядели как обычные люди. Тоже весёлые, кстати.

— Не грустите, — сказал курильщик. — Хотите коньяку? Вы не подумайте, я не подкатываю. Просто у меня есть. А этот, — он имел в виду капитана, — со мной не пьёт, когда на работе. Техника безопасности.

— А давайте, — сказала Ася. И уже через десять минут пожалела. Коньяк был хороший, курильщик раздобыл стакан для неё (чему удивляться после хрустальных бокалов? сервис на высоте), но его разговорчивость начала раздражать. Возможно, он был не самым плохим собеседником, потому что не рвался изложить историю собственной жизни и не мучил Асю неуместными вопросами, просто размышлял вслух обо всём вообще. Но это получалось некстати, потому что Ася давно достигла того странного и далеко не всем присущего уровня одиночества, когда поговорить вроде бы и не против, и не то чтобы не с кем, просто любой собеседник — не тот. И не было ни малейшего понятия о том, кто же — тот. И алкоголь, который должен был облегчать общение и развязывать язык, почему-то лишь обострял это чувство. «Может, это потому, что я неверующая?» — глупо подумала Ася и на всякий случай сделала вежливое, заинтересованное лицо.

— Вы вот философ по жизни, писатель даже, — бормотал курильщик, — а я физик, и вы вот о чём подумайте, — он вдруг перегнулся пополам и прижал ладонь к грязной палубе. Видимо, Асе стоило подумать о здоровом образе жизни и тренировках, потому что,

склонившись так, она смогла бы коснуться пола только кончиками пальцев, и то в лучшем случае. Курильщик вытер ладонь о штаны и произнёс ещё несколько сентенций о бессмертной любви и предназначении человека. А потом заглянул Асе в лицо и показался внезапно страшным. Мутным, бледным, жутким, с косящим глазом.

— Я сойду сейчас, — сказал он, — а вы останетесь. Вот с этим. С этими.

— С кем? — спросила Ася.

— Что? — курильщик, уже увлечённый узнаваемым берегом, обернулся к ней.

— С кем я останусь?

— Что? — он как будто забыл собственные слова минутной давности.

— Вы сказали, что сойдёте сейчас на берег. А я останусь.

— Ну, да. С кем захотите, с тем и останетесь. Дело молодое, — он легкомысленно хихикнул, запрокинул к небу бутылку и сунул её, пустую, в карман. «Светлый» причалил к берегу. Курильщик ушёл. Там, на твёрдой земле, его встречала женщина в непроницаемой зимней одежде, вряд ли жена.

Асе к этому моменту было уже хорошо. Несмотря ни на что. Пальцы, державшие стакан, ничего не чувствовали, и нос тоже, зато ногам было тепло. Так тепло, что она наклонилась и снова потрогала палубу. Рифлёный металл был тёплым, почти горячим.

На следующей стоянке, как и обещал курильщик, вышли все. Капитан спустился из рубки, посмотрел на неё сквозь оранжевые очки и спросил:

— Вы до конечной?

Ася кивнула.

— Поднимайтесь, — сказал он, — у меня там самовар.

— Я ещё тут побуду.

— Поднимайтесь, — повторил он настойчиво. Асе стало не по себе и не захотелось спорить.

И нет, капитан не шутил: самовар и в самом деле был. Электрический, серебристый, как на даче в Асином детстве. И чашки в самый раз к нему: на одной был штампик «речной транспорт», а на другой «общепит».

— Можно вопрос? — сказала Ася, немедленно понимая, что выглядит глупой и пьяной.

— Конечно.

— Что такое шпангоут?

Капитан обернулся, снял очки и уставился на ней точь-в-точь такими, как у дяди Юры Харитонова, светлыми глазами.

— Понятия не имею. Простите. Это относится к конструкции, а не к управлению… Разочаровал?

— Есть немного, — Асю вдруг стыдно и нелепо понесло, — а зачем вы этим занимаетесь?

— Чем?

— Речным транспортом.

— А чем плохо? — с искренним удивлением спросил капитан.

— Не знаю, — Ася задумалась. — Скучно может стать.

— Пока не скучно.

Он тоже был не тот. Неправильный собеседник. Чужой. Ася чуть не прокляла ушедшего на берег курильщика, разбудившего в ней эту бессмысленную и голодную тоску, но вовремя остановила себя. Был ещё один вопрос, самый главный, но задавать его то ли не следовало, то ли требовалось подобрать правильную формулировку. Это беззвучное движение «Светлого» по реке. Против течения. Это тепло, греющее ноги. Этот курильщик. Это невероятно спокойное «поднимайтесь». Что сейчас было бы, если бы Ася не поднялась в рубку?

— Всё, — сказал капитан, — дальше прямо, — миновали ещё одну излучину. — Ничего не трогать, я сейчас вернусь. Не бояться, здесь авторулевой. Так понятно?

Ася кивнула.

Но от простора реки впереди, выросшей скорости и мигающих лампочек на пульте управления ей сразу стало не по себе, и она пошла следом за капитаном. Нижняя палуба оказалась пуста, а верхняя вообще закрыта. На несколько секунд Асе показалось, что она и вправду осталась одна здесь. На реке. Зимой. В темноте. На речном транспорте, которым не умеет управлять. Несколько секунд ей владел настоящий, неподдельный страх, заставивший метнуться туда и обратно, от носа к корме, и везде было пусто, так ужасно, по-настоящему пусто, что Ася даже представила

себе, как снова поднимется наверх и нажмёт наугад какие-нибудь кнопки, обязательно неправильно. И тут едва ли в метре от неё открылся люк в палубе, и капитан выбрался наружу и, кажется, удивился её присутствию.

— Ещё один вопрос, — сказала Ася, чувствуя, что неумолимо трезвеет, — что там?

— Где?

— Внизу. Вот откуда вы сейчас вылезли.

— А что там должно быть?

— Вот я и спрашиваю, — она то ли хихикнула, то ли всхлипнула.

Чёрт. Чёрт. Это должно было случиться дома. Это всегда случалось после визитов к тётке. Ася возвращалась, выходила из автобуса, садилась в метро, проезжала две станции, проходила через пустой тёмный двор, поднималась по лестнице на второй этаж, открывала дверь, отмокала под душем, забиралась под одеяло с мокрыми волосами, думала: «вот и день прошёл», и тут накрывало. Если бы вернулась автобусом, это вышло бы как раз сейчас.

— Есть предположения? — спросил капитан.

— Это как Тесла, — начала Ася, — нет, не получается. Слишком тихо. Должны быть какие-то винты, лопасти, всё равно должно быть что-то слышно… О! Под водой? Они под водой, да?

— Кто?

— Я не знаю! — Ася всхлипнула, — но мне не нравится. Мёртвые? Сидят такие мёртвые, крутят колесо с лопастями. Глубоко. Ниже. Поэтому ничего не слышно. Подождите. Антивещество ещё. В двигателе. Или, нет, чудище. Точно, чудище! Потому что кровь! Да не смотрите так, вас там не было! Девочка порезалась. И все испугались. Нет, подождите, я придумала! Рыбы? Дрессированные рыбы, точно? И не внутри, а снаружи, вы их просто кормите, чем вы их кормите? — Асю охватила невероятная лёгкость, прямо сейчас, в ощущениях, переходящая в истерику, — стойте! Муравейник! Не знаю почему, но большой такой муравейник! Муравьи очень умные. Или пожар! Что общего между пожаром и муравейником? Вот, я тоже не знаю. Я не ненормальная. Извините. Я так думаю. Лучше скажите просто, что там?

— Вообще-то близко.
— Что?
— Примерно всё перечисленное.
— Включая муравейник? — Ася истерически хихикнула.
— И его тоже.
— И что делать?
— Хотите посмотреть?
— Нет!
— Правильно, — сказал капитан.

Ася бежала так, словно за ней гнались. Это сначала. Потом вспомнила, что причины бежать не было. Она покинула палубу идеально, воспитанно, по-светски, пожав капитану руку и, кажется, даже поблагодарив вслух. А побежала только скрывшись из виду. Так. На всякий случай. Сделав для самой себя вид, что боится опоздать на последний автобус, без которого пришлось бы топать пешком почти шесть километров сквозь ночную окраину.

Потом автобус пришёл, а она его пропустила, нарочно. И всё равно пошла пешком через освещённый мост и голый парк, через знакомые улицы и неразличимые рощи, впечатывая ноги в ровный и гладкий асфальт, бережно и ровно неся внутри речной непроглядный туман, под каждый шаг повторяя про себя: светлый, светлый, светлый.

Александр Шуйский

Другие глаза

Ритка подпрыгнула раз и другой – и на фигурке пешехода на знаке появились два круглых глаза. Черный человечек приобрел вид комический и растерянный, персонаж мультфильма, а не пешеход, решительно идущий по "зебре".

Спросил:

- Это ты что такое делаешь?

- Хулиганю, - отозвалась Ритка и показала ему пакетик с еще дюжиной таких же стеклянных глаз. – Смотри, какой он стал красавец.

- Но зачем?

- А это из книжки одной. Такая, городская магия. Просто чтобы кто-нибудь увидел – и помотал головой: показалось, не показалось. Хочешь сам попробовать? У меня много еще.

Он хотел.

До самого вечера, переходя от кофейни к кофейне, они лепили цветные стеклянные глаза на чем придется, превращая в рожицы трещины на штукатурке домов, снабжая дополнительными глазами лица на рекламных щитах – особенно удавались рекламы с какими-нибудь новыми духами от прославленных фигм. На щитах модели со звериной серьезностью изображали уверенную красоту и стеклянные мультяшные глазки отлично разбавляли пафос. Еще очень хорошо вышло с плакатом с пачкой сигарет "Кэмэл" - теперь верблюд на ней недоуменно косился на огромную надпись "курение опасно для вашего здоровья". Отлично подошли глаза и к номерному знаку на дорогущей машине: идеально встали над цифрой "0". Они с Риткой бегали по городу до самого вечера, и прежде, чем разойтись, Ритка протянула ему еще один полный пакетик глаз:

- Хочешь? У меня их куча с али-экспресса.

- Хочу, - сказал он. А по дороге домой облагородил табличку с надписью «не влезай, убьет» и пару почтовых ящиков.

Устал за прогулку так сильно, что свалился

спать раньше обычного, и всю ночь снилась какая-то веселая ерунда: маленькие стеклянные глазки усеивали чуть ли не каждый предмет, а потом кадр будто сменялся, и он видел руки, тянущиеся за письмом, серьезного карапуза в белом шарфе поверх яркого комбинезона: карапуз налеплял на треугольную табличку с молнией и надписью «не влезай, убьет» нос из подтаявшего снега, прямо под стеклянными глазами. И еще - след от протектора на серой слякоти, убегающую прямо из-под него простыню асфальта и сизые облачка выхлопных газов. Проснулся от того, что тело тихонько гудело, как улей или трансформаторная будка, и сразу подумал: куда бы сегодня наклеить эту замечательную ерунду.

До вечера снова кружил по городу, но на этот раз был придирчив и потратил не больше половины пакетика глаз.

А когда пришел домой и принялся вешать пальто в большой шкаф, достал пару карих глаз и налепил на дверцу, прямо по бокам деревянного вертикального рисунка на шпоне, так что получилось лицо с огромным грушеобразным носом.

Вечером следовало поработать, и он часа три просидел за компьютером, время от времени ловя себя на странном ощущении: как будто видит себя со стороны, перед ярким экраном монитора, и тяжело вздыхает огромным темным пространством, набитым джинсой, трикотажем, рубашками и... да, гнездом моли в старом шерстяном носке.

Через неделю пришла новая пачка глаз с али-экспреса - заказал в первый же вечер, - и в городе у него снова прибавилось собственных глаз. Несколько даже пришлось найти и отклеить - слишком часто перед ним возникал полуподвальный бар как раз напротив одного из рекламных щитов, бар был популярный и шумный, и видеть, что происходило у него на пороге, было неприятно. Еще через неделю он клеил глаза только на деревья в парке и скверах – с ними получалось лучше всего. Работать было уже невозможно, зато отлично получалось спать, сны снились яркие, суматошные и довольно веселые. Дома глаза получил еще холодильник и любимая чашка, так что с тех пор кофе не убегал ни разу: даже отойдя от плиты, он точно знал, когда следует подхватить джезву с огня.

Время от времени ему казалось, что он превращается в стаю птиц, несущуюся через город, и каждая видит свою картинку, образы мельтешили, сменяя друг друга, как в калейдоскопе. Уставал, как никогда в жизни, даже думал иногда: не снять ли все глаза, которые еще не отвалились сами, перевод и два текста уже подпирали, их нужно было сдавать, но он решил: скажусь больным и поживу так еще хотя бы неделю. Так интересно и тревожно ему еще никогда не было.

Однажды, в солнечное погожее утро, подошел к зеркалу, чтобы побриться – и с минуту стоял, разглядывая собственное отражение: как будто две картинки накладывались одна на другую. На одной был он – привычно бледная кожа, выпирающие ключицы, россыпь родинок. А на второй – вместо тела в зеркале клубился какой-то странный туман, сквозь который просвечивали кости, оплетенные паутиной сосудов, и это было красиво, как световое шоу в клубах цветного дыма. Отложил бритву и, глядя в зеркало, попытался дотронуться до груди. Пальцы погрузились в туман, коснулись ребер - он почувствовал, как рука проникает под кожу, но почему-то не испугался, может быть потому, что одновременно видел птиц, обдирающих рябиновый куст, толпу ранних пассажиров на остановке, солнечные пятна на домах старого города, саксофониста на пешеходке - и еще множество картинок такого ясного и веселого утра, что невозможно было думать о чем-то, кроме этой довольной, полной жизни возни всего города разом.

Осторожно раздвинул ребра – они подались, как полоски жалюзи на окне. Под ними, чуть быстрее, чем обычно, но ровно и гулко работало сердце. Отошел от зеркала, нашел в пальто пакетик с двумя последними из запаса глазами, почему-то разными, один – карий, второй – синий, вернулся к зеркалу в спальне, еще раз дотронулся до ребер, зажмурился – и двумя неловкими жестами налепил оба глаза на сердце, чуть кривовато.

Все тело затопил ровный, пульсирующий гул, пришлось сесть, а потом и лечь на холодные плашки паркета.

- Вена, – сказал он вслух и вытянул в сторону левую руку. – Артерия, - сказал он и вытянул правую. Пошевелил пальцами и хихикнул: - Сосудики.

Гул нарастал. В нем появлялись отдельные звуки,

ритмичные, ровные. Ритм проступал во всем, даже в вое сигнализации какой-то машины под окном. Мир превратился в череду ритмов, разных, но гармоничных, и слушая этот хор, он понял: во всем есть смысл. Этот ритм и есть смысл, и смысл - есть ритм.

Нашли его только через два дня, вскрыв квартиру, он так и лежал крестом на полу у кровати, в одних трусах, с двумя дурацкими глазами над левым соском, карим и синим. Он улыбался и выглядел самым счастливым человеком на свете.

Какова вероятность

Сколько раз говорил себе: некоторые вещи делать нельзя, вот просто нельзя, как нельзя ставить любимую керамику в посудомоечную машину, раз поставил, два, на третий — обязательно вынимаешь плошку со сколом, глазурь бьется о решетку под струями воды, великая и обидная вещь — практика. Обидная, потому что часть керамики все-таки загубил, пока догадался, а великая — потому что только после того, как загубил, понял наконец, почему в столовках чашки иногда выглядят так, будто их кто-то долго и ожесточенно грыз. А это выходило, мягко говоря, боком. Он так хорошо представлял себе, как кто-то берет кофе с молоком и пять пышек, кусает пышку, а потом в задумчивости машинально кусает чашку, что однажды наткнулся в любимой пышечной: зубы как пила, рожа круглая, как полнолуние, на столике — четыре чашки, от каждой откусывает край, хрустит и утирается серой варежкой.

Тогда он пулей вылетел из пышечной и больше не ходил туда целых восемь лет. А вот теперь завел себе посудомойку, еще через неделю обнаружил сколы — и чуть не расплакался от облегчения, вот же объяснение, простое и понятное, и больше никаких чашкоедов. Чашкоедов действительно больше не было, а пышечная при этом была, и это было замечательно.

Так что практичные объяснения он очень любил и собирал их, где мог.

Справочники, энциклопедии и бесконечный сериал «Как это сделано». До тех пор, пока не было простого и понятного объяснения самым разным предметам и явлениям, он объяснял себе все сам, как умел, и последствия этих объяснений бывали когда смешны, а когда трагичны. Но вот, скажем, бутерброды у него всегда падали только маслом вниз, потому что против закона природы не попрешь. А теорию вероятности ненавидел всей душой, потому что его кубики всегда падали двумя шестерками вниз, но такая особенность организма хороша только в казино, а в жизни – не очень-то. Стоило в воображении допустить возможность какого-то события и задержать на нем внимание хотя бы на несколько минут, то как бы ни была мала его вероятность, оно случалось, и как правило – крайне не

вовремя.

Хотя бывали и приятные исключения. Скажем, метро. Какова вероятность того, что пересаживаясь с синей ветки, окажешься на зеленой, а не на красной? Довольно велика, особенно, если переходов три штуки, и все — под землей, то есть никаких ориентиров, кроме указателей. Иногда, когда уж очень спешил, даже не ехал никуда, а просто спускался под землю, заходил на одной станции, скажем, на проспекте Ленина, а выходил сразу на другой, у вокзала, эскалаторы-то везде одинаковые. Но так делать старался пореже, потому что стоило дать волю этой самой теории вероятности, и масло на сковородке загоралось раньше, чем он успевал разбить в нее яйца. Хорошо хоть, все ожоги, порезы и синяки заживали на нем как на собаке. Да и посуда, как известно, к счастью бьется, ну или по крайней мере - к походу на керамическую ярмарку, что тоже совсем неплохо.

С помощью справочников и энциклопедий многое можно было взять под контроль, объяснить с точки зрения законов физики, логики, да хоть понимания, каким образом это работает. Но именно из-за этого телефон у него в доме до сих пор был дисковым. Потому что провода, графит в трубке и прочие штуки — это еще понятно. А вот спутниковая связь — это было выше его понимания. То есть нет, понять он ее мог. Но какова вероятность того, что к сигналу, идущему из космоса, подключится, скажем, заблудившийся инопланетянин? Очень велика, в том-то и дело.

Но какие-то вещи контролю не поддавались, причем с годами ситуация только ухудшалась. Уже лет пять никакому контролю не поддавалась, например, художественная литература. Или фильмы. Если бы не «энимал пленет» и «дискавери», толку от того, что он знает, как именно работает телевизор, не было бы ни на грош, пришлось бы его просто выкинуть к чертовой бабушке. С чертовой бабушкой, кстати, тоже вышло некрасиво: он бездумно поминал ее к месту и не к месту, а в один прекрасный день обнаружил в почтовом ящике письмо, где очень вычурным, плохо читаемым почерком (потом выяснилось, что это готический курсив) доходчиво объяснялось, что не стоит превращать чужой дом в склад неприятного хлама и в проходной двор заодно. Как только он дочитал до

подписи, письмо вспыхнуло у него в руках синеватым пламенем, оставив очень неприятные ожоги. Ожоги, впрочем, быстро сошли, а чертову бабушку он с тех пор старался поминать исключительно мысленно и разбавлять корявым пнем, баней и прочими неодушевленными предметами.

И вот надо же было сегодня с утра так глупо проколоться. Хотя до сих пор ничего подобного не случалось, и готов он к такому совершенно не оказался. У кого угодно может крутиться в голове детская песенка. Придет серенький волчок и укусит за бочок. Когда ему в бок уперлись твердые лапы, а пасть мягко, но ощутимо сомкнулась на домашнем свитере, он опрокинул джезву, разлил кофе и, разумеется, залил конфорку. Бок болел. Волчок смотрел снизу веселыми глазами, вывалив розовый язык. Некоторые вещи делать нельзя, но выяснить это иногда можно только на практике.

— Потому что вслух и раз двадцать, да? — беспомощно спросил он у волчка. Волчок махнул хвостом по линолеуму.

Ладно, в конце концов, он всегда хотел иметь собаку.

Круговорот

Началом года я считаю большой прилив в апреле. Не потому, что пятнадцать лет - мой самый любимый возраст, с точки зрения возраста я как раз больше всего люблю ноябрь, когда туман ползет в гавань, как упорный зомби, маяк темнеет, отращивает выступы, какие-то крючья, на них висят колокола без языков, туман гудит в них, как ветер в горлышко бутылки, а в проливе один за другим беззвучно идут в гавань парусники. В ноябре я остаюсь вовсе без возраста.

К моему маяку от дома ведет длинный пирс, открытое море с одной стороны, гавань - с другой, в бетонных плитах пирса торчат ржавые ушки толстенной арматуры. Когда приходит большой прилив, море встает примерно на ладонь над бетоном, а у меня в доме исчезает вся обувь до последнего тапка, так что я с утра знаю, что пришла вода и начался новый год.

Я иду на маяк босиком, море стоит ровное, как озеро, в нем отражаются облака и белая шахматная фигурка башни маяка. Утром и вечером по воде, как по шелку, скользят рыбацкие лодки и джонки, и это значит, что городской рыбный рынок полон. В первое утро я просто иду на маяк - нужно протереть сменившиеся линзы, прибраться, открыть окно на втором уровне, чтобы проветрить библиотеку. А потом, пока прилив стоит, а в город идет рыба, сначала захожу в порт и покупаю там кулек вареных в соли креветок. Специально выбираю креветок помельче, чтобы лузгать их как семечки, одного кулька как раз хватает на весь проход через пирс. Шелуху я кидаю в воду, ее тут же подхватывают мальки, да иногда с такой прытью, что вода кипит под ногами.

Меня тасует точно так же, как маяк, но ночую я на нем редко и никогда не остаюсь на ночь, если меняется ветер. А вот дом мой в конце пирса и самом начале порта остается неизменным всегда, ну, если не считать исчезновения обуви в начале года. И я люблю его за это постоянство. Местные называют его Якорным домом, говорят, когда-то у меня в палисаднике лежал огромный якорь, с тех пор и пошло. Но я-то знаю, откуда пошло название. Этот дом и есть якорь. А в палисаднике у меня картошка и георгины.

В мае приходят шторма и огромные подводные лодки. На белой башне маяка появляются широкие красные полосы, а в фонаре - запас газовых баллонов, и мое дело - вовремя их менять. Все остальное время фонарь работает от электричества.

Летом я устаю. Погода может меняться чуть ли не каждую неделю, и я никогда не знаю, каким проснусь. Чем крепче ветер, тем больше седины у меня в волосах, иногда по утрам я долго лежу в кровати, собираясь с силами, потому что болит все тело. Зато иногда выдаются тихие, яркие ночи, а в лунной дорожке мелькают спины дельфинов.

К осени шторма стихают, появляется туман, а маяк становится похож на башню готического собора, и свет фонаря становится влажным, зеленоватым, будто линзы покрывает налет водорослей. И тогда приходят парусники. Днем - белые и нарядные, а по ночам - с серыми парусами в дырах, они висят на мачтах, как рубище на забытом пугале. Эти скользят по воде бесшумно, как призраки, и я никогда не видел команды, ни на палубе, ни у штурвала.

Зимой, если случается снег, можно увидеть Лайнер. Он приходит только ночью, огромный, как айсберг, заслоняет весь пролив, скользит черной громадой с леденцовыми вставками желтых окон. Фонарь маяка вспыхивает, освещает белый бок, он так близко, что можно рассмотреть каждую клёпку на обшивке. Лайнер проходит долго, больше часа, я сижу внизу на ступенях, пью горячий ром из термоса, снег вьется вокруг, как самый большой на свете рой белых пчел, а в черной тяжелой воде отражаются желтые окна.

Наутро я никогда не вижу Лайнер в городе. Он уходит куда-то еще. Я сижу и думаю: в марте снова будут туманы, а потом начнется прилив, и я снова проснусь в доме без единой пары обуви, пятнадцати лет, с привычной ссадиной на загорелой коленке.

Лора Белоиван

Штормовое предупреждение

Неяркое красное солнце катилось к Федоровским сопкам, обещая следующему дню ясную и ветреную погоду. В Овчарове дует всегда, если только не установится над полуостровом и омывающими его заливами долгий вязкий штиль, какой бывает перед штормом. Сейчас ветерок был небольшим и ласковым, рожденным специально для того, чтобы гладить котенка и щекотать затылки подсолнухам. Ветерок дул с востока. Макс сидел на заднем дворе унаследованного от бабки дома, курил, смотрел на красный закат, на котенка, игравшего у его ног с дохлой осой, на подсолнухи у забора, повернувшиеся к закату лицом. Макс не сажал подсолнухи – они выросли этим летом сами, на том же месте, где росли всегда, еще при бабке. Макс не мог отделаться от мысли, что появление подсолнухов как-то связано с бабкой. Он был почти уверен, что подсолнухи - бабкиных беспокойных рук дело: налетела восточным ветром, пока спал, бросила в землю несколько семечек, да и была такова. Может быть, даже поправила на нем, спящем, одеяло – да он не услышал.

В воздухе отчетливо пахло яблоками. Ехать на вахту не хотелось. Хотелось бесконечно сидеть на заднем дворе, смотреть на спелый закат, на котенка, подсулнухи и стрекоз, что с треском выгрызали из яблочного воздуха каких-то мелких крылатых сикарашек. Макс затушил окурок, выбрался из шезлонга, сгреб юного кота – подарок соседки Анны – и отнес его в дом. Затем запер дверь на старый нож без рукоятки, вставив его в проушины утраченного засова – и поехал в порт, на работу.

***

- Бывают же у людей чудеса, - сказала Анна, - не то что.

Вечер обещал ни в коем случае не становиться

томным. У хозяйки «Синего Ары» наблюдалось плохое настроение, что бывало в последнее время не так уж и редко. Никто из завсегдатаев кафе не ведал причины, заставляющей Анну то грустить, то раздражаться, то грустить и раздражаться одновременно. Если спросить, не ответит, но не молчать же. Всегда лучше спрашивать, что случилось, даже если не ждешь никакого другого ответа, кроме «ничего».

- Что случилось, Анна? – спросил Жмых.

Он пришел в кафе первым, буквально две минуты назад, но уже понял, что Анна опять не в духе.

Вопреки умозрительному прогнозу Жмыха, Анна не стала применять термин «ничего», низводящий проблему на уровень бытовой глупости.

- Чуда хочется, - ответила Анна.

И добавила язвительно:

- Знаете ли.

- Какого чуда именно? – уточнил Жмых.

- Ай, да какая разница, - Анна махнула рукой, - любого уже. А то живём, как не знаю. Одинаково. Да налейте уже себе кофе, что вы встали, как…

Анна поймала себя за язык, когда с его кончика уже готово было сорваться слово «осёл».

- Как осёл? – угадал Жмых.

- Нет, - поспешно сказала Анна, - я хотела что-нибудь другое сказать.

- Что, например?

- Забыла.

- Вот было бы интересно, если б вспомнили, - сказал Жмых, наливая себе кофе, - скажете, если вспомните?

Анна с изумлением посмотрела на Жмыха.

- Вы ко мне прицепились, - сказала она, - причем, уже не в первый раз замечаю.

- Да ладно, - деланно удивился Жмых, - сроду ни к кому не цепляюсь. А вот вы злюка в последнее время.

- А вы, - сказала Анна.

- Осёл? – подсказал Жмых.

В треугольнике между Анной, дремлющим гиацинтовым арой и Жмыхом летали первые, но уже довольно опасные искры, когда дверь отворилась и в кафе вошли Владыч и Соник.

- Привет, - сказал Соник.

- Привет, - сказал Владыч.

- Привет, - сказал Жмых.

- Привет, - встрепенулся ара, - привет. привет. привет. привет. привет. привет.

- Арочка, - сказала Анна, - закрой пасть.

- Осёл, - сказал попугай и замолчал.

- Так, - сказал Соник, - всем занять свои места и пристегнуть ремни безопасности.

- Видели, какой сегодня закат? – спросила Анна, ни к кому не обращаясь.

- Штормовое на завтра дают, - сказал Владыч.

- У некоторых уже прям сегодня ветрено, - сказал Жмых, - и волны с перехлёстом.

- Так, - сказал Соник, - кто-то не пристегнулся.

- Всё, - Жмых поднял руки жестом сдающегося в плен, - я молчу. Но если что, я здесь, рядом.

И занял свое привычное место в кресле - за столиком у окна.

Посреди крошечного кафе повисла и растопырилась - от стены до стены, от пола до потолка –глупая, некрасивая, неловкая пауза.

***

Вопреки расхожему мнению, что тайна перестает быть тайной, когда про нее узнаёт всего лишь второй человек, о регулярном сообщении «Иерусалим-Южнорусское Овчарово-Иерусалим» несколько лет знали только Ник и Белый. Ни тот, ни другой не делились с общественностью секретной дорогой; у каждого на то были свои причины. Ник опасался, что хрупкая коммуникация с Овчаровым попросту прекратит быть, если ею воспользуется человек праздный, случайный, сам не понимающий, зачем он поперся в чужую деревню через дырку в храме. Еще опаснее, если в дыру полезут люди, желающие поглумиться над задрипанностью Овчарова, о котором в Википедии написано только то, что в нем имеются рыболовный флот, госпиталь для тюленей, а также писатель Ларион Белый и художник-монументалист Александр Васильев. С художником Ник, к слову, знаком не был. Он вообще никого не знал в Овчарове, кроме Белого и бабы Люды, вылечившей его когда-то от пневмонии. Ник очень

хотел, чтобы баба Люда пролезла к нему в гости, но понимал, что подобная физкультура для пожилой женщины слишком суровое испытание; он горевал по этому поводу до тех пор, пока не догадался пригласить её общепринятым способом, просто оплатив небогатой пенсионерке билеты на самолет.

Что касается Белого, то он никому не рассказывал об альтернативных способах попадания в Иерусалим просто потому, что точно также никого не знал в Овчарове – кроме соседки бабы Люды, которая уже дважды слетала в Иерусалим и даже съездила с Ником и его родителями в Эйлат. Баба Люда знала, что Белый часто бывает в Израиле; кроме того, несколько раз в год в Овчарове бывал Ник, но, разумеется, пожилая женщина была уверена, что оба они используют в своих челленджах обычный пассажирский транспорт. С остальными людьми за пределами Иерусалима и еще двух-трёх городов планеты у Белого были вежливые и очень аскетичные отношения, ограниченные парой десятков слов вроде «спасибо», «пожалуйста» и «здравствуйте».

Но однажды, возвращаясь в Овчарово, Белый выпал из Сиро-Яковитского придела не в яму на пустыре заброшенной стройки, не в канализационный люк на центральной площади – как уже не раз бывало, - а в наглухо заколоченный ящик, по тесноте похожий на гроб, поставленный, однако, строго вертикально. Очутившись в душной и глухой темноте, Белый вначале не слишком испугался – ведь все возвращения всегда заканчивались благополучно; паниковать он начал лишь тогда, когда ощупал свое гробоподобное узилище сверху донизу и пришел к выводу, что выхода из него нет. Свободного пространства хватало только на то, чтобы сесть, подтянув колени к подбородку. Если же стоять стоя, то можно было вытянуть руки вверх, слегка согнув их в локтях. Белый затосковал через десять минут, а еще через полчаса принялся колотить в стенки гроба, поддавшись панике и забыв экономить кислород, как строго-настрого рекомендовано всем, кого случайно похоронят заживо.

Не было никаких оснований надеяться, что гроб –чем бы он ни был в реальности – находится в Южнорусском Овчарове; более того, - он вообще мог находиться не в населенном пункте. И тогда, понял

Белый, его никто и никогда не найдет. Он сел на дно ящика и уткнулся лбом в колени. Через бесконечно длинную минуту отчаяния Белый поднял голову, и по его правой щеке тихонько скользнула струя тепловатого, однако явно внешнего воздуха.

Осторожно, стараясь не менять положения головы в пространстве, Белый примерился к направлению воздуха, провел умозрительную прямую и начал ощупывать стенку там, где должен был находиться источник. Мизинец первым наткнулся на неправильной формы отверстие в гробу. Приучив кончики пальцев к чуткости, Белый ощупал находку и выяснил, что отверстие состоит как бы из двух частей: сверху - окружность диаметром чуть больше карандаша, снизу прямоугольник, узкий и длинный. «Замочная скважина», - осенило Белого.

- Эй!!!! – крикнул он, приникнув ртом к скважине, - есть тут кто-нибудь?!

Никого не было.

***

- Ну хорошо, - сказал Владыч, - вот вы говорите, чуда. И тут же уточняете, какого именно: «какая разница». Вы хотя бы сферу определите, а то подкинут вам ангелы какой-нибудь фигни в карман, и всё, комплит мишн. Они ж ленивые.

Владыч сказал это лишь для того, чтобы отвоевать хотя бы часть пространства у наглой паузы.

- А как я могу уточнить, если на любое практически согласна и вообще сама не знаю, что захотеть? И что вы так прицепились к слову-то? Просто противно, что каждый день всё одинаковое, я это имела в виду.

- Анна, всё равно непонятно, вы в качестве разнообразия любви хотите или путешествий? – спросил Жмых, постаравшийся как следует подковать голос.

- Можно еще бухать начать, - вставил реплику Соник, - но я бы не советовал, оно потом тоже одинаково будет.

Анна проигнорировала вопрос Жмыха.

- Бухать нет, - сказала она, - просто приключения хоть какого-нибудь. Разнообразия. Понимаете?

В этот момент дверь в кафе распахнулась и на порог ввалился Том. Он был не слишком глубоко пьян, но выглядел так, как будто пробежал марафон.

- Анна, - сказал он и лег на спину, тяжело дыша, - Анна, где ваш топор.

Жмых метнулся за полотенцем, намочил его под краном в туалете и, вернувшись в зал, наклонился над Томом.

- Том, дышите вот так: вдох – выдох, вдох – выдох.

- Голову не мочите ему, а то спазм еще, - встревоженно сказала Анна, - подкладывая под голову Тома подушку с кресла.

Соник взял у Жмыха полотенце и принялся обмахивать им Тома. Владыч принес стакан с водой и пытался напоить неспортивного негра, и тот даже сделал несколько глотков.

- Кажется, Том стал свидетелем чуда, - сказал Жмых, - что случилось, Том?

- Надо идти, - ответил Том, - с топором к Анне.

- Понятно, - сказал Соник, - а зачем?

- Не знаю, - ответил Том.

- Да что случилось-то?! Том! – Анна действительно вытащила из-под стойки топор отца и теперь не понимала, что с ним делать.

- Да не знаю я, я не заходил! Мимо шел. Собаки твои орут на всю улицу. Хули они орут? Никого нет.

- Так ты же шел там мимо, - сказал Владыч, - на тебя и орали.

- Меня там еще не было, - сказал Том, - они до этого.

- Поехали, - сказал Жмых, - на месте разберемся.

- Я тоже поеду, - сказал Том, - поднимите меня.

Когда рассаживались по машинам Жмыха и Владыча, к кафе подъехал Захаров.

- Эй, а вы куда все? – удивился он.

- Поехали, - махнул ему Том, – некогда разговаривать.

И кавалькада из трех автомобилей устремилась по улицам Южнорусского Овчарова – сперва по центральной асфальтированной дороге, затем по накатанной

грунтовке, а потом, максимально сокращая путь, по горбатому бездорожью, что в ненастную погоду превращается в сплошное непреодолимое препятствие. Но в этот августовский вечер стояла сухая и ясная погода, сулящая на завтра штормовой ветер, да и тот без дождя.

***

Белый то орал в замочную скважину, то вставал во весь рост и колотил кулаками в деревянные стены своего вертикального гроба, то в отчаянии снова опускался на его пол, подтягивал колени к самому лицу и вдыхал струйку воздуха, что просачивалась внутрь едва уловимо – Белый больше всего боялся, что микроскопический поток истончится до полного исчезновения, и тогда он задохнется и погибнет. Телефон, отправляясь в Иерусалим, Белый с собой не брал никогда: ямы и канавы, сквозь которые приходилось проникать в любимый город и возвращаться обратно, в половине случаев бывали мокры и не слишком чисты, а в Храме Гроба у Белого был припрятан местный пелефон. Теперь, когда Белый оказался в ловушке неясного генеза, он больше всего жалел о том, что снова оставил пелефон в Иерусалиме, а мог бы и забыть выложить его из кармана. Но нет, не забыл. И оказался в гробу без связи.

Сколько времени он уже провел взаперти, Белый не знал. Он понимал, что знание о времени в его случае не привнесло бы в ситуацию ничего ценного – кроме разве того, что часы были бы встроены в телефон, а телефон оказался в зоне приема каких-нибудь мобильных сетей. Отчаянье уже несколько раз успело взять Белого в плен, но он каждый раз сбегал из него, придумав уважительную причину вроде «пора колотить кулаками в стены», или «пора поорать», или «надо подышать из скважины», или – «давай ты спокойно подумаешь, что это может быть».

Только спустя несколько переходов от отчаянья до деятельности и обратно – Белый вдруг понял, что вертикальный его гроб никакой не гроб, а шкаф – обычный платяной шкаф старого, очевидно, фасона: крепкий, изготовленный из древесного массива, с ювелирно подогнанными и притертыми стыками, со

следами – Белый поискал выше головы и нашел их – креплений для перекладины, на которую обычно вешают вешалки с платьями или костюмами.

Белый в сотый раз ударил плечом в дверцу, но она не шелохнулась.

- Это просто пошло, - сказал Белый вслух, - в конце концов, это очень пошло. Когда вы открываете шкаф, а там сидит писатель, это пошло.

Белый помолчал и добавил:

- Хоть бы вы не пришли.

***

Кавалькада остановилась у забора Анны и перегородила всю узкую дорогу целиком, но об этом никто не думал. Во дворе у Анны лаяли собаки, и лай этот уже не был ни угрожающим, ни предупреждающим – он был хриплым, досадливым, и даже со слезой в голосе. Анна, сжимая отцовский топор, бросилась во двор первой и еще успела заметить, что две южнорусские овчарки лаяли на дом соседа, встав передними лапами на штакетник. В следующий момент южаки увидали Анну, плюнули на свое предыдущее занятие и подбежали к хозяйке, радуясь и веселясь. Анна переложила топор в левую руку, правой погладила собак и вышла обратно на улицу – к завсегдатаям своего кафе, которые выстроились вдоль забора, не решившись войти вместе с ней во двор с собаками.

- Что-то у Макса стряслось, - сказал Анна, - у соседа.

Не размышляя ни единой секунды, все шестеро ввалились в соседский двор и остановились возле входной двери, закрытой снаружи на лезвие ножа. Всеобщая мимолетная нерешительность испарилась в тот момент, когда там, в глубине запертого дома, послышался стук. Лезвие из двери вынул Жмых. Через три вдоха и одиннадцать шагов все шестеро стояли возле шкафа – важного и монументального, как Мюнстерский собор. Анна держала топор, негр Том – котенка. В шкафу кто-то возился.

- Именем закона, - сказал Том, - откройте.

Жмых и Соник нервно хохотнули.

- Блядь, - глухо донеслось из шкафа.

После чего там всё стихло.

- Эй? – осторожно постучал в дверцу Соник, - кто там?

В шкафу молчали, хотя и явно были живы.

-Макс, это ты там? - спросила Анна.

- Нет, - ответили из-за дверцы.

- Ну что я спрашиваю, точно же, - Анна обернулась к товарищам, - Макс на вахту уехал, наверное. Машины нет же. И дом заперт.

- Ну, шкаф тоже заперт, - сказал Жмых.

- Вы заперлись или вас заперли? – спросил Захаров человека в шкафу.

- Не я, - ответил человек, - и я ничего не смогу объяснить.

- А котёнок ваш? – спросил Том.

- Это Макса котенок, - ответила Анна, - я сама ему подарила.

- Зачем? – спросил Жмых.

- Что – «зачем»? – удивилась Анна, - вы не понимаете, зачем котят дарят?

- Ну, например, мне вы не предлагали котенка в дар.

- Хорошо, - Анна пожала плечами и переложила топор из руки в руку, - в следующий раз вам подарю.

- Будьте так любезны, - сказал Жмых.

- Договорились.

Из шкафа покашляли.

- Ой, - сказал Том, - мы тут заболтались.

- Мы сейчас дверь откроем, а вы сразу руки назад сделайте, - сказал Соник.

- Хорошо, - ответили из шкафа, - а зачем?

- Ну правда, - спросил Захаров Соника, - зачем руки-то?

- Я сделаю руки назад, - пообещал человек в шкафу, - это чтобы я не выстрелил, наверное.

- А у вас пистолет? – встревожилась Анна.

- Тфу ты, - сплюнули за дверцей, - у меня даже телефона с собой нету.

- Ладно, - сказал Соник, - сейчас открывать будем.

В ту минуту, когда, взяв у Анны топор, Соник попытался просунуть его лезвие в почти несуществующий зазор между дверцей и стойкой величественного шифоньера, Анна сказала «ой, Макс, привет», и все обернулись. В проеме входной двери стоял мужчина с

таким изумлением на лице, что все как-то сразу поняли: это хозяин.

- Здравствуйте, - сказал Жмых.

- Добрый вечер.

- Макс, а ты разве не на вахте? – спросила Анна.

- Уже сменился, - ответил Макс, - а вы?

- А мы и не заступали, - ответил Соник и почему-то протянул Максу топор: - вот.

Макс автоматически взял топор и спросил, обращаясь к Тому:

- Плакал?

- Да нет, - ответил Том, - обрадовался.

- Не любит один оставаться.

- Маленький еще.

Том протянул Максу котенка. Макс переложил топор подмышку и взял кота.

- Макс, - сказала Анна, - дело в том, что у тебя в шкафу человек сидит, у меня собаки лаяли.

- Человек? В шкафу?

И все увидели, что это было не удивление, а, скорее, испуг.

В шкафу, тем временем, уже некоторое время было очень тихо.

- Эй, - Соник постучал в дверцу, - вы там?

- Да, - донеслось из шкафа через некоторую паузу.

- Погодите, - сказал Макс, - ключ возьму.

- Сейчас мы вас выпустим, - сказал Том.

Макс передал топор Анне, вставил ключ в скважину и сделал три оборота влево, затем один вправо. Звук проворачиваемого механизма был мягким и каким-то влажным. Дверца открылась без всякого скрипа. Внутри шкафа стоял, прислонясь к задней его стенке, известный писатель Ларион Белый.

- Вы кто? – спросил Макс.

- Ого, - сказал Соник, - ну охренеть.

- Ой, - сказала Анна, взмахнув топором, - а почему вы к нам никогда не приходите?

- Куда? – спросил Белый.

- В кафе, - Анна обняла топор обеими руками, - «Синий Ара», - знаете?

- Да я.., - начал было писатель.

- Я вот тоже не прихожу, - сказал Макс и

пояснил: - не зовут.

- Макс, да тыщу раз тебя звала, вначале еще, а ты «ну как-нибудь» да «как-нибудь».

- Ну я вот тоже напрашиваться стесняюсь, - сказал Белый, - у вас там всегда одни и те же, вот эти господа как раз. И я такой припрусь. Как…

- Как хуй с горы, ну, - сказал Том.

- Вот именно, - кивнул Белый.

- Да ладно вам, - вмешался Владыч, - может, сейчас и поедем? Анна, можно же?

- Макс, - сказала Анна, - берите котенка, поедем кофе пить.

- Так вы откуда в моем шкафу взялись? – спросил Макс.

Белый вздохнул, почесал переносицу и ответил честно, как на исповеди:

- Из Иерусалима.

И почему-то никто не засмеялся.

- Ясно, - кивнул Макс.

- Погодите, - Соник вернулся к шкафу, - а как?

Белый остановился в дверях.

- Долго рассказывать, - сказал он, - сигарету бы сперва. И кофе.

- Господи, Соник, - укоризненно сказала Анна, - человек такое расстояние преодолел, а ты. Поехали кофе пить, сигареты курить.

И они поехали.

В открытые настежь окна кафе «Синий Ара» клубами выходил синий дым. Ветер подхватывал клубы, рвал их на мелкие клочья и уносил в яркое розовое небо. Когда Белый закончил свой рассказ, уже наступило утро. На протяжении всего рассказа никто ни разу не перебил его: все слушали внимательно, лишь Том дважды отлучался в туалет и в конце концов уснул, приклонив голову к прутьям попугаечей клетки.

- Иерусалим, - сказал гиацинтовый ара, и Том было проснулся, но затем уснул опять.

- Надо проверить одну вещь, - сказал Макс, - поехали проверять одну вещь. Проснитесь, Том.

После бессонной ночи все были немного взбудоражены.

- Анна, - сказал Жмых, - кажется, по вашей заявке исполняется песня «Валенки».

- Ох, - сказала Анна, - ну и язва же вы.

Жмых пожал плечами.

- Смотрите, - сказал Макс, когда все семеро, включая пьяненького Тома и писателя Белого, теперь известного и Максу, стояли тесным полукругом напротив монументального шкафа, - Лариона мы достали из правого отделения, да?

- Ну да, - подтвердили Захаров и Анна.

Остальные молча кивнули.

- Вот. А с левой дверцей тоже история. Я думал, она на тот свет ведет, если честно.

- А на самом деле куда? – заинтересовался Белый.

- Вот это я и имел в виду проверить, - сказал Макс, - но может, что и на тот свет. Гарантий-то нету.

- Я могу первый пойти, - вызвался Белый.

- Почему вы? – спросила Анна.

- А я отличить смогу.

- Значит, план такой, - продолжил писатель, - я сейчас в левую дверцу, а вы не расходитесь. Потому что там непонятно где выйду, может время занять. Но если все так, как я сейчас думаю и как Макс предположил, то должно быстро получиться.

- А если долго? – усомнился Владыч.

- Ну, у нас вариантов-то нет других, чтоб проверить. Давайте, я пошел. С Богом.

И Белый, шагнув в левую дверцу, плотно закрыл ее за собой.

Через минуту тотальной тишины Макс открыл дверь. В шкафу было пусто.

- Ну пиздец, - сказал Том.

- Да погодите вы, - одернула его Анна, - может, еще и нет.

- Может, просто песня «Валенки», - сказал Жмых.

Не успели они еще раз поссориться, как в правом отделении шкафа что-то стукнуло, и голос Лариона Белого весело воззвал:

- Именем закона!

Макс выпустил писателя из шкафа.

- Кстати, можно было и не запирать, - сказал тот.

- Я машинально, - извинился Макс.

- В общем, я что хочу сказать, - сказал Белый, - оно работает.

- Как? – спросило сразу несколько голосов.

- Вот этого никто вам… нам не скажет. Просто – работает, и всё. В левую дверь входишь – Иерусалим. Сиро-Яковитский придел, ни с чем не спутаете. Оттуда через дыру сразу в шкаф. В правую дверь. Почему раньше так никогда не было, я не знаю. Но вот сейчас стало так. Пошли?

Никто не шелохнулся.

Все участники потенциального эксперимента молча стояли возле шкафа, не торопясь проникнуть в Иерусалим.

- Что-то не так? – спросил Белый.

- Знаете, - сказал Макс, - мне бабка велела не торопиться в левую дверь.

- Так уже сколько времени прошло, - сказал Белый, - вы и не поторопились.

- Надо пока подумать всё равно. Извините меня. Но вы можете ходить через шкаф туда-сюда сколько влезет, я не буду запирать.

- Я тоже пока не пойду, - сказала Анна, - у меня попугаю воды не налито и я в тапках.

- А мне на работу, - сказал Жмых, - я бы сходил, но сегодня судно новое приходит, я не могу.

- Я вот просто думаю, - сказал Владыч, - что надо отдохнуть сперва, что ли. Да и ночь сейчас там.

Соник и Захаров молчали.

- Да идите вы нахуй, - сказал вдруг Том.

Воспользовавшись секундным замешательством товарищей, пьяница шагнул в левую дверь шкафа и захлопнул её за собой.

- Блядский род, - сказала Анна, - ну блядский же род, а.

- Да вообще, - подал голос Захаров.

- Погодите, - сказал Белый, - все устали, никто ничего такого не планировал, я понимаю. Не надо никому на себе тельняшку рвать. Отвезите меня домой, мне телефон нужен.

Через полчаса Ник перезвонил Белому и сообщил, что ни в Сиро-Яковитском приделе, ни в примыкающих к нему частях Храма нет ни единого человека.

Добродушный пьяница Том, единственный негр на всё восточное побережье Тихого океана, зашел в старый шкаф и исчез где-то между Иерусалимом и Южнорусским Овчаровым.

- Господи, - сказала Анна, - да лучше бы всю жизнь песня «Валенки».

- Анна, выходите за меня замуж, - внезапно брякнул Жмых.

- Правильно, - меланхолически заметил Соник, - где гроб стоял, там стол есть яств.

- Ладно, в другой раз, - кивнул Жмых, - но я не оговорился.

Анна смотрела на него с таким выражением на лице, как будто Жмых был не Жмых, а гиацинтовый ара.

Снаружи, во дворе, что-то грохотало и перекатывалось. Дул очень сильный ветер. Розовый закат сменился сиреневыми сумерками, и синий абрис южных отрогов Сихотэ-Алиня прямо на глазах наливался чернотой. Том, озираясь по сторонам, сперва удивился тому, что Иерусалим так похож на дачные предместья Владивостока, а потом - что и в самом деле находится в дачных предместьях, а не там, куда его обещала доставить турфирма «Старый Шкаф». Удивился, но не огорчился: подумаешь, не получилось с первого раза – со второй попытки получится. В третий раз Том удивился, сообразив, что в шкаф он зашел утром, а теперь уже наступала ночь; Том почесал задницу, непонятно в какой момент ушибленную чуть ниже и левее копчика, и побрел вниз по кривой и узкой дачной улице, гадая, в котором из садоводческих районов очутился: в Кипарисово? В Сиреневке? В любом случае, имело смысл идти вниз, к федеральной трассе. Оттуда, если повезет поймать попутку, до поворота на Овчарово рукой подать.

Темнело быстро. Дачный поселок был безлюден, хотя в некоторых домах светились окошки, а до Томова носа то и дело доносились запахи еды. Запахи эти, сначала осторожные и стеснительные, вскоре сделались уверенными и наглыми. Они настигали Тома со всех сторон и с разбега, как гопники, били в нос. Минут через двадцать больно пахло уже отовсюду: борщом, яблочным вареньем, жареной картошкой и пирогами. Ветер, подгоняющий Тома в спину, мимоходом швырял в него сведения о тучных дачных ужинах. Том лавировал между ароматами снеди, преодолевал короткие расстояния от эманации котлет до эманации запеченой в духовке курицы и думал о том, что в «Синем Аре»

сейчас дают блины. Том был отчаянно голоден. Вдобавок, ему хотелось пить. Когда, после очередного поворота на очередной дачный проезд Том увидел далеко внизу бегущие огоньки фар, а между собой и огоньками темное море дач, лесов и садов, он понял, что шкаф забросил его слишком высоко. Слишком высоко в дачи, слишком далеко от блинов «Синего Ары».

Том поравнялся с каким-то забором, остановился, хотел постучать в калитку, но в темноте не смог вычленить ее в сплошной вертикальной плоскости и постучал куда придется. Ветер сорвал его стук буквально из-под костяшек пальцев; Том и сам его не услышал, так сильно свистело и шумело всё вокруг. Он привалился плечом к забору, чтобы как следует подумать, постоял так с минуту, затем решил поменять дислокацию и привалиться чуть подальше, потому что дерево, возвышавшееся над ним из-за забора, норовило наподдать ему ветками; Том отлепился от забора и припал к нему метра через три, и забор вдруг раскрыл объятия и выронил его, Тома, прямо внутрь чьей-то дачи, такой мягкой при первом знакомстве со спиной Тома, что никаких сомнений не возникло: дача была заброшена.

Выбравшись из сорняков ростом почти с забор, Том нащупал в траве твердую почву и пошел по направлению к дому, раздвигая руками бодыли – как будто плыл. Дом был темен. Дверь его нашлась сразу и открылась тоже сразу. Замок, накинутый дужкой на засов, был не заперт. Том наощупь снял его и беспрепятственно проник в чью-то собственность.

***

- Я вот думаю, - сказала Анна, - не свиньи ли мы? По-моему, да. Настоящие пионеры так не поступают.

- Точно, - согласился Соник, - пионеры бы сейчас набились в шкаф с целью попасть в Иерусалим. Чтобы разбиться там на группы и опрашивать местное население, не встречался ли им сегодня поддатый негр.

И все с готовностью заржали.

- Соник, не смешно, - сказала Анна.

- Смешно, - возразил Жмых, - ну правда, смешно.

- Кстати, Том разве пьяный был? – усомнилась Анна.

- Ну, так, - сказал Владыч, - как обычно.

- По-моему, просто с бодуна, - сказала Анна, но вообще да, что это меняет-то.

В «Синем Аре» пахло блинами, кофе и сигаретным дымом. За окнами «Синего Ары» давно стемнело. Нервный, исполненный беспокойства день кончился, на смену ему пришел нервный вечер. Белый, отправившийся в Иерусалим почти сразу после исчезновения Тома, держал ситуацию под контролем и периодически слал депеши по вайберу. В депешах говорилось, что Том по-прежнему не проявился в Иерусалиме.

- Там есть кому о нем позаботиться, - сказал Жмых, - не обязательно всей толпой в шкаф лезть.

- Да я понимаю, - согласилась Анна, - просто как-то. Не знаю.

- Он ведь правда, может, и не там совсем, - сказал Жмых, - Тем более, разведка подтверждает. У Белого там всё схвачено, ну, не у Белого, у его приятеля этого, как его. Папа там непростой, что мы по сравнению? В чужом городе. В чужой стране. Мы только ждать можем. Вот, ждем.

- Папа, - сказал Ара, - папа! Папа!

- Я домой, - сказал Соник, - мне еще скотину кормить.

- Я тоже домой, - сказал Владыч, - мне еще спать ложиться.

- Тоже поехал, - сказал Захаров, - мне еще вообще всё.

Жмых не тронулся с места.

- Анна, - сказал он, когда Захаров, замыкавший цепочку уходящих, закрыл дверь, - я не шутил.

- Папа! – сказал Ара.

- Вот, кстати, - сказал Жмых, - готов стать отцом нашей птичке.

Анна молчала.

- Ну скажите же, что вы не согласны идти за меня замуж, потому что не уверены в своих чувствах.

- А я уверена в своих чувствах, - сказала Анна, - поэтому и не согласна. Вы мне слишком дороги, Жмых. Чтобы я вот так вот взяла и вот это всё. Я не могу ни с кем жить вместе. Ненавижу с кем-то жить вообще. Я вас возненавижу.

- Так я тоже ненавижу, - сказал Жмых, - я же вам замуж предлагаю, а не вместе жить.

- А тогда зачем?! – изумилась Анна, - мы с вами женимся и остаемся каждый где был? Гостевой брак?

Жмых улыбался.

- Неа.

- А что тогда?

- Анна, - сказал Жмых, - послушайте меня. Я вам сейчас все расскажу. Вы слушаете?

- Да слушаю, конечно!

- Анна, - сказал Жмых, - я вас правда люблю. Так бывает иногда с людьми. И вот я думал-думал, что я могу хорошего для вас сделать? Деньги есть у меня, но это всё банально. Всё, что за деньги можно купить – всё банально. Ну или, если не банально, то тогда вопрос жизни и смерти, а мы сейчас не про это. И не дай бог. В общем, я думал и придумал. Я хочу подарить вам счастье развода. Вы выходите за меня замуж, и мы подаем на развод. Что может быть лучше развода, скажите мне?

- Ух ты, - сказала Анна, - вот это подарок. Не ожидала!

- Я знал, что вы оцените.

- А как же наш сын? Что мы ему скажем? – Анна кивнула в сторону Ары.

- А ничего не скажем, - сказал Жмых, - пусть думает, что его батя полярный летчик.

- Полярная сова.

- Да. Пусть думает, что его батя – успешная полярная сова.

***

Оказавшись в заброшенном дачном доме, Том попытался приучить глаза к темноте, чтобы осмотреться в нем и хоть как-то устроиться на ночлег, но единственным его достижением стало умение видеть квадрат окна. Квадрат был светлее всего прочего. Всё прочее же было стопроцентной тьмой. Постояв на пороге, Том двинулся по направлению к квадрату, стараясь шагать как можно аккуратнее, но все равно больно ударился коленом об угол какой-то низкой мебели: скамейка? Сундук?

- Осторожнее, - вдруг услышал он, - не убейся тут. Не хватало еще.

Том замер.

- Ты где? – спросил он. – Я тебя не вижу.

- Я тоже тебя не полностью вижу, - ответил голос, - У тебя башки нет, что ли?

- Есть, - ответил Том, - просто у меня морда черная.

- Почему? – заинтересовался голос.

- А я негр. Точней, как бы это сказать. Афроюжнорусскоовчаровец.

- Охуеть, - сказал голос, - сколько лет здесь живу, сроду такого не встречал.

- А я тут один такой. На все Тихоокеанское побережье. А ты кто? – спросил Том.

- А меня как бы нету, - ответил голос, - то есть я есть, но меня не видно.

- Прозрачный? – уточнил Том.

- Как вода, - подтвердил голос, - есть хочешь?

- А у тебя есть, что ли?

- Да полно. Ты б чего хотел?

- Э. – сказал Том, - погоди. А душу продавать не надо будет?

- Да сдалась мне твоя душа, - хмыкнул голос.

- Ну я-то откуда знаю.

- Не надо будет продавать. Ни душу, ни первородство. Ты старший ребенок в семье?

- Средний, - подумав, сказал Том, - третий от начала.

- Ну тем более, - успокоил его голос, - можешь тогда совсем любой суп просить.

- Тогда борщ давай. На первое. А на второе картоху пожарь и котлет туда две штуки сверху. Нет, три лучше.

- Салатику?

- Капустки найдешь квашеной?

- Найду, - сказал голос.

В непроглядном воздухе запахло борщом, жареной картошкой и котлетами. У Тома свело челюсти.

- А садиться куда? – спросил он.

- Ну, на запах иди, прям как маленький, - подсказал голос ворчливо.

Запах был везде, но Том сосредоточился и локализовал источник. Он располагался правее оконного квадрата. Где-то там, в густой тьме, его ждали борщ, картоха, квашеная капуста и три котлеты.

- И водки грамм триста, ага? – сказал он,

приближаясь к невидимому во тьме столу.

- Уже, - сказал голос, - только там четыреста, прости.

- О, - сказал Том, - это не беда.

Нащупав наконец стол и табурет, Том сел, стараясь не шатать мебель, чтобы не расплескать из сосудов, стоявших перед ним; однако никаких сосудов не было. Том пошарил перед собой – сперва осторожно, затем смелее, затем широко провел рукой по столу – он был пуст, лишь старая газета, зашуршав, свалилась на пол. Запах, меж тем, никуда не делся, а даже как будто стал сильнее, хотя сильнее вроде было и некуда.

- Гдеее?!! – взревел Том, - наебал меня, да??

- Ничего и не наебал, - сказал голос, - просто жратва как идея нуждается в материализации. Я предоставил тебе идею жратвы. Заметь, выбранной тобой жратвы, а не какой попало. Тебе осталось только ее материализовать.

- Кааак!! Как я ее материализую, эту твою идею? У меня у самого идей дохуя, и вот эта вот, про борщ, еще не факт что твоя! Я с ней шел последние полчаса! И про картоху! И про котлеты! Твоя только про капусту! И про четыреста грамм! Моя была про триста. Как я должен это материализовать?!!

- Успокойся, - сказал голос, - делай как я скажу.

- Ну, - сказал Том, - допустим, я спокоен. Я спокоен! Я спокойно хочу жрать!

- Молодец, - одобрил голос, - начало правильное. Продолжай: «я спокойно протягиваю руку и нащупываю ложку. Ложка спокойная, тяжелая, мельхиоровая, холодная».

- Я спокойно нащупываю ложку! – сказал Том, - Ложка спокойная, тяжелая, мельхиоровая, холодная! И?

- Что «и»? Что у тебя в руке?

Том сжал пальцы. В них действительно находилась ложка. Она была спокойная, тяжелая, холодная и наверняка мельхиоровая.

- Ложка, - сказал Том, - ну нихрена себе.

- Продолжай, - велел голос.

- Я, - сказал Том, - спокойно сую спокойную тяжелую мельхиоровую ложку в спокойную тарелку, в которой спокойный борщ.

Том пошарил перед собой ложкой. Она брякнула об

стол. Стол был пуст.

- Блядь, - сказал Том, - где?!

- Повторяй за мной, что ж с тобой делать, - сказал голос, - «я спокойно погружаю спокойную ложку в спокойный борщ и спокойно говорю «блядь! Где?»

- Чтооо??

- Повторяй!! – рявкнул голос, - жрать хочешь? Повторяй: «борщ, огненный как Геенна, красный как сама суть томата, женившегося на свекле, густой как ночь, спокойно стоит на столе, налитый в спокойную глиняную миску с коричневыми узорами на матовом боку».

- Борщ, огненный как Геенна, красный как… Блядь! Я не могу повторять эту тупую хуйню!

- Не хочешь повторять хуйню, значит, не голодный, - холодно заметил голос.

- Ты обещал, что душу продавать не надо будет! – сказал Том.

Голос помолчал.

- Ладно, - сказал он, - жри как знаешь.

- Как?!

- Ну как ты знаешь жрать, так и жри.

Том сосредоточился. Есть хотелось уже невыносимо. Борщ был где-то тут, рядом, оставалось всего лишь материализовать его.

- Борщ, горячий, с крупно порубленной капустой, с большим куском говядины на кости, стоит прямо передо мной, - сказал Том, - он налит в глиняную тарелку, совсем как та, в которой я дома держу катушки с нитками.

- Ну-ну, - сказал голос.

Том спокойно и уверенно сунул ложку в воображаемую тарелку. Ложка мягко шмякнула, плюхнула и погрузилась. Том зачерпнул из тарелки и отправил в рот первую пробу. Борщ был горяч и великолепен. Вторая ложка отправилась вслед за первой.

- Тфу! Что такое! – воскликнул Том.

- Что такое? – в голосе голоса звучала притворная забота, - что? Нитки?

***

Белый решил оставаться в Иерусалиме до тех пор, пока не наступит хоть какая-то ясность: она просто

обязана была наступить в самое ближайшее время, Том должен был объявиться или тут, в пределах Храма, или там, в окрестностях Южнорусского Овчарова; прошли всего лишь сутки, слишком мало времени, чтобы принимать решения. Белый чувствовал, что надо подождать, и откуда-то знал, что ждать надо будет три дня; хотя, впрочем, никакой уверенности не было.

В Овчарове на вторые сутки отсутствия Тома как-то сама собой улеглась паника, и все резиденты «Синего Ары» также заняли выжидательную позицию, занимаясь кто чем: Влад и Захаров – работой, Соник – скотиной и холстами, Анна и Жмых съездили в районный ЗАГС, где от них приняли сразу оба заявления, на заключение брака и на развод.

- А чего время терять, - пожала плечами худая девица-чиновник, - всё правильно. Пока два месяца до свадьбы, заодно до развода тоже два месяца пройдет.

- А можно поскорее? – спросил Жмых.

- В смысле, сперва развод? – уточнила девица, - нет, это вряд ли, так еще никто не делал.

- Свадьбу, - сказала Анна.

- О! – сказал Жмых шепотом, - не думал, что вы так стремитесь связать себя узами брака.

- Я просто подумала, раньше сядешь – раньше выйдешь, - шепотом ответила Анна.

- Можно через месяц, - сказала девица, - но развод все равно через два.

- Мы согласны, - быстро сказал Жмых.

Анна промолчала.

- Не рекомендую вам менять фамилию, - сказал Жмых, когда они покинули административное здание, - не успеет надоесть.

- За месяц-то?! – воскликнула Анна, - да осточертеет она мне за месяц, но я не собираюсь.

- И правильно, - кивнул Жмых, - анахронизм, не имеющий отношения к действительности.

Сплетня о том, что владелица «Синего Ары» выходит за Жмыха, на какое-то время затмила деревенскую новость об исчезновении Тома, хотя последняя выглядела гораздо более замысловато: мы лично слышали в магазине «Березка», что Том пропал, когда помогал затаскивать чей-то шкаф в дом, и его

этим шкафом придавило, а когда шкаф убрали, никакого Тома под ним не оказалось, и даже мокрого места тоже не было – нормальное сухое крыльцо, ни крови, ни мозгов, ничего; был Том – и исчез, что вообще-то с ним не впервые, никуда не денется, найдется.

И Том действительно нашелся.

Но сперва он проснулся на чьей-то заброшенной даче и огляделся. Ночь он провел на каких-то старых тряпках, накиданных на древнюю железную кровать. Напротив кровати, правее окна, помещался стол, у стола – табурет. Том встал и подошел к столу. На столе стояли тарелки с остатками ночной трапезы, лишь водочный графин был абсолютно пуст. Том взял его и поднял к носу: из графина пахло водкой.

- Материализовал нормально, - сказал Том вслух, поставив графин на место, - ничего сложного. Эй?

Ответа не последовало. Голос, полночи учивший его правильно обращаться с идеями, теперь молчал.

- Спишь? – спросил Том, - ну спи. Я пошел. Пока.

И вышел прочь.

На дворе сиял белый день. Ветер стих. Том потянулся, крякнул, сделал шаг, запутался в траве-резуне, не удержал равновесия и со всего маху грохнулся оземь; последнее, что он увидел на гостеприимной даче – это обломки гнилых досок, падающие прямо на него. Первое, что он увидел в Иерусалиме – это свет в конце недлинного кривоватого и очень узкого туннеля; он пополз к свету, удивляясь, что к свету приходится ползти, а не лететь на большой скорости, как это делают все умершие. Потом он услышал над собой голос, но не тот, что кормил его на даче материализованным борщом, а совсем другой, хотя и знакомый:

- Ну наконец-то, - сказал голос, - вставай, разворачивайся и пиздуй обратно.

И чьи-то руки – кажется, их было аж восемь – подняли его с корячек, развернули на 180 градусов, вынудили снова встать на корячки и впихнули в туннель головой вперед. Все произошло так быстро, что Том, выпав из шкафа в доме Макса, успел сказать лишь слово «бля».

- Главное, оно работает! – говорил потом Белый,

- отлично все работает, и совершенно непонятно, почему с ним – Белый кивнул на Тома - такая заминка во времени вышла. Ты где был-то?

В «Синем Аре» пахло блинами, кофе и сигаретным дымом.

- Господа, - сказал Том, - я хочу сказать вам, что вы немножко звери. Почему вы лишили меня возможности осмотреть святыни древнего города? Я, можно сказать, столько ради этого претерпел. Душу почти продал. И я хочу знать, кому принадлежал голос, сказавший мне «пиздуй обратно».

- Том! – сказала Анна, - никуда святыни не денутся. Рассказывайте давайте, куда вы провалились.

- Это точно были не вы, Анна, - сказал Том, - я вам очень признателен.

В доказательство своих слов Том приподнялся со стула, взял Аннину руку, подтащил ее к губам и звонко чмокнул.

- Вы такая хорошая женщина, - сказал он, - я бы на вас непременно женился, если б не обет безбрачия.

- Да я тоже наобещала тут, - сказала Анна, - но спасибо. Так где вы были-то?

- На даче. Видимо, в Кипарисово, - подумав, сказал Том, - хотя, может, в Сиреневке. Но это все неточно.

- Что вы там делали?!

- Борщ ел. Картошку жареную. Котлеты. Сперва материализовал их идею, потом ел. Идею водки еще материализовал, это, кстати, нетрудно. Поначалу сложно, аж даже бесит, а потом, когда настроишься, легко. Я вас научу, хотите?

- А место вы сможете найти? – спросил Белый, - хотя чего я спрашиваю, вы же сказали, что даже не знаете, Кипарисово это было или Сиреневка.

- Не найду. Вышел, с крыльца шагнул, доски гнилые, хуяк и сразу «пиздуй обратно».

- Том, я обещаю, будет вам еще Иерусалим, - сказал Белый, - вот клянусь.

- Том, - позвал Тома молчавший до этого Соник, - а так что там за история с материализацией? Я читал о подобной практике, но никогда не думал, что это реально. Вы там, на той даче, были один?

- Можно сказать, что один, - ответил Том, - я ведь этого, который меня научил, так и не видел.

Во-первых, ночь. Во-вторых, он ведь прозрачный, как его увидишь? Прозрачный, как вода.

Соник кивнул.

С секундным запозданием кивнул Белый.

- Папа! – встрепенулся вдруг дремавший Ара, - Папа! Как вода. Как вода. Как вода.

Сюрприз

- Искусство должно быть бессмысленное и мимолетное, как бабочка, - сказал Соник, - а не как кирпич. Если как кирпич, то это ремесло, а не искусство. Ничего плохого, просто не искусство.

Любой посетитель кафе обомлеет, когда вновь вошедший посетитель внезапно, прямо от входной двери, выступит с программной речью. Посетители «Синего Ары» озадаченно смотрели ввысь, под потолок – там, в клубах теней и сигаретного дыма, терялось лицо Соника, пока он стаскивал с себя куртку. С куртки падали на пол сугробы снега. Шлёп. Шлёп.

- Соник, - осторожно позвала Анна, - вы сегодня выпивши, что ли?

- С чего вы взяли, – раздраженно ответил Соник.

- Ну, так. Просто вы не на машине.

- А, это, - Соник снизился и повесил куртку на кресло, в котором сидел Захаров, - погулять ногами захотелось.

Захаров поёжился.

- Хорошо, что вы сюда пригуляли, - одобрила Анна, - а то мало ли ям под снегом, вон как метёт, ни черта ж не видно. Один неверный шаг, и вы уже сами знаете где.

- Ну, там хоть не курят как лошади, - сказал Соник, - хотя не это главное, конечно.

- Так что там про искусство, которое не кирпич? – спешно подал голос Жмых, - не вижу проблемы пока что.

- Вы хоть бы окно приоткрыли, - проворчал Соник, - уже топор вешать можно.

- Соник, - сказала Анна, - Владыч уезжает.

- Куда?!

- В город обратно, - сказал Жмых, - Захаров сказал.

Соник посмотрел на Захарова, и все тоже посмотрели на Захарова.

- Да, - подтвердил Захаров, - уезжает, говорит.

- Почему?!

- Говорит, его здесь больше ничто не удивит.

- Это, Соник, он ваш выход не видел, - сказала

Анна, - так бы поди удивился.

Соник пропустил Аннину шпильку мимо ушей.

- Так он что, от удивления здесь жил столько времени?

- Ну, в какой-то мере мы все здесь от удивления, - сказал Жмых, - подзадержались.

- Ну, не знаю, - сказал Соник, - меня уже тоже мало что удивляет, сколько можно-то. Но есть же еще причины.

- Ну, с вами понятно, - сказал Захаров, - у вас хотя бы лошадь.

- И потолки 8 метров, - кивнула Анна Захарову, - где б он в городе такую мастерскую себе оторвал.

Жмых быстро глянул на Анну, но было поздно.

- Нафиг мне сдалась мастерская, - помрачнел Соник, - херня это всё. Вся жизнь на херню.

- Так, - сказал Жмых, - у нас тут, кажись, массовый экзистенциальный кризис. Эпидемия. А я говорил: надо, чтобы у каждого своя чашка была.

- Как в больнице, - сказала Анна.

- В инфекционной, - добавил Захаров и незаметно покраснел в полумраке: уточнение было лишним и прозвучало глупо. - Но, говорит, если вдруг чему-то еще удивится, то передумает.

- Господи, да чем можно удивить Владыча, - досадливо поморщилась Анна, - он даже на привидения не оборачивается уже года два.

- Говорит, всё одно и то же, одно и то же. Три раза в неделю работает дома. Три раза ездит в офис. Два раза в неделю ходит в «Ару». Дом, работа, кафе.

- Итого восьмидневка, - сказал Жмых, - но ладно, это мелочи. Нельзя Владычу в город. Надо его удивить. Как-то.

- Бесполезно, - сказал Захаров, - мы не всесильны. Если человек решил сгинуть, то непременно сгинет.

В наступившей вдруг невеселой тишине стало слышно, как копошится в перьях Арочка.

Первой не выдержала Анна.

- Так что же у вас произошло, дорогой Соник? - спросила она.

Соник колебался. Отчаянное понимание и неприятие херни хоть и не покинуло, но всё же

сделалось не таким острым, каким настигло его по дороге в кафе. Когда он шел пешком сквозь метель и ветер дубасил его по лицу ледяной доской, Соник в какой-то момент повернулся к нему спиной и шел так, пятясь, метров тридцать, поражаясь тому, как быстро исчезает под снегом пунктир его шагов. Мимолетная жизнь следов вдруг потрясла Соника своей трагической и в то же время спокойной красотой. «Вот так и надо рисовать, - подумал он, - чтобы никто никогда не увидел. И жить тоже надо так. Раз, и ничего не осталось». Поравнявшись с центральной овчаровской площадью, Соник свернул с дороги и ступил на гигантский белый лист. Сначала он вышагал пятнадцатиметровую стрелу с оперением на конце. Пока вышагивал наконечник, оперение уже приказало долго жить. Не обращая больше внимания на ветер, Соник вытаптывал и вытаптывал поверхность площади, и всё новые и новые символы исчезали на его глазах; последней была уточка, он уже начал уставать и наследил элементарную уточку, которая – о чудо – тут же превратилась в собственное исчезновение, в произведение искусства, – просто потому, что вот она была, и вот ее уже не стало, и никаких доказательств того, что она существовала, тоже нет. «Так и надо, - подумал Соник, - следы на песке, рисунки на пыльном лобовом стекле, уточка на снегу, всё правильно. А остальное – херня».

- Да, в общем, по сравнению с отчаливанием Владыча, ничего, - ответил Соник, - так, один академический мудила мою выставку похвалил. Это неприятно.

- Ясно, - сказала Анна, - кофе сварить?

- Сам сварю, - буркнул Соник, - вы опять забудетесь и сливок бахнете.

- Сливок нету, - сказала Анна, - кончились.

- Какая незадача, - Соник взял кофемолку и насыпал зёрен, - а я как раз со сливками хотел.

Удивить человека, который ничему не удивляется, можно двумя способами: первый, самый простой - это даже не пытаться его удивить. Человек, который перестал удивляться знает о том, что его постараются удивить, удивится именно пассивности окружения, которое ничего не предпринимает, в то время как

должно уже – если уж не из шкуры вылезти от усердия, то хотя бы сделать вид; иными словами, проявить заинтересованность. Но против Владыча этот способ мог и не подействовать; Владыч мог и вовсе не заметить, что никто не старается его удивить, - поэтому было решено не рисковать. Второй вариант был более трудозатратный, но и более верный: всё же удивить Владыча, но сделать это одним-единственным метким ходом, с первого раза, который станет и последним, не насторожив дичь, потому что предупреждён – не удивлён.

Но ничего удивительного не приходило в головы синеаровских завсегдатаев: как ни напрягали они воображение, получалось либо неудивительно, либо невозможно. Так, например, было забраковано предложение Захарова нанять РЖД и быстро, за одну ночь, проложить рельсы по Суханке: смотри, Владыч, что делается, на Суханке товарняк стоит. Улетела в корзину и довольно логичная в этом контексте идея Анны, придумавшей было нарядить полдеревни партизанами и подорвать суханскую железную дорогу вместе с товарняком. Жмых предложил купить в Казахстане тридцать верблюдов и, пока Владыч на работе в городском офисе, высадить их в санатории уставших ангелов, на который выходят окна владычева дома: Владыч приедет, нихера не увидит в темноте, а утром сядет пить кофе на подоконник, глядь, а за окном стадо верблюдов. «Нет, - сам себя опротестовал Жмых, - во-первых, ничего удивительного, а во-вторых, что мы с ними потом делать будем, с тридцатью верблюдами».

- А в-третьих, - сказала Анна, - пока мы их купим, пока ветеринарные справки, пока они приедут, Владыч уже городской во всю.

Последовательно отказались от мысли заменить верблюдов зебрами, павлинами и японскими снежными обезьянами, которые, безусловно, разбредутся по деревне и натворят бед. Вяло пообсуждали, не сделать ли на территории ангельского санатория вертолетную площадку и не посадить ли туда арендованный у вояк Ка-52; но, во-первых, после поезда на Суханке эта идея уже не выглядела свежо, а во-вторых, соседство с вертолетной площадкой могло отбросить Владыча от Овчарова еще быстрее и дальше, чем надоевшая ему

стабильность.

Три вечера подряд собирались в «Синем Аре» Жмых, Захаров и Соник; просиживали до поздней ночи, вбрасывали в воздух предложения – и дикие, и с первого взгляда заманчивые, и совершенно неприемлемые в виду их деструктивности – всё было мимо, всё было не то. Уже Арочка научился вставлять в паузы словосочетание «этим не удивишь» и, почему-то – (и гораздо чаще) единожды сказанное Жмыхом «ты еще предложи источники отравить».

- Может, дом Владыча незаметно перекрасим в сиреневый? – как-то мимоходом сказал Соник.

- Ты еще предложи источники отравить, - парировал гиацинтовый ара и, в сущности, был прав, как признали участники собрания.

Усталость от генерирования бессмысленных идей постепенно овладевала посетителями кафе и его хозяйкой, но никто не был готов сказать: «всё, я пас, пусть катится в город, если хочет». Просто стали отвлекаться на посторонние разговоры.

- Мне выставку вывозить завтра, - сказал Соник, - а я не хочу. Всё это говно продажное.

- Тааак, - сказал Жмых, - окей. Так вы, Соник, возьмите и не продавайте. Будет непродажное.

- Не могу, - вздохнул Соник, - у меня карма такая: всё продаётся, что ни накрашу. Всегда найдется, кто купит.

- Да ладно, - усомнилась Анна, - а если накрасить и никому не показывать?

- Это мечта, - ответил Соник, - мечта и идеал. Но всё равно продам. Сам не замечу, как уже всё продано. А потом новое накрашу и опять продам.

- Так, - сказал Захаров, - давайте вы потом накрасите и в лес утащите, к медведям и кто там еще живёт. Лоси у нас есть тут?

- Не здесь, - ответил Соник, - лоси подальше к северу. Здесь леопарды, лесные коты и тигр может быть. Придут, обоссут.

- А вам что за беда, - сказала Анна, - ну, обоссут. А лось забодает. А медведь помнёт. Главное, никто из них ничего у вас не купит.

- Ты еще предложи источники отравить, - сказал Арочка.

- А это мысль, - сказал Соник, - не источники, а в лес отвозить. Вот прямо с выставки в лес, там еще половина не распродана.

- Нормальная идея, - поспешно похвалил Захаров, - давайте дальше про удивительное говорить. Времени мало у нас. Спать охота. На работу завтра.

- Давайте, - согласился Жмых и закрыл глаза.

Соник и Анна кивнули молча. Ни у кого больше не было сил шевелить мозгами и языком.

- Соник, - сказал Захаров минут через десять, и Жмых, проснувшись, вздрогнул.

- Соник, - сказал Захаров, - а вот ты бы чему удивился?

- Мммммм, - сказал Соник, - ну, если бы лось у меня картину в лесу купил, удивился бы, конечно.

- Ну а еще?

- Не знаю. Я думал об этом, конечно. Есть одна вещь, но я не знаю, на Владыча не подействует, наверное. Да и, если честно, дурацкая вещь эта.

- Так, - сказала Анна, - секунду. Сейчас я кофе сварю.

Когда кофе был разлит по чашкам, Соник продолжил:

- Я так подумал. На свете правда не очень много удивительного. Мозги со временем всё начинают принимать как норму. Или хотя бы как вариант нормы. Мертвец идет навстречу? – фигня, смерти нет, а иди разберись в отношениях, какие там у души с туловищем. Всяко может быть. Вот, например…

- Соник, не отвлекайтесь, - сказал Жмых, - ближе к делу.

- Да-да. Ближе к делу. Дом исчез, который стоял вон там еще вчера, а сегодня его нет, но завтра он опять на месте? – бывает и так.

- Этим не удивишь, - сказал Арочка.

- Не удивишь, - подтвердила Анна.

- И вот я выхожу вчера из машины, закрыл ее и ключ выронил. Смотрю за ним наклониться и вижу, спичечный коробок. Валяется такой. Рядом с машиной. И я ему удивился, представьте. Не сильно, но удивился. Сто лет не видел спичек, всё время зажигалки. А он валяется. Вроде знакомая вещь, но совсем чужая. Как

будто время назад, что ли.

Соник замолчал, но все понимали, что продолжение следует.

- И я подумал, - сказал Соник, - что совершенно бы охренел, если бы коробок был точно такой же, обычный, просто другого размера. Не с книгу, такие были тоже, а, например, с чемодан.

- Так-так-так, - проговорил оживившийся Захаров.

- Оппа, - сказал Жмых.

- И боковушка чтоб у него была в следах от спичек, да? – сказала Анна, - что им пользовались, из кармана выронили недавно?

- Да, не новенький коробок, - подтвердил Соник.

- Я бы спятил от удивления, - сказал Жмых.

- Я бы спятил, если бы размером с машину, - сказал Захаров.

- В таком слишком заметна нарочитость, - возразила Анна, - а с чемодан если, то как будто просто сдвиг реальности.

Клеить царь-коробок назначили на послезавтра, потому что следующий день был занят исходом Сониковой выставки в лес, чтобы ее там обоссали тигры и дальневосточные леопарды. Помогал ему только Жмых. Сперва хотели просто раскатать громадные колбасы Сониковых полотен по снегу, но таких ровных и крупных полян не нашлось; пришлось крепить к стволам деревьев, но, правда, только горизонтально: на высоту семь метров от снега ни Жмых, ни Соник лезть не пожелали.

Владыч не планировал заезжать в «Синего Ару», но случилось нечто непредвиденное, а именно - гости. Совместный проект его фирмы с английским бюро породил визит двух британских архитекторов, один из которых страшно рвался в taiga, а второй из вежливости интересовался побывать в derevnya с неподвластным языку названием, длинным как перелёт с запада на восток. Поэтому приглашать в Овчарово Владычу пришлось обоих, и обоим же демонстрировать сперва деревенский быт, отличающийся от городского в скучную сторону, и обоих же везти в расположенную неподалёку taiga, где и гости, и приглашающая сторона сперва долго шли по твердому насту, а затем провалились в

снег по пояс, скатились в овраг вместе с небольшой лавиной, кое-как выбрались наружу и, пройдя не более сотни метров, очутились на опушке, сплошь увешанной художественными полотнами. Владыч покачнулся, но устоял на ногах.

- I don’t know why, - переведя дух, объяснил он зарубежным коллегам, - but I know who.

- I want to buy everything, - выдохнул тот, кто интересовался taiga, - it is amazing.

- I do too, - сказал тот, кто пошел в taiga из вежливости, - it is absolutely genius.

- Соник, - сказал Владыч, вваливаясь в кафе, - привет всем! Соник, я чуть не сдох в лесу! Это вообще-то неожиданно было, знаешь! А эти ничуть не удивились, прикиньте? Как так и надо – ну, картины в лесу, нормальное дело, очень красиво, перфоманс с инсталляцией. Гениально, говорят. А что вы делаете?

Соник, Анна, Жмых и Захаров сидели за столом, на котором, выступая за габариты столешницы, громоздился каркас картонного параллелепипеда.

К Жмыху речь вернулась первому.

- Кто «эти»? – спросил он.

- Да, покупатели, - сказал Владыч, - я Сонику покупателей привез, прям из леса, англичане, сейчас приведу, они снег отряхивают. А что вы делаете-то?

Соник почесал переносицу ножницами, дождался, пока у Захарова и Жмыха кончится смеховая истерика и ответил честно, потому что все равно не смог бы придумать альтернативную версию наскоро:

- А мы тут спичечный коробок тебе клеим.

Александра Зволинская

Пульс есть

— Я только что-нибудь маленькое умею чинить, — говорит Валерка жалобным голосом, и я понимаю, что он бы очень хотел уметь больше.

Мы все бы хотели.

Тяну на себя калитку, осторожно, чтобы не заскрипели ржавые петли. Иначе услышат, окликнут, спросят, куда — а что им скажешь? Я всегда говорю, что гулять, или что к Юльке. И то, и то — правда, конечно, но не та, которая на самом деле, всерьёз. Ту, которая всерьёз, никому не расскажешь. Не знаю я, как её говорить.

Валерка крадётся следом за мной. Мы прикрываем калитку так же тихо, как открывали, и сначала шагаем на мягких коленях, а потом сворачиваем в ворота соседних дач, и там уже, по траве, начинаем бежать. Трава глушит шаги, прощает нам, что мы её мнём, выправляется за спиной, как ни в чём не бывало.

Мы хотели бы быть как трава.

Но мы скорее как ветер.

Валерка из нас самый младший, я вообще не ожидала, что он к нам придёт.

Кому не надо, тот не приходит, а Валерка всегда был, как будто ему не надо.

У всех обычно по две бабушки, а у Валерки одна, и она у нас общая: Валерка — сын моего дяди, и на лето нас к баб Томе отправляют обоих. Я ещё иногда езжу к другой бабушке, но она живёт далеко, нужно долго ехать на поезде, у мамы не каждое лето получается меня отвезти. Да я и не против: у баб Томы, здесь, моё место, а там, далеко, не моё. Красивое, но чужое.

Валерке всегда было всё равно, он городской, дачу не любит, любит, чтобы компьютер и мультики, ну максимум двор с качелями, и то уже много. Всё предыдущее лето он даже с участка не выходил. Сидел в доме, играл в приставку, которую притащил с собой, на

меня смотрел хмуро, на бабушку — робко, уехал в конце июля: родители не выдержали нытья и забрали.

Мы с баб Томой пожали плечами обе, вздохнули и разошлись по своим делам: она — к саду, помидорам и книжкам, я — тоже к книжкам, другим, а ещё к ребятам.

У нас с ребятами есть важное дело, его нельзя оставлять надолго. И так после каждой зимы приходится начинать чуть ли не заново.

Этим летом мы учимся ходить по канату.

Канат притащила Юлька, она мастер выпрашивать у родителей то, чего никому бы другому из нас не купили, а ей — запросто. И день рождения у Юльки в мае, как раз перед летом, так что «дачные» подарки кажутся взрослым логичными и полезными. Пусть, мол, дети играют, хорошее дело.

А нам-то что.

Мы натягиваем канат у Юльки за домом, у неё там есть такое специальное заросшее место, где вроде ещё участок, но уже почти лес. Далеко ото всех окон, от дороги и от людей. За разросшимся чубушником и высокой травой нас ниоткуда не видно.

Когда дождь, канат лучше снять, но дождей этим летом мало, так что мы его только подтягиваем каждое утро, чтобы не провисал.

Натянуть так, чтобы вибрировал от прикосновения, поставить босую ногу на широкий оранжевый трос, сказать первое слово. Не кричать, не шептать, громкость должна быть такая, чтобы услышали те, кто со мной — ребята мои и ещё.

Валерка долго не мог уловить высоту этого звука, а когда наконец нащупал, заговорил так, что у всех у нас каждый раз бегут от него мурашки.

— Я хочу, чтобы всё стало целое, — говорит Валерка и встаёт на канат. Одна нога, шаткий миг, взмах руками, вот и другая встала. Дальше нужно идти, и нести, и не наступать на землю так долго, как сможешь. Чем дольше, тем больше времени слова останутся в силе.

Первый раз, когда Валерка попросился со мной, я его не взяла.

Покрутила пальцем — ты, мол, что ли, ку-ку, где ты меня видел, какой-такой канат, нет никакого

каната. Он шмыгал носом, сопел в спину, говорил, что он видел и ему надо, но я убежала, а он за мной не пошёл.

Пришла к ребятам, рассказала Юльке с Серёгой, они неуверенно моргнули и сказали, что лучше подождать остальных.

Остальные — это у нас Тоха и Соня, они живут дальше всех, на другом конце дач, у них обоих вместо бабушек всё лето мамы, и отпускают они неохотно. Дают кучу заданий: смородину собери, математику порешай, варенье варить научись, посуду помой, нечего болтаться без дела. Так что Тоху и Соню мы всегда ждём и часто не дожидаемся, а без них такие важные решения принимать нельзя.

Пока ждали, у меня в голове всё звучала фраза: «Я только что-нибудь маленькое умею чинить», Валеркиным голосом, и дальше что-то про «но мне очень надо». И дальше ещё — бабушкин сад, который этим летом бушует как никогда.

— Даже картошка заколосилась, — смеётся бабушка, довольная урожаем.

Ей важно, чтобы после лета детям можно было выдать по несколько банок закруток, и себе чтобы осталось — это тоже будет выдано детям, но попозже, зимой. Сама баб Тома за зиму съедает полторы банки варенья из чёрной смородины и пару баночек кабачковой икры, а все огурцы, помидоры, компоты и соки раздаёт детям-внукам, такой у неё способ любить. Я чувствую эту её любовь, и травяной запах от банок щекочет мне нос, передаёт приветы от спящей нашей земли, общей, любимой. Бабушкины закатки никогда не доживают до начала нового лета, но в этом году всего столько, что я добровольно иду собирать. Обычно меня ещё пойди загони, скучно же.

«Я только что-нибудь маленькое умею чинить», и мы с Валеркой собираем смородину в четыре руки вторую неделю, а её как будто не убавляется.

«Я только что-нибудь маленькое умею чинить», чёрт, как это я прошляпила? Привыкла, что нечего там смотреть.

Подрываюсь, бегу обратно, только бы он не успел разозлиться всерьёз, иначе хана баб Томиной хвалёной картошке.

У нас уже было одно такое лето, когда «целое»

означало, что всё растёт, как безумное, тогда на всех дачах так было, а мы ещё даже канат не достали, ходили по трубам у водокачки. Трубы были короткие и скользкие, особенно вечером, но это совсем не мешало. Сидели потом на этих же трубах, а они чуть вибрируют от воды, и кажется, что это целое идёт через них, чтобы попасть туда, куда ему сейчас нужно.

Я тогда решила за всех. Привела Валерку, поставила на канат, и ребята начали корчить мне рожи: ты что, мол, совсем, он же трепаться будет. Но Валерка сказал слова и пошёл, и целое стало такое, что даже Серёга больше ни разу не возразил, а Серёга большой любитель.

Нас долго было пятеро, мы как-то случайно все собрались. Взрослые говорят, рыбак рыбака, вы просто все хулиганы, вот вы и спелись. Мы киваем, мол, да, конечно. Каждое лето хотя бы раз кто-нибудь да приходит жаловаться, что мы таскали их яблоки или обрывали крыжовник, но кто же им виноват, что яблоки и крыжовник так заманчиво свисают из-за забора (или растут к нему непростительно близко, а между рейками как раз пролезает рука) и никто их не собирает. Один раз мы, конечно, совсем по-дурацки попались: поздно вечером гуляли по дачам, подобрали у одного забора несколько падалиц, а они такие вкусные были, сладкие невозможно. Смотрим вверх — висят, заразы, но высоко, просто так не достать. Посадили Юльку, самую лёгкую, Серёге на плечи, она нам рвала, кидала прямо вниз, в руки, но мазала иногда. Яблоки рассыпаются, нам смешно, мы шепчемся, хихикаем, ну видно и разбудили хозяина. Оказалось, окно спальни было ровно напротив. Свет зажёгся, Юльку узнали (у кого вкусные ягоды близко к забору, те нас отлично знают), наутро пошли к бабушке жаловаться.

С Валеркой стало… иначе.

Нам как будто передалось это медлительное спокойствие. То, которое раньше держало его взаперти, а теперь почему-то вылилось через край и сделало его уметь целое — до сих пор гадаю, как так получилось, что я раньше не видела.

Обрывать соседские яблоки мы, конечно, не перестали. Благо, на дворе середина августа, самое время. Наши любимые сладкие-сладкие и высокие маняще

белеют на ветках, канат рыжеет за высокой травой у Юльки в саду, и я не знаю, кому из нас первому пришло в голову, но как будто всем вместе: в августе нужно обязательно делать бусы из ягод. Взять длинную нитку, нарвать рябины, черноплодки, яблоки порезать тонкими прозрачными ломтиками, придумать, что ещё такого можно сорвать и сушить. Повесить потом у печки, у нас с Валеркой как раз есть печка, бабушка топит её, когда ночи становятся похолоднее, вчера вот первый раз за лето топила.

Высушить, нашептать на них важного и дарить.

Тому склочному деду, у которого сладкие яблоки.

Тохиной маме: она часто плачет по ночам, когда думает, что никто не слышит.

Валеркиной бабушке, той, второй, с которой они не совпали по времени — это он сам попросил. Говорит, что один не сможет, не умеет чинить такое большое, а вместе с нами, может, получится. Говорит, она иногда снится ему, грустная, молодая, гладит по щеке, просит передать маме, что очень скучает. А как такое передавать?

— Может, сделаем бусы для них обеих?

Юлька всхлипывает, Серёга кивает, Тоха вертит в руках травинку и совсем не смотрит на нас.

— Сделаем, — отвечаем за всех мы с Соней, и у меня в горле ком от того, что, кажется, настолько вместе мы не были ещё никогда, даже вокруг каната.

Самым сложным оказалось придумать, что бы такого интересного ещё туда запихать. С рябиной и черноплодкой понятно, с яблоками вроде как тоже — собрали упавших сладких, они не только самые вкусные, но ещё и самые наши. А дальше?

Облепиха? Калина? Груша?

Грушу не стали, она плохо сохнет, облепихи нашли всего один куст, и тот за забором, нарвали, сколько смогли дотянуться, но оказалось немного. Калина никого не вдохновила, слишком злая и горькая. Ей плеваться хорошо через трубочку, ягоды тяжёлые, далеко летят, больно бьют, но на бусы мы калину забраковали.

Пробовали ромашку и пижму, и пижма в основном развалилась, маленькая и хрупкая, а ромашка ничего, держится.

Пробовали шиповник, но от него нужно брать только самые лёгкие ягодки, большие делают бусы тяжёлыми и ломают всё равновесие. Мы и так кучу ниток порвали, не сразу додумались, что нужно складывать их в несколько раз и брать большую иголку.

Три дня носились туда-сюда, сидели по вечерам у нас с Валеркой на кухне: бабушка, когда будни и родителей нет, пускает нас, а сама уходит читать.

Бусы для Валеркиной второй бабушки собирали все вместе, по кругу. Брали из кучи посередине стола, что понравится, продевали, передавали дальше другому. Юлька смущённо улыбнулась и достала из кармана крохотный колокольчик: это, мол, чтобы идти на звук. Колокольчик тоненько тренькнул, пока она надевала его на нитку, Тоха кивнул, Валерка закашлялся, колокольчик тренькнул ещё раз и замолчал.

— Я хочу, чтобы всё стало целое, — хором говорим мы, когда становится ясно, что бусы услышали всё, что мы надеялись через них передать.

Валерка осторожно поднимается и выносит их на крыльцо, подышать звёздной ночью.

Это были последние бусы, остальные мы уже сделали. И все начинают ёрзать, и я ставлю чайник, и кто-то находит пакет с печеньем, припрятанный до после всего, а мы, оказывается, страшно голодные, и это самое вкусное печенье на свете, песочное с шоколадом.

Ещё потом мы осторожно собираем все бусы и идём вешать их возле печки, и возле печки сухо и пряно — баб Тома сушит там чабрец, мяту и яблоки.

Развешиваем так, чтобы каждая нитка висела отдельно, не касаясь других. Молчим торжественно, слушаем, как трещит огонь в печке.

— Я хочу, чтобы всё стало целое, — шепчет Валерка и первым уходит обратно на кухню, и сразу на улицу, бросив через плечо короткое «щасвернусь», которое обычно означает у нас поход «в дом раздумий», но сейчас мы все чуем, что ему просто нужно побыть одному, и идём заново ставить чайник.

Возвращается Валерка, мы ещё немножко сидим, а потом становится пора провожать Соню домой, и мы выходим под звёзды. Ночи уже ледяные, но звёзды яркие-яркие, и к положенным Соне десяти часам мы, конечно, не успеваем. Хором просим Сонину маму её не

наказывать, потому что это мы виноваты, похитили её, как марсиане, скоро лето кончается, ну пожалуйста, не ругайтесь.

Сонина мама вздыхает, смеётся, обещает не ругать и даже отпускает пройтись с нами ещё пятнадцать минут.

— Действительно, лето же уже почти кончилось.

Вздыхает опять, уходит в дом, выносит нам по конфете, кивает на калитку: идите, мол.

И мы идём, у нас есть целых пятнадцать минут яблок и звёзд, ощущения целого, ощущения, что у нас один на всех пульс — общий, он есть и он такой громкий.

Провожаем Тоху, провожаем Соню, провожаем Юльку с Серёгой, они живут совсем рядом, через забор друг от друга. Провожаем лето, идём с Валеркой тихо-тихо рядом по замершим в тишине дачам, настолько умаялись, что даже яблоки ни у кого не рвём.

— Валер, — хрипло говорю я. Не знаю, как это сказать, знаю, что сказать обязательно нужно. — Если не получится с бусами, мы следующим летом что-нибудь другое придумаем.

— Спасибо, — откликается мой брат по крови, звёздам и яблокам. — Придумаем, конечно. Хотя мне кажется, что всё уже получилось.

— Утром расскажешь, что снилось, да?

— Ага, расскажу.

Не отвечайте ему

Вот как стемнеет, и начинается.

Ходит, шаркает, в окна стучит, бормочет.

Если никто не выходит, начинает стучать ещё громче.

Не представляю, как с этим справляются жители первого этажа — у меня на моём четвёртом мороз по коже. Сначала ещё была надежда поспать, но ночи идут, и он идёт вместе с ними.

Шарк-шарк, шурк-шурк. Туда-сюда, туда-обратно.

Изо всех сил желаю ему наконец-то споткнуться, а ему нипочём.

Сначала пытались разговаривать по-хорошему. Оставляли в блюдечке молоко и печенье, двор подмели, бумажки рекламные в подъезде собрали, коробку для них поставили, чтоб не бросали на пол.

Думали: может, он как домовой — возмущается, что непорядок.

В ответ получили злорадное ночное кряхтение и звон разбитого стекла на детской площадке. Утром проверили: никаких осколков, даже целых бутылок, банок, стаканов, следов — ничего, пусто.

Потом думали: может, ему поговорить надо?

Писали мелом на асфальте, через полчаса приходили — всё стёрто. Один раз ради спортивного интереса всю ночь с соседом на пару возле этой несчастной надписи просидели. Пялились на неё, как идиоты, а только отвернулись на пять минут каждый в свой телефон — глядь, и пусто.

Зато пока сидишь всю ночь во дворе, он вроде бы посмирнее. Ну то есть, мы целую неделю так думали.

Дежурили по двое, чтоб не было жутко, весь дом хоть выспался наконец-то. А заодно и перезнакомились, пока составляли график дежурств. У нас двор большой, четыре дома стоят квадратом, в каждом по шесть подъездов, а этажей — от девяти до двенадцати. Даже если считать только взрослых мужчин, смен хватит надолго, вполне можно жить.

Думали, нашли наконец-то управу. Радовались, как дети.

Пока Колька из двадцатой квартиры прямо на

глазах напарника не пропал.

Ну то есть как на глазах.

Напарник его по дежурству, Валера из второго подъезда, что-то там ему философствовал за жизнь, лёжа на лавочке, Колька кивал, тоже рассказывал. Валера расслабился — ночь тёплая, чай из термоса тоже тёплый, разговор такой задушевный, лавочка даже мягкая, если куртку на неё постелить. Расслабился, закрыл глаза, вещал себе дальше, не сразу заметил, что замолкли Колькины «ага» и «угу».

Подорвался — а никого.

Пустой двор, окна не горят, фонари горят как обычно, на улице ни души. Колькин термос стоит, из крышечки дымится горячий чай, рядом лежит телефон, пачка сигарет, зажигалка.

Утром нашли его — в смысле, Валерку. Бродил по двору, бормотал невнятное, но больше просто мычал и тряс Колькиным телефоном.

Заявление в милицию о пропавшем без вести написали, только оно тоже пропало — по крайней мере, именно так говорят, если звонишь узнавать. Нет, говорят, никакого дела, о чём вы? Шесть раз подавали, все шесть раз такая история.

Больше по ночам никто не дежурит, страшно.

***

Не знаю уж, у кого в какой момент начинает съезжать кукушка.

Моя держалась довольно долго, за это спасибо берушам. Через них стук, шаги и кряхтение слышно всё равно, но как через вату, и к этому можно привыкнуть, если очень сильно хочется спать. А через месяц спать хотелось чудовищно.

Судя по тому, что запасные найти не вышло — во всех окрестных аптеках закончились, — помогали беруши не только мне.

Если сильно хочется спать, засыпаешь в любых условиях, только сон, который получается в результате, идёт не очень-то впрок. То есть да, песок в глазах превратился в шарики гидрогеля и перестал так адски царапать, и в виске уже не режет, а просто стучит. Но ещё через пару недель такого режима я просыпаюсь от пятого за ночь кошмара и понимаю, что

больше так не могу.

Внизу, как всегда, шаркает и бормочет. И ладно бы в каком-то понятном ритме, чтобы к звуку можно было привыкнуть и перестать замечать. Так нет же, только начнёшь фильтровать, он вдруг возьми и завой — высоко так, протяжно. Музыка в наушниках на полную громкость от этого воя и то не спасает, он как будто ловится сразу на челюсть, вибрирует в костях и пересобирается уже внутри головы обратно в протяжный вой. Недавно придумали наушники, которые работают как раз по такому принципу, я как-то попросил ради интереса у друга попробовать. Слушал минуты две, а потом целый день ходил с такой сильной мигренью, какой у меня не бывало вообще никогда. Думал, мозг сейчас вытечет через уши, а ничего, обошлось. Пообещал себе больше никогда так не делать, но кто же знал?

Дня четыре назад кряхтение вышло на очередной новый уровень (мы думали, что все уровни уже пройдены, но не тут-то было).

Раньше шумело только снаружи, и большая часть настоящего ада доставалась жителям первого этажа. Но к началу второго месяца все, кто мог, сбежали с первого жить по родственникам и гостиницам, на четыре дома остались две глухие бабули и один алкоголик средних лет в таком состоянии, что никакие внешние ужасы ему уже не мешали.

А этому, с улицы, поди ж ты, публику подавай. Без публики он не может.

И чем дальше мы забиваемся вглубь квартиры, тем ближе он подходит к двери.

Я просыпаюсь от пятого за ночь кошмара.

Лежу в темноте, слушаю, как завывает внизу. Ощущение, что просто уже наконец рехнулся, разучился отличать, что реально, что нет. Мы столько раз просили о помощи, звонили в скорую и милицию, пожарным и даже газовой службе — мало ли, вдруг у нас тут авария, все отравились и на этой почве тронулись головой.

Приезжали, смотрели, слушали. Мерили загрязнение воздуха специальным прибором, мерили давление глухим бабушкам и алкоголику с первого, особо активным кололи успокоительное, остальным

прописывали настойку пустырника.

И уезжали.

Уж не знаю, что они там писали в своих отчётах, но через пару недель на вызовы приезжать перестали. Не только газовики и скорая — вообще все. Трубку берут, проблему записывают, обещают выслать машину — и всё, тишина.

На пару минут завывание умолкает, и я уже было радуюсь, что успею заснуть: мне сейчас для этого очень мало времени нужно.

И почти успеваю, остаётся самая малость, чтобы сознание наконец отключилось и спрятало меня от всего.

В дверь стучат.

Сильно стучат, ногами.

Я вроде и знаю, что лучше не подходить, но, как заколдованный, иду заглянуть в глазок.

На лестничной клетке горит тусклая лампа дневного света, и наш не самый чистый подъезд она, безусловно, не красит. Но из живых под ней — никого.

Пусто, я вижу это собственными глазами.

И собственными ушами слышу, как из этого «пусто» в мою дверь опять что есть силы стучат.

Ручка двери начинает быстро-быстро нажиматься вверх-вниз.

В глазке вместо лестничной клетки — темень.

С тех пор, как скрести и стучать стало в подъезде, по соседям поползли холодные шепотки. Мол, если открыть тому, кто стучит, тут же упадёшь замертво. В угловом подъезде так уже два человека погибло. Скорая, мол, констатировала сердечный приступ и увезла. Кто, мол, хочет быть следующим?

Следующим я быть не хочу.

Но в угловом подъезде живёт мой друг Генка, мы учились с ним в школе и вместе ходили на волейбол, а теперь чуть ли не каждое утро треплемся на автобусной остановке. Он — с солидным чёрным офисным чемоданчиком в руках, я — вынув наушники и даже поставив в них на паузу хэви метал.

Генка говорит, не было у них никаких приступов и никаких скорых. А было, говорят, как раз в нашем подъезде и даже на моём этаже.

Ещё Генка говорит, что не так уж плохо нам сейчас и живётся. Он вот на работе по дэ-мэ-эсу сходил к неврологу, взял рецепт на таблетки — «ничего такого, просто снотворное», — и почти что нормально спит.

Я смотрю на Генку и думаю, что следующей фразой он посоветует, что от нервов нужно слушать не хэви-метал, а медитацию.

Генка советует.

Я втыкаю свой хэви-метал обратно в уши.

Ручка двери продолжает нажиматься вверх-вниз.

Стучать перестали, теперь только скребутся и воют на противной плаксивой ноте. Так кошка возмущается, когда человек не пускает её с собой спать.

Кстати, а это мысль.

Иду на кухню, открываю ящик комода. Второй сверху, под ящиком для столовых приборов. Ощупью нахожу там пакет с круглыми свечками, их ещё называют «таблетки» за форму и белый цвет.

Зажигалку даже искать не нужно, точно знаю, где она.

Подсвечник-фонарь со стеклянными стенками на кухонном подоконнике как будто всегда только этого от меня и ждал.

Зажигаю свечу, ставлю внутрь фонаря, закрываю дверцу. Пламя дёргается, но остаётся гореть.

Зажигалку и запасные свечи рассовываю по карманам домашних брюк, кладу в блюдце ложку сметаны, ставлю блюдце на пол на кухне.

Беру фонарь, подхожу к двери.

Выть перестало, теперь только ходит туда-сюда, шаркает и вздыхает.

Я не знаю, у кого когда начинает съезжать кукушка.

Но мне кажется, что моя ровно в этот момент первый раз с тех пор, как это всё началось, наконец-то вернулась на место.

Открывая дверь, я представляю кошку.

Маленькую трёхцветную кошку, которая просто очень хочет есть и домой.

Кошка мявкает, трётся тёплым пушистым боком, переступает порог и уверенно идёт в сторону кухни.

Я переступаю порог в противоположную сторону, спускаюсь по лестнице, жму на кнопку, рывком открываю дверь.

Ночи уже прохладные, но ещё не холодные.

Накинутой в последний момент куртки должно хватить, чтобы не вымерзнуть до рассвета.

Ставлю фонарь на бортик песочницы на детской площадке, охлопываю карманы — зажигалка и запасные свечи на месте. До утра уж точно должно хватить.

***

Компания у меня появилась уже на вторую ночь.

Девчонка.

Света, из дома напротив.

Ей сегодня в дверь не стучали, только внизу, у подъезда. А когда вышла, увидев мой огонёк, всё сразу стихло.

Про Кольку мы знали оба — вряд ли кто-то не в курсе — и на всякий случай попросили друг друга помочь, если что. Она — поливать цветы, я — кормить кошку. Странно потупились на просьбе оба, я решил на всякий случай не спрашивать.

За час до рассвета в ту же ночь пришли ещё двое. Муж и жена, с собакой.

На следующую нас с огоньками было уже тридцать пять человек.

Шарканье и бормотание совсем не исчезли, но стали заметно тише.

Мы слышали его, все, кивали друг другу — да, мол, вон он, опять пришёл.

Сначала молчали, потом стали шикать, мол, что ты разговаривать мешаешь, уйди.

Ещё потом пришёл кто-то с гитарой и стопкой распечатанных песен, и по законам природы уже на нас должны были начать шикать из окон.

Но из окон молчали, из подъездов стали выходить новые люди со свечками и огоньками, а на моём подоконнике отчётливо забелелась трёхцветная кошка

(белый у неё был всё-таки основной цвет).

Через неделю спать стало можно уже без беруш.

Через три встреченный на утренней остановке Генка извинился за хэви-метал и сказал, что значение медитации в мировой культуре явно переоценено.

Кошка каждый вечер встречала меня на пороге, повадилась скрестись прятаться в шкаф с футболками и начала отзываться на Машку.

Ходить, шаркать и бормотать во дворе продолжало ещё какое-то время, но так тихо, что гитарный кружок перекрикивал его на раз-два.

От любого шороха за дверью квартиры я всё ещё сначала вздрагиваю, а потом уже одёргиваю себя и иду открывать: скорее всего, это Света принесла почитать книжку, которую обещала, или Генка откопал у себя в антресолях очередной классный альбом.

Один раз, правда, открыл, а там никого. И тут же мурашки забегали по спине, а где-то внизу на лестнице, у подъездной двери, неприятно знакомо забормотало.

Я не вполне могу описать тот звук, с которым подошедшая кошка ответила этому бормотанью, но с тех пор окончательно совершенно нормально сплю.

Потому что всё самое страшное в этом доме определённо уже перешло на мою сторону и теперь мурлычет каждое утро в лицо: вставай, мол, эй, ты, всё хорошо, я проверяла.

И сметану, сметану иди уже доставай.

Как сюда добраться

Бабушка говорит:

— Не выбрасывай косточки, из них потом будет роща.

Подставляет ладонь, я кладу в неё серединку от персика со сладкими остатками мякоти. Бабушка промывает её под краном и добавляет к горке тех, которые уже есть: в основном абрикосовые, их сейчас много, сезон.

Из апельсиновых, зимних, роща уже подрастает. Она пока что в горшке, вернее, в горшках, двух — из всех косточек взошли только две. Мы решили, что всё, что не один — уже вполне себе роща, особенно если из апельсинов, и забрали её на дачу. Не оставлять же рощу без присмотра до осени.

Я не хуже бабушки помню не выбрасывать косточки, но нам обеим нравится раз за разом повторять — “будет роща”, будто и растёт она наполовину из этих слов, и только на вторую половину — из солнца, косточек и воды.

У бабушки в саду всё так растёт.

Бабушка ходит по саду, шепчет, улыбается, снова шепчет, обрывает засохшие листики, поливает, рыхлит. Каждое наше утро начинается с сада.

— Аль, пойдём посмотрим, что там у нас приключилось за ночь.

И открывает лёгкую-лёгкую деревянную дверь.

Мама говорит, что с такими дверями всё равно что совсем без дверей. Говорит, что бабушкин дом давно пора перестраивать, ремонтировать бесполезно, нужно просто сломать и построить новый. Говорит, что даже готова сделать это сама, бабушке ни о чём не придётся думать.

— Я ещё недостаточно старая, чтобы хотеть не думать, — каждый раз отзывается бабушка, и дом стоит, как стоял.

Каждое утро открывается деревянная дверь — два поворота ключа в замке, на крыльце прогибаются старые доски.

«Давай хотя бы крыльцо починим, прогнило же насквозь, убьёшься», и прошлым летом всё-таки поменяли ступеньки, они теперь крепче, чем всё

остальное в доме.

Бабушка кивает малине, гладит землянику по зазубренным листьям, протягивает мне четыре ягоды на ладони. Мне в этом году исполнилось десять, но с бабушкой никогда не поймёшь, сколько мне, как никогда не поймёшь, сколько ей — столько же, сколько морю.

Море от нас в двух часах езды медленной электричкой.

Мама приезжает к нам на машине, всегда очень уставшая от города, шума и пробок. На моё предложение в следующий раз ехать на электричке смеётся, что она не против, но что-то рельсы к нам сюда всё никак не проложат, а до тех, которые есть, двадцать километров по грунтовой дороге. Можно, конечно, дойти, но не ближний свет.

Мама никогда не жила в этом доме. Бабушка купила его после смерти деда, когда мне только-только исполнилось два. Дед, говорят они хором, очень не любил быть не в городе, и в мамином детстве они просто каждый день ходили на набережную, благо, от дома до моря пятнадцать минут пешком или пять на автобусе. Мама как дед, тоже не любит не-город, и сюда надолго не приезжает — привозит меня, иногда ночует, иногда сразу сбегает назад. Навещает, но не каждые выходные, а через одни, через двое, раз в месяц — когда как с работой.

— Я-то не против, только рельсы сюда что-то никак не проложат, — смеётся мама, а я улыбаюсь ей и молчу. Мне уже десять, но к нашей с бабушкой двойной жизни я до сих пор не привыкла.

Забываюсь, вот как с электричкой, могу ляпнуть невпопад про янтарный пирог, про кашу с грозой, про сердечные капли из лепестков «золотых шаров», и мама хмурится на мгновение, но потом смеётся — что, новая книжка со сказками у тебя? Бабушка балует, да? Да, отвечаю, конечно, бабушка балует меня ещё как. Ты даже не представляешь.

Бабушка говорит:

— Аль, поехали сегодня на берег, а? Через час электричка, как раз успеем позавтракать.

На берег не ехать нет дураков, а до станции нам идти десять минут. Платформа ветшает всё больше, совсем как бабушкин дом, но наша электричка всё ещё ходит. Мне кажется, она будет ходить, пока бабушка

здесь, а потом, наверное, перестанет. Не уверена, что она будет приходить для меня.

Я сажусь у окна, смотрю на стволы деревьев, перекрывающие пути — за заброшенной веткой никто не следит, и каждый год в грозу что-нибудь падает, но мы проезжаем по гладким рельсам до самого моря, как и всегда, только ветки иногда мелькают у самого моего носа.

Станция стоит на холме, с него нужно спуститься-сползти по песку на берег. Бабушка называет это «давай поиграем в метеориты», будто мы летим вниз к земле, а за нашими спинами горит хвост кометы, яркий-яркий и слегка тревожный, как в книгах у Туве Янссон.

Бабушка уходит купаться и не возвращается очень долго, с каждым летом всё дольше. Один раз мне даже пришлось ждать её на берегу весь вечер и всю ночь до рассвета. Я сначала плакала, потом устала плакать и начала петь колыбельные, которыми бабушка баюкала меня раньше. Теперь-то я засыпаю сама, вернее, не засыпаю, а неохотно отрываюсь от книжки, когда глаза начинают слезиться, и выключаю бесполезную на рассвете лампу.

Колыбельные сработали быстро: бабушка вернулась на третьей, золотистая, смущённая, солёная и пряная от воды. Сказала, это я хорошо придумала, и чтобы в следующий раз, когда мне кажется, что её слишком долго нет, я сразу пела ту, которая про лампу на подоконнике, она лучше всего помогает позвать кого-то домой.

Мы ехали потом в электричке, бабушка рассказывала про деда, как он не любил не-город, потому что встретил её когда-то на берегу. Был как мама — не знал ничего, кроме того, что в городе лучше, меньше соблазнов, незачем испытывать судьбу почём зря.

Он не держал бабушку, она сама решила остаться. Надеялась, что будет подольше, но уж как получилось.

Собиралась уйти сразу после него и ушла бы, но «твои сны так отчётливо шумели морской волной, что я решила ещё задержаться».

Вздохнула, купила дачу подальше от моря, поливала сад туманами и грозой, пела мне колыбельные про звёзды и лампу на подоконнике, шептала маме в

трубку «да, спит уже, всё в порядке».

Меня никогда не пугало и не удивляло ничего из того, о чём бабушка просила не рассказывать маме. Я только путаюсь иногда, забываю, проговариваюсь, но книжек «со сказками» у меня целый шкаф, и на них можно свалить что угодно.

Думаю, рано или поздно бабушка перестанет откликаться на колыбельные. Ещё какое-то время у нас точно есть, я чувствую это морской водой, которая внутри у меня тоже шумит, где-то там, глубоко. Иногда вместе с кровью, иногда вместо неё — последнее редко.

Не знаю, будет ли приходить электричка, когда я останусь одна. Смогу ли я найти берег, станцию, дом?

Уверена, что мама забудет сразу же и никогда не вспомнит, что была какая-то дача где-то незнамо где.

Но пока что бабушка каждое утро просыпается и идёт проверять землянику, и просит меня не выбрасывать косточки от абрикосов, апельсинов и персиков — собирается растить рощу, значит, я ещё всё успею.

Я рисую карту. План, как сюда добраться. Я рисую его каждый год и снова теряю, или не могу разобрать, что на нём нарисовано, или ещё иногда просто нахожу бумагу размокшей, пряной и пахнущей солью, и улыбаюсь невольно тому, как всё-таки это красиво.

В этом году мне исполнилось десять, но здесь я не помню об этом. Чувствую, что мне столько же, сколько морю, и что упрямства во мне не меньше, и рисовать этот план я буду хоть миллионы раз. Окрестные деревеньки, улица, дом, дорога до электрички, станция, бабушка на перроне, рельсы, станция, море.

Темнеет рано, особенно в августе, и мы с бабушкой подолгу сидим на крыльце. Пьём чай с грозовым раскатом, она рассказывает имена звёзд, я слушаю её голос и море, которое шумит в каждом слове.

Запоминаю, чтобы однажды суметь услышать наоборот.

Вдруг именно это и есть моя настоящая карта.

Ольга Березина

Моя идеальная сеть

Генерал-Космонавт Герой Император свалился на меня, как снег на голову. Как, впрочем, и всегда. К тому времени он был ветераном четырех Мировых войн – пяти, если считать за мировую Биполярный конфликт, и двух Межзвездных – и, конечно, давным-давно мертвым не один раз. Даже так – Дважды Мертвым (уж что-что, а титулы собирать он всегда умел). Но это вообще ничему не мешало. Мертвый Генерал-Космонавт куда круче живого.

Я засек его издалека – подскочил среди ночи как ужаленный. Сердце колотится, в голове противный такой дребезг. Приложил руку к полу – вроде ничего. В голове меж тем мутится и зудит. Спустил ноги на пол и посидел, дожидаясь, что дребезг либо усилится, либо прекратится. Он не прекращался.

На детской половине зажегся свет, послышалось хныканье. Выглядываю в коридор – жена кого-то из младших ходит туда-сюда, похлопывает дитенка по спинке. Дитенок выглядывает из-за мамкиного плеча, в такт подвывает жалобно. Дожидаюсь, когда мать развернется в конце коридора и подойдет ко мне, киваю головой на улицу. Она сонно улыбается мне и кивает в ответ. Лия. Я вспоминаю, ее зовут Лия – как мою старшую.

Младенчик опять принимается хныкать.

Карусель повернулась еще на один оборот – у очередного младенца режутся зубки. Нужно пройтись до зубной ивы. Да и голову проветрить не мешает, может, дребезг наконец уймется. Вытягиваю из дровяного угла топорик. Лет топорику столько же, сколько и дому. Миллион. Ручка отполирована до блеска, сидит в ладони крепко и ухватисто. Провожу большим пальцем по лезвию, чувствую остроту металла. Молодцы пацаны, держат его в порядке.

Ночь морозная и как бы не последняя октябрьская – я за числами давно не слежу. Но так припоминаю – да, вполне может быть и она, хеллоуинская. Многие бы

усмотрели в явлении Дважды Мертвого в хеллоуинскую ночь некий символизм. Это вообще лишнее. В любом явлении Генерал-Космонавта можно усмотреть полно символизма любого сорта.

На дворе дребезг усиливается. Я стою на крыльце, оглядываюсь. Темнота кругом спокойная, бархатная, и звезды щетинятся из-под купола, как и полагается октябрьским звездам. Осень теплая, чуть ли не на прошлой неделе пацаны еще бегали с косилкой по дорожкам. Но сейчас похолодало, и иней вот-вот готов выпасть.

Зубная ива корячится в дальнем углу сада. Я подхожу и выбираю подходящее коленце. Дежавю – в который раз я стою тут? По заплывшим корой культяпкам можно отследить историю моего многочисленного рода. Вон там, в самом низу – это моего старшенького. Улыбаюсь, глажу морщинистую кору, шепчу благодарность дереву. Младенцев у нас давненько не было, и побеги здорово переросли – придется повыбирать подходящий. Нынешний малыш совсем мелкий, и коленце надо рубить тоненькое, под его маленькие ручонки. То ли зубки у него начали резаться много раньше, то ли он пошел в мамкину миниатюрную породу. Может, это вообще девочка. Ловлю себя на мысли, что не помню.

В точности, как сукин сын этот, Генерал наш Космонавт, Герой. Поганец и шельмец.

Я тогда спать собирался, зубы чистил – только открыл воду и жду стою, пока кран отфыркается и проплюется – и тут слышу вот такой же дребезг. Так и предстал перед ним – моим будущим бывшим лучшим другом и врагом, дважды покойным Генерал-Космонавтом, Героем Императором – со стаканом в одной руке и зубной щеткой в другой. А он торчит посреди комнаты во все свои почти два метра и таращится на меня сверху вниз. И в руке у него бутылка – держит ее, как гранату, за горлышко. Этикетка у бутылки – как генеральский мундир, вся в золоте и медалях.

– Ой, ты что – мальчик? – спрашивает.

А я худосочный был, круглые коленки, трусы черные вокруг тощих лях болтаются, жалкое зрелище.

– Ага, – говорю.

– Бля-а-а, а я трахнуть тебя хотел! – разочарованно тянет он и демонстрирует плоский квадратный пакетик. Презерватив, редкий зверь в

тогдашнее время в наших местах. Это я потом сообразил, а тогда ничего не понял.

На самом-то деле встретились мы с ним еще раньше. Он об этом не помнил – а я помнил, да еще как.

Я уродился дрищ дрищом, даже по нашим меркам мелким был. А у наших для дрищей не было другого занятия, как учиться. Потому что завоевывать и побеждать дрищи не могут. Ну я и учился – получал хорошие оценки, был радостью учителей. Вроде бы и не девочка, но и не пацан. Не бедокурил, не дрался, не лазал по деревьям и не ломал костей. Дружить мне было особо не с кем, я уходил в горы и днями не возвращался домой, умел находить себе пищу, охотиться, умел сделать ночлег и не замерзнуть. На меня махнули рукой. Я не был мальчиком, не стал и мужчиной. Даже Генерал-Космонавт это просек.

Но все равно я должен был побеждать. И тут олимпиада университетская. Вот меня и меня отправили побеждать – на научном фронте, раз больше я ни черта не мог.

Провожали всем селением. Видать, рады были наконец отделаться. Еды надавали, всякой всячины. Почти все потом в аэропорту забрали, конечно. Оказалось, нельзя с ножами в самолетах летать. А наши-то, понятно, не в курсе были. Они ж не летали никогда самолетами.

В общем, привели меня к безопасному уровню и проводили в самолет. И тут я мерзнуть стал. Пока меж людьми толокся – еще туда-сюда, а как в самолет поднялся, как он взлетать стал – у меня руки-ноги заледенели. Дальше – больше, и вот уже меня колотит и зуб на зуб не попадает. Не то чтобы я был легко одет. Нет, у нас часто бывает довольно холодно, а в горах так тем более, и теплой – по-настоящему теплой – одежды у меня хватало.

И тут до меня дошло – я отрывался от земли.

В прямом смысле.

Нити, которые связывали меня с рождения с моим народом, с моими корнями, с моей землей теперь натягивались, выворачивали меня чуть не на изнанку – и одна за одной обрывались. Я вцепился в подлокотники, вжался в кресло – словно пытаясь вернуть самолет на землю. Я обливался потом и

задыхался. Я чувствовал каждый обрыв каждой нити, и с каждым обрывом мне становилось хуже – и легче одновременно. И когда табло с буквочками погасло, меня уже ничего не связывало с моим народом, с моей землей.

Озноб прошел. Внутри было пусто, как в мыльном пузыре. Я стал тем, чем пугали детей в моем селении. Ркушгриш. Пустой.

Знали ли об этом мои? Сделали ли они это специально, чтобы отделаться от неудобного меня? Ведь другими-то способами этого сделать нельзя. Уедь я хоть за тридевять земель – нити все равно вытянулись бы. А вот самолет поднялся слишком быстро. Я сидел и соображал, что мне делать. Я знал, что ркушгриш долго не живут. Мои обрывки нитей судорожно тянулись вокруг, ища, куда бы прицепиться. Я должен был это сделать, иначе совсем скоро начну таять и исчезну, теперь уже совсем.

Стоп, а остальные? Я завертел головой. Люди вокруг меня выглядели нормальными, никакие обрывки у них не болтались – они выглядели толстенькими и здоровыми, как будто так и надо! Они каким-то образом умудрились заделать дыры и не истаять? Черт, может, и я должен был сделать так же? Превозмочь и победить эту ненормальную ситуацию, просто выжить?

Самолет приземлился, а я все еще был жив. Я выбрался и пошел за людьми. И здесь, на земле, люди мгновенно соединялись и друг с другом, и с местом непонятным для меня способом! А я не мог этого сделать. Мои обрывки тянулись к их нитям, но не успевали – все уже были привязаны к чему-то, и для меня не находилось свободных концов.

Мне ничего не оставалось делать, кроме как продолжать двигаться вместе со всеми. В полубреду я получил свой чемодан, вышел из здания аэропорта, сел в автобус – подробный маршрут был расписан в сопроводительных документах, и я выучил его наизусть. Автобус тронулся. Было холодно – иней лежал на траве, и густой туман клубился так, что мне казалось, будто я плыву в пузыре в необитаемом пространстве.

Автобус ехал и ехал, а я уже мало что соображал. Я впал в какую-то прострацию и очнулся на конечной – водитель тряс меня за плечо. Я подхватил свой чемодан и побрел на выход. Едва я оказался на

тротуаре, двери автобуса захлопнулись, и он исчез.

А я остался – один на пустом асфальте. На противоположной стороне дороги стеной стояли деревья – высоченные, темные, я таких в жизни не видел. Сзади меня от площадки отходила тропинка, и, извиваясь, тянулась куда-то в туман. Я решил, что по ней скорее попаду к жилью, чем если просто пойду под деревья.

Тропинка привела меня внутрь леса из таких же громадин. Она вилась между стволов в туманном пузыре, и никакого жилья не было видно. Я ослабел и почти не мог идти. Чемодан казался мне неподъемным. Я бросил его и уселся сверху. И тут я почувствовал нить – и она была свободной. Человек, обладатель нити, был таким же потерянным, как я – но почему-то не слабел и не умирал. Не раздумывая, я потянулся к его нити и судорожно ухватился за нее.

И только тогда увидел его перед собой.

– Привет, – сказал человек. – Ты что, олимпиадник?

Я кивнул. Я был согласен со всем, что он скажет, я готов был назваться хоть кем – только бы привязать наконец себя к чему-то.

Он что-то говорил, а я только кивал и кивал. Я вцепился в нить и почувствовал долгожданную связь. Это была не полноценная сеть, но хоть что-то. Теперь я не умирал. Вернее – не умирал так быстро.

Так мы с ним и оказались связанными пагицур, крепче и прочнее которой связей не бывает в природе.

Я был глупый умирающий пацан. Я все сделал неправильно, глупо, сам не понимая, что делаю. Конечно, пагицур надо формировать совсем не так – медленно, постепенно, и тогда и только тогда они будут множественными и равномерными, а не таким вот канатом, какой вырос со временем между нами с Генерал-Космонавтом.

Мы шли и шли, и вскоре из-за деревьев показались дома.

Он спросил, как меня зовут, и я сдуру назвался полным именем – Оль-Леуддин Аль-Алад Сахиттиер Ритту.

А тот вытаращился, конечно.

– Ноль-Один… Такого я в жизни не выговорю, – говорит. – Давай, Ноль-Один, ты будешь просто Пожарник!

Так я не успел оглянуться – еще и имя от него получил.

А он махнул рукой в сторону домов – вон, мол, общага, теперь не потеряешься. И пропал между деревьев, как не было.

Я не потерялся. Я нашел общагу, заселился в комнату, влился в группу олимпиадников – да, оказывается, этим словом как раз назывался теперь и я. Я стал призером, потом по какой-то квоте на одаренных ребят из глубинки остался сперва в лицее, а потом поступил и в Универ.

Совсем не странно, что мы с ним не пересеклись все это время. Мы жили в разных частях студгородка, к тому же я занялся привычным делом – учился как проклятый. Но все это время я чувствовал пагицур – она как пуповина, пульсировала и крепла.

Так что когда он оказался передо мной с презервативом и бутылкой, я не особо удивился.

– Ну, хоть лимон у тебя есть?

Лимона у меня не было. Совсем я его разочаровал.

– Черт, черт, черт, вот у девчонок всегда был лимон! И как мы это будем пить? – спрашивает.

Я не знал, как мы это будем пить – я вообще не знал, как это пьют. Я никогда ничего спиртного не пил. Я вообще не был уверен, что буду пить. А он меж тем вытащил зубами пробку, взял у меня из руки стакан и плеснул из бутылки. Протягивает мне – и смотрит, как надзиратель. Я нюхнул. Запах невероятный. Попробовал – как огня хлебнул, задохнулся от густого непонятного вкуса. Стою, выпучив глаза.

– Полста оборотов, что ты хочешь, – усмехается.

И тут, видать, он вспомнил меня. Наверное тогда, на тропинке, я так же стоял и пучился.

– Пожарник?

– Он самый.

– Вот это поворот! Погоди, мы обязательно должны выпить!

Я махнул стаканом.

– Нет, мы должны выпить это по-настоящему. Я сейчас все организую. Не уходи никуда. Я знаю, где найти лимон. Черт, в этой дыре где-то же есть девчонки! Подожди, ради бога, я туда и обратно, да? Я приду!

Он не пришел. А вот девчонок нашел. Потому и не пришел, соответственно. И подвернулась шельмецу не кто-то, а моя несчастная любовь Санечка.

Санечка была нашим куратором и ангелом небесным. Я в нее был влюблен убойно и платонически – как, наверное, и все наши пацаны. И эта убойная любовь придавала мне смысл жизни. Конечно, я был никто по сравнению с нею – и тем больше я хотел… чего? Обладать ею? Ни боже мой! Я даже помыслить такого не мог. Я хотел просто приблизиться к ней – подняться со своего дна до такого уровня, чтобы разговаривать с ней – хотя бы не на равных, но как человек с человеком, а не как амеба с небесным светилом. Ну, вы понимаете.

А поскольку мы с поганцем были уже три года как связаны, то он вышел на Санечку, как компас на магнитный полюс. И применил весь имеющийся арсенал – и бронебойную простоту, и орденоносную бутылку, и презерватив. И Санечка, конечно, не устояла.

Однако Санечка была не сама по себе Санечка, а с прекрасной родословной Санечка. Папа ее, хотя и был тогда всего замдекана, но принадлежал к роду почтенному и именитому, и замдеканство его, как показало дело, было нижней ступенькой длинной лестницы в небо. Чтобы внедриться в это семейство, мало было бутылки и простоты. Если бы я на своем дне об этом хотя бы догадывался, я бы и головы не высунул. Но я был в неведении счастливом – в отличие от поганца. И все мое упертое упорство куда-то лезть и превозмогать только лишь от неведения этого и проистекало.

А поганец был ловелас отпетый, девчонки перед ним шеренгами падали, а кто не падал – на того он второй раз не смотрел. Да и на тех, кто падал, тоже не смотрел особо. Обновлял арсенал – и дальше двигал. А тут – поди ж ты, зацепило. И стали мы с ним парой заучек, завсегдатаев читалок и библиотек. Сперва не общались особо – так, привет-привет. Ну а потом – там словом перемолвишься, сям. Ну и спелись мы с ним теперь уже на почве совместного нелегкого труда. Причем он цели своей вообще не скрывал, а ради чего я тут штаны протирал в библиотеках – я уже даже и сам себе сказать не мог. Разве что по инерции, по которой я должен был побеждать и завоевывать.

Вначале учеба давалась мне трудно, но шельмец всерьез влез в шкуру учителя. Он гонял меня в хвост и в гриву, терпеливо сносил мое нытье, упорно объяснял трудные места и так и этак – пока я, наконец, не начинал на самом деле что-то понимать.

– Как ты собираешься победить и завоевать, – орал он, – когда ты две дифуры подряд решить не можешь! Ты не Ноль-Один, ты Ноль-Ноль!

Я тоже взрывался и начинал орать.

– Я! Тебя! Ненавижу! – орал я.

– А я тебя обожаю! Такого клинического идиота еще поискать! Да тебя надо сдать в Палату мер и весов как Эталон Тупости!

Нас не вышвыривали из читалки только потому что девчонки-библиотекари наслаждались нашими перепалками.

– Давайте, девочки, поцелуйтесь, – ржали они, и мы, испепеляя друг друга взглядами, расхватывали учебники и разбегались по разным углам.

Но со временем все наладилось, и мы уже не орали друг на друга. Учеба перестала занимать все наше время, и мы даже иногда выбирались куда-нибудь на берег – подышать морским воздухом, выпить по баночке пива.

Прикол в том, что шельмец был старше меня на три курса, но младше на два года. Он учился по какой-то специальной программе. Все вокруг всегда были старше его и не воспринимали его всерьез.

– Как-то у нас в школе был час карьеры, – рассказывал он, - ну, это такая фигня, когда спрашивают, кем мы хотим быть. А я никогда таким вопросом не задавался. В садике, помню, нас всех учили отвечать, что мы хотим быть или военными, или космонавтами. И тут – прикинь? – на меня все смотрят, а у меня ни одной мысли в голове. Ну я и ляпнул – генерал-космонавтом. Ну, меня потом и дразнили все – генерал-космонавт.

– Так ты же как раз этой военной и космической штукой занимаешься, – поддевал я. – Ты и есть настоящий генерал-космонавт!

– Да генерала мне еще трубить и трубить! – отмахивался он. – Да и до космонавта тоже.

– А я всем верил, как дурак, – не отставал я. – В садике нам давали творожную запеканку. Я ее очень

любил, а сосед мой по столу ее не ел никогда. Я спрашиваю: "Ты чего запеканку не ешь?". А он говорит: "Ты что, в ней же личинки!". А я не знал тогда, что такое личинки – ну и не стал тоже есть, на всякий случай.

– Зато ты теперь спец по личинкам номер один.

– Ноль-Один! – с джеймс-бондовской интонацией подхватывал я.

Ну а потом мы разошлись. Не поругались, нет – просто работы как-то разом прибавилось – не читалочной, лабораторной. А лаборатории у нас в разных корпусах были, так что времени на общение почти не оставалось.

Надо сказать, шельмец был умный. Он был ужас какой умный! Стоило ему разогнаться – и все заоблачные высоты он щелкал, как белочка орешки. В общем, оглянуться не успели, а он из бухаря и трахателя превратился в лауреата того и дипломанта сего. И папа-замдекана, который за это время уже стал декан и без пяти минут ректор, такого орла в свое семейство теперь принял бы уже с распростертыми.

Санечка, когда на нее стало можно смотреть без мистического гормонального флера, оказалась обычной девчонкой-филологиней, каких у них там в этом филологическом гнезде без счету. И чего она нас в свое время так зацепила – я уже в ум взять не мог. По началу ее визиты в читалку и шуры-муры с шельмецом на меня как шпала железнодорожная по башке действовали, но потом я научился с ней запросто общаться.

А шельмец еще тогда меня утешал – и ты найдешь, мол, себе, по закону слипания. В этом был он весь, чуть что – формулировал очередной закон. Закон слипания гласил: "Подобное слипается с подобным".

Впрочем, с Санечкой он общался тоже как будто по инерции. То, чем он занимался тогда, куда больше его тащило вперед, чем когда-то Санечка. А я все твердил, что она была бы ему классной женой, и потом оказалась бы очень уместной Мисс Генерал-Космонавт, Мисс Главнокомандующий или как там у них жен называют.

Так, впрочем, все и получилось. У меня по дому уж на что все газеты сугубо местные листки, а все равно с каждой второй Санечка улыбается, даже неловко на растопку пускать. Все-таки у меня к ней были такие

возвышенные чувства.

Пока поганец устремлялся в небо, я закапывался по уши в землю – в прямом и переносном смысле. Кафедру почвоведения называли "слив органики" – там собирались все лоботрясы и двоечники. А меня тянуло к земле, и то, что мои соученики делали из-под палки, мне очень нравилось. Тогда же я встретил Майю. Вполне по закону слипания. Она ничем не походила на Санечку. Я не захлебывался от безумной любви, она была друг и соратник. С ней было хорошо.

Учеба подходила к концу, чистая наука меня не привлекала, а работы в городе толком не было. Да и к чему в городе почвовед? Копаться в городских клумбах вполне могли девчонки с трехмесячных курсов ландшафтного дизайна, а сидеть на землеустройстве в конторе я не хотел. А потом нам предложили землю и подъемные в самом глухом углу мира. И мы сорвались туда. То есть, сюда. И здесь я понял, что такое настоящая пагицур. Я строил дом, копался в огороде, сажал деревья, бродил по окрестностям – и врастал в эту землю, а она врастала в меня. Я очень хорошо понимал ее. Я видел, как просыпается трава, так тянутся под землей гифы грибов, как копошатся в почве личинки насекомых, как громыхает, подобно поезду метро, крот, прокладывая подземный коридор. Я слышал все – стоило мне сосредоточиться и прислушаться. Я знал, что надо этой земле, как ей не мешать или помочь, как ее улучшить, чтобы она вернула мою заботу сторицей – богатым урожаем, красотой, силой. В деревушке, где нам дали землю, меньше десятка домов все еще держались – старики кто уезжал к детям в город, кто умирал, а молодежь сюда не больно-то рвалась – даже с учетом подъемных. Те, кто приехал с нами, отработали положенный срок и были таковы. А нам все нравилось. У нас родился первенец, потом двойня, потом одна за одной три дочери. И этот бесконечный круговорот пеленок, подгузников, режущихся зубов, снежных горок, саней, первых сапожек, корабликов из сосновой коры в весенних ручьях, котят, щенят, сопящих носов, качелей, шалашей, вписанный в обычную сезонную работу на земле утянул и закружил меня на долгие-долгие годы. Скоро дети пошли у детей, и всегда в доме был какой-то Младший, и все начиналось сначала. Дети не разъезжались. Они строились рядом –

брошенные участки отдавали за бесценок. Майина родня тоже потихоньку перебрались к нам. У нее был целый выводок младших сестер, и они росли наравне с нашими детьми, привозили мужей, обживались. Детей учили здесь же, и учили хорошо. Выписывали учителей из города – благо, в местном педе было много неустроенных студентов. Их любили, давали им дом и хозяйство. Многие оставались, вливались к нам. Постепенно выучились свои – и теперь многочисленную ребятню сами же и учили. Даже я сам иногда проводил урок-другой, отдыхая от земельных дел.

Шельмец женился накануне моего отъезда. Я первое время следил за его успехами. Я тогда еще читал газеты. Настоящие газеты, я имею в виду – не местный листок о продаже коз и вывозе мусора. Не знаю, чья инициатива была, но распределился он к новоиспеченному тестю в отдел, то ли ядерно-космический, то ли военно-энергетический, и стремительно там всех перерос, выпорхнул в большую науку так же легко, как когда-то соблазнял девок. Он гремел тут и там, а потом в одночасье греметь перестал. И ясно было, что он не просто исчез, а настоящие, не универовские, военные его пригребли. Только от военных не просачивается ничего в прессу. Я знал, что он жив и активен, очень активен, что он работает на износ. Я знал, что он готовит что-то невозможное.

А потом он умер. Меня шарахнуло так, что я все бросил и поехал за газетами. Газеты кричали о сумасшедшей аварии, о теракте, о нелепой случайности, показывали крупным планом груду искореженного металла и одну и ту же фотографию шельмеца – улыбается, идет куда-то от камеры, и пиджак перекинут через плечо – ай'л би бэк, детки. Бесконечные репортажи из больниц, длинные отчеты техников – и ни одного пожелания выздоровления. Видать, там его уже списали со счетов. А у меня перед глазами стояло сливающееся в полосу ограждение в боковом стекле, нога на педали газа, рука на рулевом колесе и надвигающаяся бетонная стена. Тормозить шельмец и не думал. Что-то он утворил такое, с чем не хотел иметь дела. Такой уж он был, поганец – все должно быть или по его, или никак. Все взвесил и учел. Одного только не учел. Пагицур.

Пока он там творил что он там творил, мы

вырастили могучую сеть. Она пронизывала наши места на километры вокруг. До меня постепенно стало доходить, что все мои действия – не только после самолета, но и до – были глупостью, узуальной ошибкой! Мой народ, с которым я вырос, никогда не общался словами. Если бы меня сейчас спросили, я бы сказал, что мы общались полипептидными сигнатурами по мицелиальной сети. И весь мой лексический запас – это школьный курс принципиально чужого коммуникативного языка. А я, в своей юношеской самонадеянности, считал, что могу адекватно переложить наши понятия на язык слов, и миссию моего народа назвал вот этими вот словами – завоевать и побеждать. Тогда это было не важно, а после самолета в пустом мне превратилось в лозунг и девиз. А мой народ никогда не был завоевателем и победителем. Только теперь до меня дошел истинный смысл нашего "завоевания и побеждения" – осесть, прорасти, пустить корни, слиться с местом, проникнуть в него многими поколениями детей и детей детей. И в таком смысле пагицур была не просто связь, она была "проводник в себя, в свое сердце".

В общем, когда шельмец буквально убил себя об стену, мы легко приняли его разум в свою сеть. И пока врачи собирали по кусочкам его тело, он все это время преспокойненько обретался у нас. Сперва он болтался, как дерьмо в проруби, тыкался своими техномозгами куда не просили. Я бросил все свои дела и возился с ним день и ночь, как с очередным мелким. Он бесился, рвался в мир – но деваться-то ему от нас было некуда. Мы вообще не знали тогда – осталось ли от него что-то физически. Мы были готовы оставить его у себя навсегда – а для этого надо было научить его жить с нами.

Теперь уже я был терпеливым учителем, а он психовал и орал:

– Ненавижу!

– А я тебя – обожаю!

– Плесень! Поганки! Вы все тут – грибы! – причитал он. – Боги, я живу с грибами!

– Не с грибами – в грибах! Ты ж моя личиночка, ты ж мой мясной червячок!

Человек ко всему привыкает, привык и он. Сперва, конечно, пытался натащить нам своих заводов-пароходов, но потом поостыл, снизошел до

наших Младших, постепенно начал обучать их своим техническим штукам. Его недюжинный умище пришелся нам кстати.

Наш мир к тому времени сильно отделился от их мира. Поганец не понимал, как можно так замыкаться, отказываться от всего, что есть там. Мы спорили до хрипоты и чуть было на самом деле не разругались. Он кричал, что нельзя что-то менять в пространстве-времени, а я говорил, что мы пятьсот миллионов лет только и занимаемся, что что-то в нем меняем, тянем это пространство-время каждый на себя. И ткань мироздания растягивается. И если уж на то пошло, то он там в своем мире первый начал творить черте что, а я здесь вынужден замыкаться, пока не отгорожусь стеной от его долбаной ебанины.

И я отгородился. Как только шельмеца нашего починили и он усвистел восвояси, наш пузырик захлопнулся и покатился своей дорогой. Покатился бы, если бы не пагицур. И так мы и остались, как болас – два шарика на одной веревке.

Но все-таки здесь мы отделены от них. Не зря же эта тьма у нас ночами такая бархатная, такая черная, как будто за ней нет ничего, а звезды – это только огоньки на небесном своде.

Потому что звезды наши – они и есть огоньки на небесном своде.

А за этим сводом – мировые войны, Биполярный конфликт, экспансия и наш Генерал-Космонавт.

Он ведь, шельмец, и правда должность такую себе учредил!

Он еще много раз умирал – официально только Дважды – и появлялся отсиживаться у нас. Он же понял теперь, что бессмертный. И у него конкретно крышу снесло. Мне не хотелось в этом участвовать. Я принимал его – а куда бы я делся? Он вваливался после очередного безумного финта в нашу сеть, и торчал там, покуда не восстанавливался. Он не просто разгуливал по сети взад и вперед – таскал оттуда всякие заумные штуки. Я думаю, что он и умирать приловчился именно за этим. И этот свой двигатель он притащил тогда же, извлек втихушку из пространства сети. Он вообще мастак был оттуда извлекать всякое. Мне предлагал то одно, то другое. Но я отказывался. Не мое это было все. Мое было вот – почва, грибы, трава, лес, семья,

весь наш род. Я закрылся и жил. Дети родили детей, а те еще детей. Я уже стал забывать, кто есть кто – постоянно какие-то мелкие мельтешили под ногами, пищали, хныкали, хохотали, мутузили друг друга. Звали меня дедушкой.

А там, за куполом, шельмец творил экспансию. Теперь уже он не скрывался ни под военными, ни под кем. Теперь уже он гремел из каждого утюга и таращился с любой поверхности. Грянула очередная Мировая – и шельмец, уже вооруженный знанием о своей неуязвимости, прихлопнул Мировую, как таракана тапком. Со своим двигателем он вывел Землю сперва в малый, а потом и в Большой космос. Человечество вырвалось, как джинн из бутылки. Их пытались остановить, но тщетно. Он отразил Первое вторжение и предотвратил Второе. Он присоединил к Земле семь больших и без счету малых систем.

Все это вы можете узнать из любого учебника.

Но он сделал кое-что еще. Он понял, как подчинить нашу сеть. Что он собирался сделать из нее – источник бессмертия для избранных? Межмировой коммуникатор? Транспортную паутину? Что бы он ни задумал – ясно одно. Мы в этой сети лишние. От нас надо избавиться, и он знает, как это сделать.

И я тоже знаю кое-что. Кое-что, чего нет в сети. Кое-что, что есть только между им и мной. И почти придумал, как это использовать. И я очень надеюсь, что у меня все получится.

Но прежде всего мне нужно утешить малыша.

И вот я сижу в своем саду темной октябрьской ночью, строгаю ивовое коленце, и кора тугой лентой отходит под лезвием. Я чувствую, как мелкий дребезг распространяется по земле все дальше и дальше, и уже переходит на деревья за забором, и по ним на небосвод, и даже звезды начинают мелко дребезжать. Кортеж Императора, Генерала-Космонавта, Дважды Мертвого Героя останавливается на границе моего участка. Дальше нет ходу никому, даже самому Дважды Мертвому – но сейчас-то живому. Он сто раз был здесь изнутри, но снаружи – впервые. И без моего приглашения ему никак. Он тянется ко мне, улыбается. Я чувствую его как обычно, в пространстве сети – но впервые за много лет при этом вижу здесь, во плоти, ощущаю собственными глазами.

– Привет, Пожарник.

– Привет, Шельмец.

– Пригласишь?

И я его приглашаю. Его одного. Он выходит из своего черного лимузина – по крайней мере, эту черную безразмерную штуку я вижу как лимузин. А в чем еще мог пожаловать Император? Свита кидается было за ним, но вязнет в морозном ночном воздухе и останавливается.

– Здорово ты тут обжился!

– Да и ты здоров, бродяга.

Он подходит к воротам, долго возится с цепочкой. Я не собираюсь облегчать ему задачу. У меня за стеной хнычет малыш. Я стряхиваю с себя обрезки коры и подхожу к окну. Лия открывает створку. Малыш разжимает ручонку, и старое измусоленное коленце падает на траву к моим ногам. Я протягиваю ему новое. Он вцепляется в него деснами и затихает. Я наклоняюсь и поднимаю оброненное коленце. Выпрямляюсь. Жду.

Он идет ко мне целую вечность. Я не знаю, что он собирается сделать. Зато знаю, что собираюсь сделать я.

– Мы теперь не те мальчишки, да? – говорит он. Голос его сухой, как песок.

– Не те.

Мы уже не мальчишки. Мы уже давно представители каждый своей ветви. Когда-то мы были одно. Но наши пятьсот миллионов лет врастали и сливались, а его – поглощали и побеждали, и подчиняли, и завоевывали. Мы никогда не общались словами, и наши пептидные сигнатуры невозможно было понять двояко. И это я, дурак, ркушгриш, оторванный от своих в безумной своей браваде решил, что понимаю их язык – язык слов, язык, который прошел десятки тысяч лет коммуникативной эволюции индивидуальных хищников, и там, где у нас было "врастать и объединять", у них было "завоевывать и подчинять". И пагицур, случайно вцепившийся в такого же глупого одинокого их подростка, связал его со мной, а сила и мощь целой сети в конце концов выдула из него этого монстра.

Он выглядит спокойным. Может быть, он взбешен. Я ничего не чувствую, потому что канат между нами натянут до невозможности. Тот, что держал мой мир на месте столько лет, пока его мир стремительной стрелой

летел в будущее. И теперь это натяжение достигло предела, и оно перебивает все остальное. Я чувствую, что у него все продумано. Что сейчас он что-то сделает, и мне конец. Конец мне и моему миру. И он подходит – и я как будто смотрюсь в зеркало. Где тот рослый красавец? Я вижу себя – коротышку с черным ежиком волос, с тонкогубым провалом рта, с высокими скулами. И только пылающие решимостью глаза – его, императорские. Сейчас он может прихлопнуть меня одним мизинцем. Чтобы освободиться, он должен это сделать. Не может могущественный император быть заложником чужого мира. Но многие годы пафоса требуют от него чего-то. Театральной паузы. Речи. Многозначительного взгляда. Я поднимаюсь ему навстречу. Откладываю нож. Встаю и протягиваю ему изжеванное ивовое коленце. Как хнычущему младенцу. И он по инерции берет его. Как брали его из моих рук десятки младенцев – моих детей и детей моих детей, и их детей. И за этим коленцем – целый круговорот пеленок, подгузников, каш, молочных бутылочек, режущихся зубов, целая вселенная невидимых нитей, и эта карусель сметает его, и натяжение тетивы отпускается, и мы летим в тартарары, все быстрее вращаясь друг вокруг друга. И я успеваю углядеть, что мир мой светящимся пузырем висит на месте, и в доме светится окно на детской половине, и в окне маячит довольная мордаха мелкого, который дождался своего коленца. И мир этот вращается вокруг меня, все быстрее и быстрее, удаляется, уменьшается – и еще одной крошечной искоркой остается на бархатной темноте небесного свода.

И я остаюсь один. Теперь уже совершенно один. Один.

И вот я стою перед дверью, а за ней кран фыркает и плюется.

И руки у меня перепачканы ивовым соком, и сок этот пахнет остро и свежо. Я берусь за ручку двери. Мое сердце пропускает удар. Я поворачиваю ручку и открываю дверь.

У раковины стоит Поганец в черных трусах, с зубной щеткой в одной руке и стаканом в другой. Смотрит на меня. Смотрит на бутылку у меня в руке.

– Твою ж мать, Пожарник, сукин ты сын, – говорит он.

Я развожу руками.

– И лимона снова нет, – констатирует он.
Я улыбаюсь и говорю ему:
– Да хер с ним, с лимоном. Подставляй уже.
И янтарная жидкость течет в стакан.

Ноги

Вы ездили когда-нибудь по проспекту Дзержинского? Да что я спрашиваю, ездили, конечно! Это же вторая главная улица города. На нем же почти все эти городские здания стоят – как их там? Мэрия? Какое-то Собрание? Я не очень в этих штуках понимаю, что там еще положено в городе. Короче, Ратуша, Крепость, Замок – так мне понятнее. Вернее, Ратуша – она на Красном, наверное, а вот Крепость и Замок, и Алтарь королей точно на Дзержинского. И много всего такого тоже на нем. И если тебе повестка пришла на медкомиссию, или справку по налогам получить, или еще миллион таких же стремных штук – то тебе точно на Проспект. В самое его начало.

А проезжали ли вы этот самый Проспект до конца? Я вот точно ни разу, ездил только до Сада. В самое начало можно и не заезжать, там итак все понятно. А вот после Красина – там Практик раньше был, большой хозяйственный магазин, и я туда часто катался то за железом, то за инструментом, да мало ли – вот после Практика Проспект совсем другой становится. Там уже, на наш понятный язык переведя, никаких Ратуш – а зато казармы, и башни, и мастерские – в общем, то, что таким чувакам, как я, гораздо интереснее.

Но сегодня мне предстоит ехать аж в самый его конец. В дом номер шестьсот с хвостом, как бы не последний на Проспекте.

Еду я туда за ногами.

Я не то чтобы ролевик и не то чтобы реконструктор. Мне просто нравится эта вся возня с доспехами, люблю постукаться мечами с такими же чуваками, как я, без особых задвигов, и все такое прочее. Но мастерской у меня нет. То есть я могу, конечно, к друзьям напроситься, но это хлопотно. Мы все выросли уже, у всех семьи, у кого-то даже дети, ну и работа – и состыковаться по времени бывает трудно. Поэтому я чаще всего беру готовые бэ-ушные части по разным объявам. И чаще всего продавцы эти из других городов, и тогда еще приходится платить за доставку – но вот сегодня чудесным образом парень оказался местный, хотя место это вполне удивительное. В самом конце Проспекта.

Чувак отписался еще, что живет в районе новостроек, и его дома на навигаторе еще нет. И скинул кроки с объяснениями – мимо церкви и дальше до новостроек по дороге, ищи дом слева с указателем. Ну, я и поехал. Не лес глухой, думаю, не заблужусь.

Суббота, машин на улице мало – еду и наслаждаюсь. По нашей стороне дороги тень, а та, другая, через трамвайные пути которая, встречка – та солнечная, вся блестит-сияет. Дорогу, кстати, недавно чистили – по обочинам срезанный грейдером слоеный пирог. Мне всегда эти штуки жутко нравились. Разглядываешь слои, как палеонтолог. Город – он такой. Стоит снегу пойти – вот тебе белая полоса, а стоит не пойти пару-тройку дней – и вот тебе грязная, почти черная. Как жизнь у некоторых бедолаг. А я люблю город, и эта городская дорожная грязь меня совсем не напрягает. Меня в городе вообще ничего не напрягает, а все радует. Даже к пробкам я отношусь спокойно. Просто я никуда не спешу. И где другие психуют и опаздывают, я просто еду. Ползу потихоньку, таращусь вокруг, играю с городом в разные смешные игры. И меня город, надо полагать, тоже любит. Вот и сейчас я качу по Проспекту, как будто у города в гостях, как будто впервые вижу его. А он подсовывает мне всякие штуки, которых и правда раньше как будто не было. По правую руку Сад тянется, а слева вполне себе дома, и на нижних этажах у них всякие лавчонки и какие-то загадочные конторы. Я читаю и дивлюсь: "Отправка паспортов иностранных граждан в Омск", стоматологическая клиника "Адент", агентство недвижимости "Тектоник". Ну, такое я по всему городу вижу. И тут вдруг вывеска "ЕвроНога". Это к чему? Присмотрелся – ха, вот шутник! Это же цветочный магазин, ЕвроFlora, только кое-где снег налип. Ну, думаю, молодец, знаешь, что за ногами еду! Не успел проржаться, на стене – "ногопива". Ну, думаю, что ты там опять затеял? А, ясно, на стене очертания буквы М. Дурачится Проспект, значит, правда город любит меня. Ну и славненько.

Тут мне пить захотелось. Не ногопивы, конечно, а простой воды. А зима же, я в машине воды не держу. Припарковался у какой-то лавочки, зашел внутрь. А там персонаж такой колоритный, поперек себя шире, в фартуке полосатом – ящики с апельсинами переставляет.

– Бери, – говорит, – апельсины недорого, очень хорошие апельсины, египетские! А сладкие – м-м-м-м! Мед!

Ну я взял апельсин целую сетку, килограмма на два с лишним, чтоб со сдачей не морочиться.

В машине один апельсин очистил – правда, мед. Еду, дольки в рот закидываю. Красота.

У Сада вдоль Проспекта лиственницы насажены, и зимой они смешные такие. Вроде бы и не лиственные, вроде бы и хвойные – а голые стоят. Как майские новогодние елки. В потом еще липы пошли – так те зимой просто такие красотки, что можно косоглазие заработать, пока мимо них проезжаешь. Кора у них не серая, не коричневая – бархатно-черная, и ветки от ствола отходят такими широкими дугами, как будто самый главный небесный дендролог сильно потрудился своим большим-большим циркулем и самым мягким своим карандашом. Не часто я зимой в этих краях оказываюсь, а зря. И правда – красотища тут необыкновенная. Даже с учетом грязного слоеного придорожного снега. Надо бы выбрать время да прийти сюда ногами, без машины, побродить, полюбоваться.

Но ногами бродить зимой холодно, а у меня и одежды-то толком теплой нет, я ж хомо машиникус, к сиденью задницей приросший.

Проспект в районе Сада маленечко на лес глухой похож. А в Саду как раз вся наша братия тусит. Мы тут зарубы устраиваем дважды в год, стенка на стенку. Кого тут только нет! Самые махровые реконструкторы – они чуть ли не из руды железо варят и куют потом аутентичными молотами в аутентичных кузнях. Чтобы пойти в "Леруа" молоток купить или с Али-экспересса заклепки – да ни боже мой! Только хэнд-мейд, только хард-кор! Они и пиво, кстати, варят сами и привозят потом эту жуткую бурду. Их по запашку за километр найти можно. Интересно, они подтираются тоже аутентичными подтирками? Нет, мне все-таки в этом отношении наше время милее. Мне не западло железо болгаркой отрезать или даже у друга Прохора на гидрорезке раскроить, или там дрелью где надо просверлить – это ведь проще и быстрее, чем зубилом или точильным камнем месяц дрочиться. И Леруй с Аликом самые-разсамые в этом деле мои друзья. Ну, тут уж кому что – кому-то процесс не менее важен, чем

результат. А мне только надо, чтобы меня не угробили двуручником или алебардой по башке, и зубы чтобы не повыбивали кованой варежкой, а как это снаружи выглядит и тем более – как это делалось, мне до фени. Я тут, наверное, к ролевикам ближе.

Хотя ролевикам нашим – им очень даже есть дело, кто как выглядит. Они как разоденутся в свое ролевое, так самые что ни на есть красавцы и красавицы. Всяко они не руками все это шьют и не из крапивы свои ткани ночами плетут. И какие наряды на них – просто haute couture! Одна знакомая ролевичка показала как-то свою швейную машинку. Это, друзья, чистый инфаркт микарда! У меня машина, на которой я сейчас еду, в два раза меньше стоит, и хитрых штук в ней в сто раз меньше, чем в той.

В общем, еду мимо Сада, любуюсь древесными чудесами под снегом, высматриваю – нет ли кого на наших площадках. Но никого нет. Все в снегу – валило на неделе не по-детски. Да и морозно – а по морозцу в железе бегать не очень-то.

У дальнего края Сада – троллейбусное кольцо. Тут Проспект как бы тонко намекает, что он все, кончился, и хорошим мальчикам пора возвращаться отсюда обратным зеркальным порядком. И дорога тоже как будто бы кончилась – она делает плавный такой разворот и превращается во встречку, убегает обратно по той, солнечной, стороне. Но вот трамвайные рельсы, которые нашу сторону от встречки отделают, тянутся себе дальше – видать, для плохих мальчков, или для хороших, но хитрых. И наша полоса от большого дорожного кольца втихушечку отделяется, переваливает эти трамвайные пути, превращаясь попутно из односторонней в нормальную двустороннюю, прихотливо выворачивается и продолжается дальше, дальше. Ну и я тоже еду дальше – мне-то туда и надо. Потому что на последнем у Сада доме был номер триста с чем-то, а мой чувак с ногами – в шестьсот втором или в шестьсот двадцатом, уже не помню, и открывать письмо, останавливаться мне лень.

И я еду по Проспекту, который теперь превратился в тощенькую двухполосочку, дальше. А она спускается в низинку, потом плавно уходит вправо и опять взбирается на пригорок – и оттуда я вижу целый безбрежный океан частного сектора. Мелкие домишки –

как таракашки прыснули от черной нитки дороги вверх по белоснежным уже крыльям холмов по обеим ее сторонам. И это уж точно не Простпект Ратуш и Замков – это Проспект ферм, лесопилок и кузниц, а стало быть, мне точно туда.

Тут солнце как раз выползает в самую тыковку небосвода, а из воздуха волшебным образом кристаллизуются тончайшие снежные пластинки, медленно падают и сверкают на фоне жидкой зимней небесной молочной синевы самыми нереально-чистейшими цветами спектра. И я понимаю, что и здесь мне рады, и здесь я свой – и я здороваюсь с незнакомым мне Проспектом от всей своей растаявшей души.

И в далекой дали я вижу обещанные чуваком новостройки – три такие здоровенные синие жлыги, их кое-как видно на фоне разбавленного чуть голубоватого неба. Ну а что, мне ж примерно триста домов еще проехать – сто писят, если прикинуть, что они по обеим сторонам дороги. А это по частному сектору, где между домами чуть ли не поля заложены. И это как раз дофигенное дофига.

Ну, мне-то что? Мне классно, я гуляю и наслаждаюсь неожиданным приключением. У меня в машине египетские апельсины, сладкие, как мед, а снаружи белый снег, настоящий праздник и Новый год.

Скоро впереди замаячила церковь – от которой мне то ли направо, то ли налево. Ну, подъеду и разберусь, а пока не хочется возиться.

Церковь оказалась такой монументальной, высотой наверное с девятиэтажку. Хотя домов рядом нет, и сориентироваться мне не по чему. Но деревья вокруг сильно ниже нее, а они, по всему видно, не молодые. Странная церковь, уж больно суровая. С одной стороны у нее ремонт был, и там она выглядит вполне по-современному – но зато с другой стороны она так и пышет древностью, как будто прямо из земли тысячу лет назад поднялась, а потом неумолимое время над ней изрядно поработало. Просто-таки Храм Истины, да простят меня местные обитатели.

Я остановился у кружевного кованого забора, чтобы сориентироваться. Но не тут-то было! Кроки-то чуваковые были в мессенджере вконтактика, а на телефоне сейчас только еж, и то всего одна палочка. Блин, вот же я, дитя информационных технологий! Тут

на звонок бы еще хватило, а на вконтактик точно не хватит. Можно конечно было бы развернуться и ехать обратно, пока не появится нормальная связь, но неохота. А впрочем, новостройки-то – вон они синеют, поеду по азимуту, не заблужусь поди. Еще раз сам себе сказал – все-таки не глухой лес.

Хотя, честно говоря, вокруг церкви этой уже вполне себе почти глухой. Домов вокруг нет, и даже трамвайное кольцо стало мне прозрачно намекать, что это второе китайское предупреждение.

Ну ладно, в конце-концов вернусь снова к исходной, если что. Рискну. Тем более, что дорога, хоть и стала теперь уже вообще узкой ниточкой, где вдвоем кое-как по обочине и разъехаться, но все еще есть и убегает от странной церкви и в одну, и в другую стороны. Тыркнулся вдоль заборчика справа – с новой, нестрашной стороны, – но дорожка как-то быстро превратилось в засыпанное снегом недоразумение, и я засомневался. Сдал назад, тыркнулся с другой стороны – о, тут все ок, накатанная колея. Решал ехать по ней, а там видно будет.

Дорожка привела меня в махровейший частный сектор. А по частному сектору ехать – кто не знает, лучше вообще-то не. Особенно зимой. Там чистят так себе, и дорога состоит из одних ям, да таких, в какие надо спускаться, ехать-ехать по дну и потом выбираться, как на Эверест – чтобы тут же в другую опять спуститься. В общем, еду я вверх-вниз, вверх-вниз, на дома таращусь. А дома все ладные, как на подбор – рубленные из стволов толщиной в полтора меня. Но на вывесках все тот же Проспект, и номера уже за четыреста. Снег меж тем такой белый-белый, какого в городе зимой не бывает в принципе. И солнце от него отражается, как от зеркала, и в глазах сплошной калейдоскоп. А окна в домах не по-деревенски большие, из труб дымок поднимается – я даже стекло приопустил, чтобы понюхать. М-м-м! Воздух просто как я не знаю что – сочный, хрусткий, с нежным дымковым привкусом – и не тем, как у нас в частном секторе, которого почти в центре полно понатыкано, и там от печных труб какой-то гадостью несет, как от железнодорожных шпал. А этот – как будто кто балык коптит на ореховой щепе. Аж слюнки побежали. А потом совсем деревенским запахом потянуло – терпким,

земляным и хлебным, так дорогой пуэр пахнет, между прочем. И небо стало как будто выше и синее. Я смотрю – а новостроек-то что-то не видно. А потом решил, что это такой финт. Они же синие – вот точь-в точь как небо сейчас стало. Ну, думаю, архитекторы молодцы, как ловко придумали – и не портят эти жлыги такой офигительный пейзаж.

А номера меж тем уже к шестой сотне, и скоро дом моего чувака должен показаться. И тут дорога делает такой плавный разворот. И уже этому третьему китайскому предупреждению я никак не могу не внять, потому что дороги дальше нет. Я паркуюсь на обочине, где пошире, и оглядываюсь. От кольца идет расчищенный проезд к здоровенным кованым воротам. А на воротах на железной цепи болтается кованая же нога в масштабе наверное три к одному.

Ну, думаю, нифига себе, антуражный мужик! Подхожу к воротам и ищу кнопку или еще какое средство коммуникации – и тут из-за ворот кто-то тихонечко спрашивает: "ГАВ?". Я даже не понял, что это собака – так деликатно это ГАВ прозвучало. И если это действительно собака – то не меньше цербера размером, потому что у нее такой басище – ну чисто собачий Шаляпин. У меня внутри какой-то стакан точно разлетелся в дребезги. И я уже готов развернуться и дать деру, но тут ворота загромыхали, и створка медленно отъезжает. И оттуда выходит кузнец. Блин, настоящий кузнец – в кожаном фартуке, со здоровенными черными клещами в руке. И пар от него валит, как от паровоза.

– О, – басит он, – никак покупатель в наши края? Проходи, проходи! Малыш, гостя пропусти!

Малыш – это он Шаляпину. И Малыш отодвигает свою мохнатую задницу размером с пол моей машины, и я вижу прорытый в сугробище выше роста снеговой ход, который упирается в распахнутые двери каменного сооружения. Возле него как будто лето – снега нет в помине, только ладненькие бока булыжников влажно поблескивают из отмостки.

– Ну, заходи, заходи, – гудит хозяин и отворяет дверь. Из двери пышет жаром, как из бани, и воздух сразу трясется весь, как желе. Меня в жар так и бросило – не смотря на легкую мою машинную одежку. – Тебе полный доспех или как?

– Не, мне ноги только, мы про ноги договаривались, – напоминаю.

– А-а-а, ну ноги так ноги. Выбирай.

И кивает головой в дальний угол.

Я захожу внутрь и теряю дар речи намертво.

Чувак по-ходу супер-мега крут. У него в углу настоящий кузнечный горн с мехами, здоровенная литая наковальня размером мне по пояс, рядом деревянная кадушка с водой. А в другом углу на кованых крюках развешены всякие части доспеха – и ноги, и локти, и шлемы – и чего там только нет.

Он окидывает меня оценивающе, как продавщица в каком-нибудь Манго или H&M.

– Что-то ты не шибко крепкий, я посмотрю. Но погоди…

Он отправляется куда-то вглубь ряда и выносит пару потрясающих ног. Протягивает их мне.

– Вот, вроде эти хорошо тебе будут.

У меня сердце делает кульбит и обмирает, как цирковая жучка по команде "умри".

Потому что это (АААА!) такие настоящие ноги, которые я у самого-разсамого реконструктора доспеходрочера никогда не видел. Я собираю с пола челюсти и пячусь от такого чуда подальше.

– Что, не нравится? – удивленно спрашивает хозяин.

– Да вы что, нравится, нравится конечно! – не скрываю я. – Я бы на каждой такой ноге женился, честное слово! Но у меня денег на такое не хватит, даже если я почку прямо сейчас продам.

– Почку? – недоумевает он. – Зачем почку? Не, почку не надо.

– Вы, наверное, меня не поняли. Я про те ноги, про которые мы договаривались. Ну, в Контакте, в "Мятое и Всратое".

– Мятое? Тебе ее что, помять что ли?

И тянется к ноге своей лапищей. И я понимаю – он может. Сейчас возьмет и помнет ее, как туалетную бумагу.

– Нет-нет-нет! – кричу. – Что вы, не надо мять! Я имею в виду, что вы обещали ноги бэ-у!

– Бэу? – не понимает он.

– Бэ-У – в смысле старые! А эти – эти новые совсем!

– А, – понимает наконец он. – Так тебе надо хлам!

– Да! – радуюсь я.

– Ну… – он с сожалением смотрит на меня, видать, жалеет то ли нищего кошельком, то ли скорбного умишком. Смотрит на ноги и, наконец, со вздохом вешает их на крюк.

– Жалко, эти бы тебе очень здорово подошли. Не часто в наших краях такие рыцари… миниатюрные!

– Да я и не сомневаюсь, что подошли бы, но, видите ли…

– Да ладно, не извиняйся, что я, не понимаю, что ли… бывает, поиздержался. У меня приходил один тоже… лет пять или шесть назад. Или десять. Годы эти – сам знаешь, как вода. Хлам забрал, навроде тебя. А тут говорят, поднялся, известный стал человек. Да ты поди знаешь его, у него еще имя такое… Готфрид Суповой, что ли… Готфрид Щи… Знаешь его?

– Не-а, – признаюсь, – не слышал. Я одного только Готфрида знаю – внука моей соседки, теть Лены. У него отец ролевик, так вот назвал его Готфридом. Но он еще маленький. И точно не Суповой и не Щи. Он Платов.

– Ну и бог с ним. Пойдем, я тебе хлам покажу.

И тянет меня в дальний угол. Вытаскивает здоровенный сундук и откидывает крышку.

И тут сердце мое уже окончательно взрывается от невыносимого счастья.

Сундук полон самым натуральным мятым и всратым железом разного калибра, как будто вчера собранного после хорошей такой заварухи.

И я даже не знаю, от чего я больше балдею – от новеньких ног или от этого сундука. Я таращусь на него, как младенец на кулек конфет. А тот говорит – ну, что, берешь?

– Конечно, – говорю, – беру, какой разговор! Только помогите мне ноги достать, а то залезу туда и поселюсь навеки в этих сокровищах.

– Да забирай все, чего тут копаться!

– Нет-нет-нет! У меня столько денег нету.

– Да что оно стоит-то? – удивляется тот. – Это ж хлам!

– Хлам – не хлам, а вы за него можете хорошие деньги выручить.

– Вот ты и выручи, – говорит. – А мне… ну совсем не с руки это продавать. Меня ж засмеют!

– Нет, – вздыхаю я. – Спасибо огромное, но нет. Я вынужден отказаться.

– Ну вынужден так вынужден, – басит он и вытаскивает пару ног – ну такие, какие мне в сладких снах снились. Настоящие боевые ноги, где надо мятые, как надо всратые.

– Ну, пошли, – говорит, – если тебе ничего больше не надо. Пошли, вынесу их тебе, да мимо Малыша провожу.

Идем мы по снежному проходу, мимо мохнатой задницы – и она разворачивается к лесу задом и к нам передом, и улыбается мне во все свои сто тридцать четыре зуба. Рот у нее, у него то есть, у Малыша, огромный, как чемодан.

Выходим за ворота. Он оглядывается недоуменно и спрашивает:

– А где твоя лошадь?

Ну не выходит из роли чувак, ну круто.

– Нету, – говорю, – лошади. Безлошадный я. Я по-простому, на машине.

– На чем? Вот на той коробке что ли?

– Да.

– О, брат… Да ты нищий совсем! – натурально печалится он. – Бери, давай, эти ноги и делай с ними что хочешь.

Сваливает их у машины, разворачивается и уходит.

Я только ртом как рыбка – ап-ап-ап, а деньги?

Он рукой махнул, не оборачиваясь.

– С безлошадного деньги брать? Ты совсем сдурел что ли? Это кто ж я буду, если безлошадного начну обдирать?

– Нет-нет, нет, – кричу, вспомнив про апельсины. – Подождите! Давайте, я вам хоть фруктов дам! Гостинец! У вас же наверняка ребятишки есть?

– Хруктов? – оборачивается он, и тут глаза у него вытаращиваются, не хуже, чем у меня там, в кузнице. – А это у тебя что такое?

– Апельсины, – радуюсь я. – Египетские! Берите, очень вкусные, просто мед!

– Ебипетские!?

Он оборачивается и…

И убегает в ворота. Я только слышу из-за ворот его бас:

– Снежка-а-а! Иди сюда, тут живой герой Крестового похода из самого Ебипета пришел! Без лошади!

А из ворот выбегает девчушка лет может десяти – шубка ладненькая на плечи накинута, на голове пуховый платок сикось-накось, видно, бегом одевалась. Подбегает ко мне, таращится на апельсины и замирает в благоговении.

– Ого! Они настоящие?

Ну, в точности, как я давеча со своими ногами.

– Да, – говорю, и сую ей в руку всю сетку. – Держи!

А тут хозяин вернулся, сундук в охапке тащит.

– Вот, – говорит, – забирай.

– Нет-нет-нет, – пытаюсь возражать я. – Вы что! Да я его в машину не засуну!

– Ну, так давай я сейчас засуну, – говорит он и хватает мою машинешку за багажник, как обувную коробку. Я только успеваю вокруг попрыгать, как собачонка. – Бери и даже не разговаривай! А то вон Малышу тебя скормлю из жалости!

А Малыш из ворот улыбается своим чемоданом и говорит, соглашаясь – ГАВ.

В общем, открыл я багажник, пока он не оторвал его к хренам, и он всунул туда сундук. Тот вошел одним боком, а вторым торчком из багажника торчит.

Машина даже буксануть попыталась, но он ее лапищей подцепил и на дорогу вытащил. Я из двери высунулся, кричу:

– Спасибо вам! Спасибо огромное!

А он:

– Бульонский! – кричит. – Я вспомнил – Готфрид был у меня Бульонский! Привет ему передавай, как увидишь!

Я кивнул, еще раз поблагодарил его и поехал себе обратно.

Дорога уже совсем не страшная – после такого приключения что мне какие-то ямы! А вот и церковь.

Едва трамвайное кольцо проехал – ожил телефон. Посыпались и из вконтактика сообщения, и смски, и пропущенные. Перезваниваю чуваку – а он: "Ты где пропал-то, – кричит, – я жду и жду! На твои ноги уже

очередь пять человек выстроилась! Я же сейчас их продам, если ты не приедешь!".

А я смотрю в зеркало на торчащий из багажника сундук и говорю чуваку – прости, мол, форс-мажор случился, и я теперь, наверное, не буду у тебя эти ноги покупать. И наверное ничего никогда ни у кого покупать не буду.

– О... что, совсем у тебя все так плохо? – спрашивает он.

– Нет, – говорю, – чувак. По-моему, наоборот – у меня теперь вообще все хорошо!

И улыбаюсь во всю пасть, что твой Малыш.

Юлия Ткачева

Коробка

Глафира нашла коробку, большую такую, крест-накрест перевязанную верёвками. Коробка лежала на земле у мусорных баков, той стороной, которой лежала, коробка была грязная, а всеми остальными сторонами – чистая, только немного мокрая, потому что шёл дождь. Коробка была не пустая, чувствовалось, что внутри неё что-то есть, когда Глафира её трясла, там шуршало и перекатывалось. Глафира хотела открыть коробку на месте, но испугалась, что кто-нибудь появится, а вдруг в коробке лежит хорошее, и тогда это хорошее у Глафиры могли отнять, или заставить делиться, поэтому Глафира схватила коробку и понесла в подвал. С теми, которые в подвале, тоже придётся делиться, но это не так обидно, они что-то вроде своих.

В подвале интересную находку у Глафиры, конечно, сразу же отобрали. Игнат с Василием распутали верёвки и открыли коробку, только оказалось, что внутри нет вообще ничего, непонятные какие-то лоскуты, которые рассыпались в пыль прямо в пальцах, эта пыль клубилась в коробке, пока Игнат и Василий шарили внутри руками, пытаясь что-нибудь ухватить. Когда Игнат перевернул коробку, пыль просыпалась на пол подвала и разлетелась в разные стороны, ещё оттуда выпали и шмякнулись на пол ветхие остатки серых тряпок, в общем, совсем бесполезная оказалась коробка. Она же тяжёлая была, не поняла Глафира, дура, сказал ей Василий, а Игнат ничего не сказал, он ругался, потому что от пыли расчихался и погасил свечку, и теперь не мог найти спички, а Миха из своего угла замычал что-то недовольное, он не любил, когда ругаются. Пустую коробку забрала себе Нинка, сказала, что будет укладывать в неё спать Котиньку. Котиньке было всё равно, где спать, только Нинке про это никто не стал говорить.

Ночью Глафира долго не могла заснуть, потому что Миха мычал во сне, и Нинка тоже мычала, только не

во сне, а потому что пела своему Котиньке колыбельную, в этот раз она пела как-то особенно долго, может быть, из-за новой кровати-коробки. Мимо подвала ехали машины, от них в окошко под потолком падал свет, по подвалу прыгали тени, это было красиво и немножко похоже на кино, потому что тени каждый раз прыгали по-другому, будто живые, Глафира раньше не замечала, как это интересно, она стала их считать, но сразу же сбилась, теней было слишком много.

На другой день Игнат сказал, что никуда сегодня не пойдёт, потому что у него болит голова, и велел не орать, у Глафиры ничего не болело и она пошла из подвала, по обычному своему маршруту, до мусорных баков рядом с магазинчиком на автобусной остановке, но день получился неудачный, опять шёл дождь, промокла куртка и ничего интересного она не нашла. А когда Глафира вернулась в подвал, оказалось, что Миха встал и ходит туда-сюда, держась за стенки, чего не было с прошлой, вроде бы, осени, все думали, что он вот-вот и всё. Миха ковылял и с интересом разглядывал всё вокруг. Никто ему не мешал, всем, в общем, было наплевать, и Глафире тоже. Зато ночью никто не мычал, ни Миха, ни, почему-то, Нинка. Глафира почти сразу заснула, хотя собиралась немного посмотреть вчерашнее кино с прыгающими по стенам тенями.

Утром Михи в подвале не было. Нинка была, но какая-то пришибленая, она не прижимала к себе и не гладила, как обычно, Котиньку, зато долго возилась с одеждой, перетряхивая свои запасы, в конце концов отыскала что-то поцелее и ушла, а Глафира осталась, после вчерашнего дождя ей никуда не хотелось, а еды кто-нибудь, может, принесёт.

Еды никто не принёс, а Нинка вообще не вернулась, что было очень странно, потому что Котинька по-прежнему лежал в коробке, глядя в потолок стеклянными глазами. Игнат тоже не вернулся, и Миха не вернулся, так что в подвале остались только Глафира с Василием. Василий начал поглядывать на Глафиру с интересом, раньше он тоже так поглядывал, но раньше здесь был Игнат, который не уважал вот этого всего, и Миха, который начинал мычать и биться, если при нём кто-то ругался, дрался или кричал, а теперь ни Михи, ни Игната не было, Глафире стало неспокойно, она решила не спать, это было легко,

потому что до этого она проспала целый день.

Поэтому она опять смотрела, как от света машин по стенам прыгают тени, у неё даже получилось представить, как они бродят по подвалу туда-сюда, разглядывают всё вокруг и трогают стены, как Миха вчера, и её матрас тоже трогают, и дёргают за шторку, за которой спал Василий. Это было смешно и Глафира тихонько захихикала в своём углу, испугалась, что услышит Василий, но тут же поняла, что нет, не услышит, потому что вообще-то у него сейчас другие, намного более интересные дела.

Проснулась Глафира поздно, и сразу поняла две вещи: в подвале никого, кроме неё, не осталось, и ей очень нужно на свежий воздух. Она выбралась наружу, там, действительно, стало легче. Пошла к любимой автобусной остановке с мусорными баками, но почти сразу остановилась, осознав, что больше этого делать не нужно. Поглядела на остановившийся автобус, увидела за стеклом, в окне, кого-то, очень похожего на Миху, точно понять Глафира не успела, потому что этот Миха был без бороды и выглядел совсем по-другому, но, кажется, это всё-таки был он. Автобус закрыл двери и уехал, а Глафира повернулась и пошла обратно в подвал, потому что забыла сделать одну важную вещь, ведь она осталась последняя, значит, кроме неё, некому. Спустилась вниз, взяла коробку, в которой по-прежнему лежал Котинька, и, кроме него, в коробке опять были остатки серой лоскутной пыльной ветоши. Глафира достала Котиньку из коробки и хотела было бросить на старый Нинкин матрас, но поглядела в грустные стеклянные глаза, погладила тряпичную лапу и пожалела, сунула в коробку обратно, какая, в общем, разница, Котинька никому и ничему не помешает. Закрыла коробку крышкой, перевязала верёвкой и пошла из подвала, прижимая коробку к боку, теперь уже насовсем.

ПТСР

По ночам ему снятся кошмарные сны. Я смотрю их вместе с ним. В какой-то степени эти сны и есть – я. Иногда перед тем, как проснуться, он кричит. Проснувшись, глотает сразу несколько круглых белых таблеток, но таблетки от меня почти не помогают.

Ну почему, говорит он по телефону, ведь всё обошлось, всё закончилось, почему же тогда каждую ночь я возвращаюсь туда? Я больше не могу, говорит он. Потом молчит, слушает шуршание в трубке. Потом кричит: в гробу я видал такой посттравматический синдром, и швыряет телефон на пол. Потом сидит, раскачиваясь, обхватив голову руками.

Один раз он попробовал выпить вина, но стало только хуже, от вина я делаюсь более заметным, делаюсь почти видимым. Больше он не предпринимал подобных попыток. В ту ночь он просыпался несколько раз, и дважды – от собственного крика.

Днём он старательно делает вид, что всё в порядке. Иногда даже верит в это. Особенно после того, как вышел из больницы и вернулся в школу. Теперь на его уроках идеальная дисциплина. Они его обожают, почти все девочки в него влюблены.

Их двадцать семь. Если бы не он, не осталось бы никого. Никого, он знает совершенно точно, потому что я показываю ему это почти каждую ночь. Показываю сны, полные треска огня и клубов дыма, сны, в которых он, кашляя и задыхаясь, раз за разом сворачивает не туда, и цепочка из двадцати семи звеньев, держащихся за руки, сворачивает за ним.

Сразу после того, как всё произошло, его много спрашивали: как? Просили рассказать, уточняли какие-то детали. Он всем говорил одно и тоже: я не помню. Ему не очень-то верили, но он действительно не помнил почти ничего после того, как запахло дымом и оказалось, что путь наружу отрезан, и единственное, что они могут сделать – пытаться пробраться через путаницу внутренних коридоров.

Иногда к нему приходят родители, они до сих пор приходят, хотя прошло уже много времени. Я понимаю, что много, потому что чувствую: я стал прозрачнее и тоньше. Это чудо, говорят родители. Он не спорит,

знает, что они правы. Я тоже это знаю, лучше, чем он, лучше, чем все они. У них не было шансов выбраться, почти совсем не было. Именно поэтому я сейчас здесь. Именно поэтому он видит сны о том, как всё могло быть, как всё должно было быть. И чем дольше это продолжается, тем больше он понимает, как же сильно, невероятно, невозможно им повезло. Тем больше осознаёт нереальность происходящего.

Посттравматический синдром, бормочет он, вздрагивая от шума за окном. Он почти замечает меня сквозь теряющую краски действительность: россыпь цветных пятен на краю зрения, сквозняк, дующий ниоткуда. Он почти готов, осталось совсем немного, и это хорошо, потому что я устал растягиваться, устал держать связь между здесь и там, между существующим и несуществующим. Он тоже устал, и всё меньше различает: где сон, а где нет. Всё больше подозревает, что, может быть, так до сих пор и не выбрался из горящего здания, и никого из этого здания не вывел; что он до сих пор бродит внутри, видя в дыму сны о несбывшемся.

В каком-то смысле, это действительно так.

И тогда он, наконец-то, понимает, что нужно сделать.

Идёт в библиотеку и просит старые планы сгоревшего дома-музея – со всеми его переходами, пролётами, лестницами, давайте всё, что у вас найдётся. У них много чего находится, и он долго сидит, разбираясь с чертежами, рисует и отбрасывает схемы, проводит стрелки, делает пометки. Ещё раз идёт в библиотеку, что-то уточняет. Звонит знакомому архитектору, задаёт вопросы. Когда знакомый интересуется, зачем ему это, машет рукой и говорит: что-то вроде терапии, не обращай внимания, просто ответь. Снова рисует, проверяет и перепроверяет. Убеждается в том, что теперь он точно знает, куда идти.

Ну, давай, бормочет он следующей ночью, закрывая глаза, поехали, где ты там. Я – здесь, и мы с ним вместе проваливаемся в сон, который уже совсем не сон, я становлюсь тоннелем, прочно соединяя реальность с реальностью и надеясь, что у него получится, и что мне не придётся схлопываться в не-случившееся, будет ужасно жаль. Мне очень хочется

ему помочь, я столько времени с ним провозился, теперь он непременно должен справиться.

Он открывает глаза, вокруг пахнет дымом. Так, ребята, говорит он очень спокойно, настолько спокойно и уверенно, что все сразу замолкают, девчонки перестают визжать, и все слушают его. Так, ребята, взялись за руки и идём за мной, говорит он, нам вон в ту дверь и по коридору направо.

Дежурство

Дежурить надо, конечно, на перекрёстке, это самое удобное место, сразу несколько улиц хорошо просматриваются, каждого прохожего заметно издалека. Но зато и ветер здесь дует, точно вам говорю, со всех четырёх сторон одновременно: куда ни повернись, ветер тут же радостно швыряется тебе снегом прямо в лицо.

Петрович притопывает на месте, хлопает руками в меховых перчатках, кончик носа у него покраснел. Я смотрю на него, и меня пробирает холод, которого я только что почти совсем не чувствовал – уж больно заразительно, со вкусом мёрзнет Петрович.

– Гляди, – говорит он, выдыхая вместе со словами белое облако пара, – гляди, вон, вроде бы, наш клиент.

Я гляжу, куда он показывает, и киваю: молодец, Петрович, всё правильно, наш клиент и есть. Идёт, покачиваясь из стороны в сторону, вид усталый, пустой мешок на плече красной тряпкой повис. Укатала дедушку праздничная ночь.

Мы идём ему навстречу – а бедняга, кажется, даже этого не замечает. Раз в несколько секунд он рывком поднимает голову, мутным взглядом оглядывается вокруг и слегка изменяет траекторию движения, ориентируясь на светящуюся махину главной городской ёлки. За ним остаётся неровный зигзаг следов, их быстро засыпает снег.

– Привет, – говорит Петрович не очень громко, чтобы не испугать клиента.

Бывает, что, услышав незнакомый голос, кто-то бросается бежать, а гоняться за ними по сугробам, прямо скажем, удовольствие ниже среднего. Этот испуганным не выглядит, уже хорошо.

– Эй, привет, – повторяет Петрович, – Ты меня слышишь?

– С-слышу, – бормочет клиент, не очень внятно, но разборчиво. – С-с праз-зником, рбята.

– С праздником, дедушка мороз! – отвечаю я. – Ты подарки нам принёс? Честное слово, мы хорошо себя вели в этом году!

Он останавливается, трясёт мешком и разводит руками:

– Н-ни одного пдарка н-не осталось!

– Это жаль, – вздыхает Петрович. – Ну тогда, может, какое-нибудь желание исполнишь?

Дед мороз серьёзно задумывается и неуверенно говорит:

– Мне бы…

Останавливается, вздыхает, с явным усилием встаёт ровнее и произносит довольно-таки отчётливо:

– Мне бы домой, ребята. Поздно уже. Устал я, весь день работал, – и, в доказательство своих слов, ещё раз трясёт мешком.

Ой-ёй, вот это совсем плохо. Настолько плохо, что я даже слегка теряюсь – когда клиенты ведут себя так, меня накрывает, я об этом хорошо знаю и ничего с этим поделать не могу.

А дед мороз между тем стоит, глядя на мигающую ёлку, хмурится и шевелит губами – ещё немного, и он, пожалуй, припомнит свой адрес, достанет из кармана паспорт и попросит проводить его домой. На этой стадии я практически бессилен. Хорошо, что как раз для таких случаев у меня есть Петрович.

Он приобнимает клиента за плечи, тот не возражает, хотя явно не очень доволен, но Петрович, не обращая на его недовольство ни малейшего внимания – у меня бы так точно не получилось – ведёт его за собой.

– Ну, ну, – бурчит Петрович, – домой это, конечно, хорошо, домой это правильно, только давай сначала посидим, погреемся, поговорим, у нас как раз тут машина, вон она стоит, недалеко, сам говоришь, устал, еле на ногах держишься.

Он аккуратно подводит его к машине, открывает дверь и помогает забраться на заднее сидение, закрывает дверь, выпрямляется и вздыхает:

– В последний момент поймали, похоже.

– Точно, – говорю. – Спасибо, – говорю.

Петрович нетерпеливо шевелит заиндевевшими бровями и кивает на машину – какое, мол, спасибо, давай уже, твоя работа только начинается. Это правда, ничего не скажешь, и я ныряю внутрь.

Клиент сидит неподвижно, только хмурится, пытаясь сообразить, где он и что с ним происходит. Глядит в окно – но мы с Петровичем специально

поставили машину так, чтобы ёлки не было видно. Между прочим, пришлось постараться, потому что эту здоровую фигню видно отовсюду, как маяк – собственно, она, в каком-то смысле, и есть маяк, мимо не пройдёшь. Зря, что ли, мы дежурим именно тут. В общем, в окно глядеть смысла нет, там только снег и немного стены рядом стоящего дома, клиент отворачивается и вопросительно смотрит на меня.

– Мешок-то с плеча сними, – я говорю мягко, успокаивающе, чтобы не спугнуть клиента. – Всё равно он уже пустой, правда?

– Н-нет, – упрямо мотает головой, – К-какой же я тогда буду дед-мроз без мшка?

– Никакой, – честно отвечаю я. – Да ты, по правде сказать, и сейчас никакой, разве нет?

– Да! – неожиданно соглашается он и бросает мешок на сидение.

Я выдыхаю. Петрович снаружи всё видит и незаметно для клиента показывает мне большой палец. Лиха беда начало, всё у нас получится.

– Вот и хорошо, – продолжаю я. – Может, шапку тоже снимешь? Тут тепло. Зачем тебе шапка?

– Тепло, – подумав, отвечает клиент, прикасается к шапке и отдёргивает руку.

– Чай, – предлагаю, – будешь?

Не дожидаясь ответа, отвинчиваю крышку термоса, острый травяной запах заполняет машину, я закрываю глаза и дышу, настраиваясь на нужный лад.

– Эт-то что?

– Просто чай. Пей. Помогает успокоиться и ни о чём не думать, это как раз то, что тебе сейчас нужно, честное слово.

Неуверенно протягивает руку, берёт чашку, делает глоток. Молчит. Хорошо.

Я говорю:

– Конечно, ты устал, столько всего, та ещё ночка выдалась, правда? Ёлки, игрушки, подарки, мишура и прочее.

Он делает какое-то движение – то ли пожимает плечами, то ли вздрагивает. Неудивительно.

Я говорю:

– Они не хотели ничего плохого, честное слово. Особенно дети. Тебе просто не повезло.

Говорю:

– Понимаешь, они здесь одновременно и верят в чудо, и не верят в него, причём всей большой человечьей толпой сразу, для таких, как ты, это практически идеальная ловушка, легко свалиться и почти невозможно выбраться. Приходишь на зов, становишься тем волшебным, чего они так ждут, и вдруг оказывается, что все или почти все вокруг считают, что ты вовсе не чудо, а обыкновенный человек, такой же, как они, только с накладной бородой и в красной шубе, с одним-двумя ты бы справился, но их слишком много, и вот к вечеру ты уже забыл, кто ты, забыл, зачем и почему спустился сюда, забыл, что сегодня просто ночь открытых дверей, одна из многих, и что ты просто заглянул, отозвавшись на приглашение поиграть, а тут, понимаешь, такое.

Говорю:

– … . …, …! … …, … … … !!

Дверца машины распахивается, хорошо, что Петрович успевает отпрыгнуть, плохо, что он при этом падает спиной прямо в сугроб, хорошо, что сугроб свежий и мягкий. Из машины в небо с треском устремляется поток света, рассыпается фейерверком, гаснет.

Бегущий мимо прохожий поднимает голову, провожает взглядом и спешит дальше – кто будет сегодня удивляться салютам, в самом деле.

– Ух ты, – говорит Петрович. – Яркий какой. Сиреневый.

Я сижу, перед глазами вспыхивают сиреневые пятна. С трудом удерживаюсь от того, чтобы не рассыпаться и не взлететь самому. Как раз для таких моментов у меня есть Петрович.

– Ты в порядке? – он кладёт руку мне на плечо, рука тяжёлая и она придавливает меня к сидению, возвращая материальность.

Это правильно: ещё почти вся ночь впереди, работы полно.

– Поехали, – говорит Петрович, – прокатимся до отделения, Лена звонила, сказала, привели там одного, лыка не вяжет. Хорошо, если напился, а вдруг из ваших?

– Ты ей сказал, чтобы его никто не спрашивал, как его зовут и где он живёт? – быстро уточняю я. – А

то, если он вдруг из наших, пока мы едем, твои ребята из лучших побуждений угробят его в человека насовсем.

– Конечно, сказал, – обижается Петрович. – все ж знают, что по дедам морозам сегодня я дежурный.

И мы едем в отделение.

Сосиска

Ладно, говорит Димка, признавайтесь, что вы всё наврали, и пойдём уже, сколько можно, торчим здесь, как дураки. Тише, шепчет Оля, ну, просили же не шуметь, спугнёшь. Я ногу отсидел, возмущённо шепчет Димка в ответ, и вообще, кого я спугну, никого я не спугну! Лариска кладёт ему руку на плечо, и говорит, ну чего ты, ну ты же обещал. Смотрите, перебивает её Денис, вот оно. И тут уже все видят: действительно, вот оно. Димка открывает рот – и закрывает с шумным выдохом, так ничего и не сказав, потому что Лариска дёргает его за куртку и прикладывает палец к губам.

Женька запускает руку в сумку, достает сосиску и кладёт на землю перед собой.

Оно медленно подходит – или всё-таки подползает? – в общем, приближается, бесшумно перетекая по земле, неслышно переступая лапами, лохматая, густая тень, почти незаметная, если не вглядываться пристально. Накрывает собой сосиску и слегка колышется. Женька шарит в сумке, вытаскивает вторую сосиску, кладет рядом с первой – вернее, рядом с тем местом, где только что была первая, потому что, кажется, её уже нет.

А это, тихо спрашивает Димка, вот это что? И показывает на розовую ленточку, завязанную бантиком где-то на условной шее.

А это я, говорит Оля, в позапрошлый раз принесла и завязала, правда, красиво? И ему, по-моему, нравится. Она опускает руку вниз и чешет за ленточкой.

Если прищуриться, Димка, в принципе, может представить себе там, под её рукой, ну… скажем, большую косматую собаку. Задержав дыхание, он тоже опускает руку и осторожно гладит, руке становится прохладно и чуть покалывает, мохнатые пряди струятся между пальцами.

Женька достает третью сосиску, даёт Денису в свободную руку и Денис, почти зажмурившись, протягивает её, дожидается, пока что-то аккуратно потянет за сосиску, и только тогда отпускает.

Оно медленно жуёт – поглощает – сосиску, и вдруг замирает, припав к земле. Димка и остальные

слышат шаги.

Ребята, вы вообще в курсе, сколько сейчас времени, спрашивает сторож в оранжевой куртке. Парк, если что, в одиннадцать закрывается.

Ой, говорит Лариска тоненьким голосом, вы нас простите, мы загулялись. Димка смотрит на землю перед собой: там ничего нет, только совсем маленький кусочек сосисочной шкурки рядом с его левой кроссовкой.

Мы уже уходим, извините, говорит Денис.

Пока они идут к выходу из парка, Димка думает, вот это да, а я не верил, с другой стороны, а кто б поверил, пока сам не увидел, вот это да.

Лариска думает, надо будет его в следующий раз тоже прямо из рук покормить, вот Денис же решился, не испугался, молодец, и чего я боюсь, спрашивается.

Женька думает, интересно всё-таки, оно в парке появляется, потому что там какое-то особое место, какой-то проход, или так случайно вышло, и как бы это проверить?

Оно думает: сосиска, вкусно, сосиска, хорошая еда, новый человек, новый запах, даёт сосиску, хорошо.

Парковый сторож Николай Сергеич думает, что, пожалуй, зря прогнал ребят, хорошие же ребята, костёр не жгли, не шумели, не курили, тихо играли во что-то, ну так и пусть бы играли. С другой стороны, поздно уже, можно и по домам. Ему и самому пора, вот сейчас он ещё раз обойдёт парк – и спать. В последнее время он стал гораздо лучше спать, оно и понятно, сказываются долгие прогулки на свежем воздухе. И сны стали сниться приятные, не то, что раньше, такая пакость, даже думать противно, и как же хорошо, что теперь всё прошло. Пытаясь отогнать нахлынувшие вдруг скверные мысли (ещё приснится опять!), Николай Сергеич неожиданно представляет себе ярко-розовую ленточку, завязанную смешным бантиком, и этот дурацкий образ почему-то его полностью успокаивает.

Оно думает: сосиска.

Бабушки

Мишка выходит во двор и здоровается с двумя бабушками, которые сидят там, во дворе, на лавочке. Мама научила его быть вежливым со всеми знакомыми взрослыми, вот он и здоровается. Не очень, правда, понятно, считаются ли знакомыми бабушки во дворе: Мишка не знает, как их зовут, мама и папа тоже не знают. С другой стороны, они всегда тут сидят, каждый день, и уж они-то точно знают, как зовут Мишку, сколько ему лет, и что он ел вчера на обед. Наверное, они знают даже о том, что сегодня утром Мишка вместо того, чтобы чистить зубы, стоял и глядел, как красиво разбивается на мелкие брызги и утекает в раковину струя воды, а потом намочил щётку, закрыл кран и самым честным голосом сказал маме, что, правда-правда, уже всё почистил.

Этих, во дворе, честным голосом не обманешь, они тебя насквозь видят, Мишка прямо чувствует, как они смотрят, ещё летом, перед школой, Мишке в больнице специальным аппаратом делали особенную фотографию, где было видно все Мишкины кости – вот так они со своей лавочки и смотрят, от их взглядов Мишке даже взаправду делается щекотно.

Но Мишка всё равно говорит бабушкам, как учила мама: здравствуйте!

Та бабушка, которая сидит справа, кивает ему в ответ и, вроде бы, улыбается. Ну и ладно.

Олег выходит, хлопая по очереди по карманам – ключи на месте, кошелёк на месте, порядок, широко шагает по двору, и уже убегая, слышит что-то укоризненное и оборачивается.

Собака, говорит ему одна из парочки бабулек на лавочке у подъезда.

Что – собака, не понимает Олег.

Опять выть будет весь день, поясняет старуха. Нехорошо.

Щенок же ещё, бормочет Олег, скоро привыкнет, ну. Вот же блин, думает он с досадой. Грымзы.

Не звони мне, говорит Оля устало, вообще забудь мой номер, и адрес, пожалуйста, тоже забудь;

сбрасывает вызов и роняет телефон в сумку, едва сдерживая острое желание зашвырнуть его вон в ту лужу, или, к примеру, вот в эту груду листьев, чтобы никогда, никогда больше!

Поднимается на крыльцо, в перекрестье двух острых старушечьих взглядов, из последних сил растягивает губы в улыбку – ну, разумеется, они всё слышали.

Здравствуйте, говорит Оля, мечтая провалиться сквозь землю, хлопает дверью, бежит вверх по лестнице.

Алёна самым зловещим шёпотом, на который только способна, говорит: ты видишь? Ну, вижу, отвечает Даша, которая, вообще-то, очень уважает свою старшую сестру, но в данный момент не уверена в том, что новая игра достаточно интересна. Две старушки сидят на скамейке, подумаешь.

Они, говорит Алёна со значением, не настоящие!

Это почему ещё, с сомнением спрашивает Даша.

А вот сама узнаешь, отвечает Алёна, когда понаблюдаешь за ними подольше.

Дворник Константин сметает в кучу опавшие листья, жёлтые, красные. Поравнявшись с лавочкой, останавливается, спрашивает: ну, как оно? Константин не любит пустой болтовни, поэтому не здоровается, и вопросы всегда задаёт строго по делу.

Кошка, говорит ему старуха слева. В подвале. Как и дворник, двое с лавочки предпочитают не тратить лишних слов.

Понял, отвечает Константин. Закончив с листьями, он спускается в подвал и выносит оттуда коробку с разноголосо пищащим семейством, маленькая кошка цвета опавших листьев тревожно снуёт у Константина под ногами.

Дверь, говорит ему вслед та, что справа. На чердак.

Понял, не оборачиваясь, отзывается Константин.

Тёмно-синяя машина останавливается за квартал, тот, кто из неё выходит, сосредоточенно набирает один и тот же номер, но телефон раз за разом выдаёт серию коротких гудков. Почему-то вместо того, чтобы войти

во двор, приехавший сосредоточенно хмурится, вертит головой и даже трёт виски, но это, кажется, не очень помогает, потому что в конце концов он пожимает плечами и, потоптавшись, садится обратно в синюю машину и уезжает. Неважно.

Даша наблюдает из окна, прижавшись носом к стеклу, если смотреть со стороны двора, наверное, Дашин нос сейчас похож на пятачок. Она видит, как левая старушка поворачивается к дворнику с коробкой и что-то говорит. Дворник ей отвечает, и в этот момент, с дрожащим замиранием в животе, Даша вдруг понимает, что Алёна была совершенно права: в старушках есть что-то ужасно не настоящее, обычные люди так не разговаривают. У обычных людей двигается лицо, глаза, а эти… ой, мамочки, думает Даша, сильнее прижимая нос к стеклу и страшно жалея, что ничего не слышит.

Когда в дверь стучат, у Оли, разумеется, сердце падает куда-то вниз, она идёт открывать, пытаясь сохранить ледяное выражение лица – но за дверью оказывается дворник. Привет, растерянно говорит Оля.

Вот, отвечает Константин, протягивая ей котёнка. Весь котёнок цвета опавших листьев целиком умещается на дворниковой ладони. Константин уточняет: надо?

Надо, тут же соглашается она. Очень надо.

Уже под вечер, на чердаке, за перекосившейся дверью, которую как раз в этот момент чинит Константин, происходит почти незаметное движение. В сваленный в углу ворох старой одежды пробирается мышь, затем ещё одна. Сверху сама собой с лёгким шорохом осыпается штукатурка, стекло чердачного окна почти неслышно лопается. Потом то, что только что было небольшой кучей мусора, приходит в себя, поднимается и отряхивает подол юбки. Встаёт и не слишком уверенными поначалу шагами идёт к выходу с чердака.

Константин, который только что закончил и закрыл дверь на замок, видит, как запертая дверь без малейшего сопротивления замку распахивается, и с чердака выходит старушка.

Ага, говорит он. Вот как, значит.

Окно, отвечают ему. Разбилось. И, не тратя больше слов, спускаются вниз, на лавочку, к ожидающим там двум другим.

Понял, говорит ей в спину Константин. Три – это хорошо, думает он с удовольствием. Больше присмотра, больше порядка. А то куда это годится, такой большой домище – и всего двух себе отрастил, перед соседями стыдно.

Вот блин, думает Олег, глядя, как из подъезда выбирается третья старуха, и усаживается на скамейку к коллегам. Совсем житья теперь не будет. Подхватывает разгулявшегося щенка и сбегает к себе, шепчет под нос: грымзы.

Ой, мамочки, с восторженным ужасом думает Даша, которую мама ведёт домой из садика, их теперь целых три! Интересно, Алёна уже знает?

Словно услышав её, третья старуха поворачивает голову, прижимает к носу палец, так, что он сплющивается и становится похож на пятачок, и не очень умело, но старательно подмигивает.

Сергей Кащавцев

Новогоднее обращение

Восемь новых людей
Стоят у порога
В ожиданье дождя,
Что обещан на завтра
В ожиданье звонков
В телефонные рельсы
В ожиданье спасения
В чашечке кофе

Восемь новых людей —
Все похожи, как братья
Всем еще рано бриться,
Но уже поздно плакать
Им так хочется с кем-то
Поделиться открытьем
Восемь новых людей
Узнали про слякоть.

Восемь новых людей
Смотрят вслух телевизор
Обсуждают попарно
Прогнозы погоды
Долго спорят у карты
С направленьем циклонов
Покупают на зиму
Шерстяную одежду

Восемь новых людей
Помогают друг другу
Поудобней приладить
К спинам тонкие крылья
Поплотней привязать
Компас, мыло и спички
Укрыть шеи шарфами
Чтобы не простудиться

Восемь новых людей

Улетают все разом
Стройным клином на юг —
Трое справа, пять слева…

…–20°C

— Маршрут построен, — знакомым голосом говорит Алиса, и от этих слов Сэмюэль Фрост просыпается. Ему снились бесконечные ленты переписок телеграма и маршрут в офис, который он проложил аккурат перед пробуждением.

Сэмюэль Фрост просыпается рано, слишком рано для первого января, в пятнадцать часов утра.

На самом деле зовут его совсем иначе, отнюдь не Сэмюэль и вовсе не Фрост, но когда-то давно, когда он ещё читал книги, наткнулся в одном из романов на образ второстепенного персонажа, толстенького бородатого оборотня по имени Сэм, Сэмюэль, красиво зажигавшего ранее, а ныне прожигающего свою никчемную жизнь, и подумал про себя: «А мне ведь вполне подойдёт, чем-то похожа его история на мою веселую молодость!» — но о том, что и вторая часть истории Сэма-персонажа тоже может ненароком прилипнуть, как-то не задумался.

Фамилию подобрал хрустящую, как снег под ногой в –20°C, чтобы дополнить образ, который — будем уж откровенны — ничего общего с ним не имел. Ну какой оборотень с хрусткой фамилией из пухленького менеджера по делам неважно чего! Но раз ему нравится так о себе думать, то уважим странности самоидентификации, как нынче принято, и будем называть его Сэм.

…37,4°C

Итак, Сэмюэль Фрост проснулся рано утром первого января. Ничего не болело, и было это удивительно — последний месяц он нещадно страдал от маленького невидимого демона с перфоратором, поселившегося в лунке удаленного зуба мудрости и,

очевидно, поставившего себе целью до 31 декабря все-таки выполнить горящий годовой план по добыче богохульств.

Пытаясь насвистывать, он отправился в ванную и замер. Из зеркала на него смотрела незнакомая хтоническая харя. Нет, одна сторона лица была вполне себе Сэмова, но она терялась на фоне лоснящейся натянутой кожей, вдвое распухшей от брови до нижней части шеи второй — *худшей* — половины.

Сэма все считали шутником с легким характером, вот и сейчас он привычно пошутил в никуда: «Ну надо же, новогоднее обращение в тюленя мне почти удалось!» — чувствуя при этом поднимающуюся волну глухой тяжелой паники, самой отвратительной, мерзкой и сильной из всех известных ему паник: страха за свое физическое существование.

Сердце засбоило, разгоняясь, надпочечники щедро впрыснули в кровь адреналин, — все это Сэмюэль отмечал совершенно механически. Он всегда гордился своим умением объяснить любой телесный казус работой гормонов, рептильного мозга, лимбической системы и прочих винтиков физиологии, но сейчас это не помогало — внутренний голос, подвывая и поскуливая, повторял по кругу, как заведённый: «Пиздец! Пиздец! Это ж пиздец!»

Сэмюэль нашарил в ящике стола градусник, засунул его под мышку и десят минут пытался дышать *как-то йогически*, чтобы успокоиться. К сожалению, после каждой пары-тройки вдохов внутренний голос вновь прорывался наружу, тонко повизгивая.

…37,8°C

— Найден более быстрый маршрут, едем? — знакомым голосом спрашивает Алиса в совершенно незнакомом, освещённом лишь экраном водительского смартфона, салоне такси, на заднее сиденье которого Сэм втиснулся с трудом из-за огромной торбы.

На улице уже совсем темно, ведь последние

полчаса Сэмюэль бессистемно бегал по дому, сбрасывая в торбу все, что могло пригодиться в больнице — сигареты, лекарства, антисептики, чистые трусы, кроксы, зарядки и аккумуляторы, наушники и складной нож — а вдруг придётся остаться? Как же я без сигарет, ножа и кроксов? И антисептика?

Ещё за час до этого он лихорадочно звонил по многочисленным знакомым врачам и платным клиникам, только чтобы убедиться, что врачи утром первого января либо недоступны, либо неадекватны, а платные клиники отправляют на автоответчик. Наконец, после хитрой комбинации переписок и созвонов с многочисленными *соратниками* ему все же удалось раздобыть контакт какой-то дико дорогой и потому работающей даже в Новый год стоматологической клиники.

Безупречно вышколенный администратор, кажется, несколько растерялась, когда Сэм вывалил на неё долгую тираду о своих злоключениях, но потом все же сориентировалась и передала трубку дежурному хирургу. Выслушав Сэма, хирург вздохнул и безынтонационно сказал: — Езжайте в Первую Градскую, молодой человек. Скорую не вызывайте, пока они приедут, пока оформят — часа три пройдет, а вам *быстрее надо*…

Обмирая от этого *быстрее надо*, Сэм — о чудо — с первого раза дозвонился до Первой Градской, и, услышав, что к ним можно приехать *хотьщаз*, бросился было в прихожую, натянул куртку, схватил ключ от машины — и остановился. «За руль в таком состоянии нельзя, да и куда я налегке?» Конечно, больше всего Сэм надеялся, что ему сейчас выпишут какие-нибудь таблеточки и все волшебным образом пройдёт, *а если оставят*?

В такси Сэм почти отключился (молодец, что не сел за руль!) и пришёл в себя лишь от привычного: «Вы прибыли в место назначения». Неразборчиво пробормотал водителю «…сибо», вывалился из машины у ворот больницы и побрел с торбой под снежной пургой к — разумеется — самому дальнему от входа корпусу с вывеской «Приемный покой». Слово «покой» манило,

притягивало и обещало что-то очень, очень хорошее.

Вотще.

Когда за спиной с грохотом захлопнулись тяжелые стальные врата Приемного Покоя, Сэм осмотрелся и обмер. Кажется, он ошибся дверью в Бардо.

…38,2°C

Пол плыл перед глазами волнами, вокруг выли, скалились, таращились на Сэма, плотоядно причмокивали, облизывались, строили рожи толпы ужасающих демонов. Один из них повернулся к Сэму, внимательно всмотрелся в его лицо, сделал шаг навстречу, поднимая когтистую лапу — и указал ей куда-то в дальний угол: — Вам в седьмой кабинет, в регистратуру.

Запотевшие с морозца очки и высокая температура сыграли с Сэмом злую шутку. Не было никаких демонов — или же он и сам был одним из них: вокруг стояли, сидели, плакали от боли, скрежетали зубами или мрачно молчали люди с повреждёнными лицами.

Сэм отстоял очередь в окошко регистратуры с грозным предупреждением: «~~Оставь надежду~~ Вход строго по одному! Карантин», отдал документы, через три минуты получил их обратно целыми и невредимыми, порадовался про себя: «Не дубль!» — и был направлен в Бардо №17 Челюстно-Лицевой Хирургии.

Присел в сторонке, ожидая своей очереди, откинулся затылком на облупившуюся стену больнично-кремового цвета, закрыл глаза. В голубоватой пустоте под сомкнутыми веками плыли строки дневника Блока, вытащенные из какого-то невообразимого запасника памяти услужливым подсознанием:

«Я вдруг заметил ее физиономию и услышал голос. Что-то неслыханно ужасное. Лицом — девка как девка, и вдруг — гнусавый голос из беззубого рта. Ужаснее всего — смешение человеческой породы с неизвестными

низшими формами (в мужиках это бывает вообще, вот почему в Шахматово тоже не могу ехать). Можно снести всякий сифилис в человеческой форме; нельзя снести такого, что я сейчас видел, также как, например, генерала с исключительно жирным затылком… То и другое — одинаковое вырождение, внушающее страх — тем, что человеческое связано с неизвестным».

…38,4°C

— …анский! …ански-ий! — Сэм вздрогнул. Это была его настоящая фамилия.

— Ну что, уснул, что ли? В кабинет, на осмотр!

Сэм торопливо зашёл в кабинет, в котором сгрудилось аж пять врачей, и стал сбивчиво рассказывать: как удалял зуб, как сначала не болело, а потом заболело, как пил антибиотики и все прошло, а тут вот опять внезапно…

— Ясно, — молодая строгая докторша на голову ниже Сэма деловито приоткрыла ему рот, насколько смогла, прощупала пальцами в резиновых перчатках щеку снаружи и изнутри (Сэм несколько раз коротенько взвыл), повторила: — Ясно. Абсцесс. Мы вас оставляем. Сегодня сделаем операцию под местным наркозом, *почистим изнутри*.

Отошла за стол, повернулась к Сэму, растерянно сидевшему в смотровом кресле, поправила очки и, внезапно улыбнувшись, спросила:

— Ну что, лечиться будем?

— А… альтернативы есть? — пробормотал Сэм, надеясь услышать в ответ что-то вроде «ну вот таблеточки попейте…»

— Альтернативы? — маленькая докторесса опять посуровела. — Есть. Завтра будем резать уже снаружи и под общим.

Сэм сглотнул и кивнул головой.

— Ну вот и хорошо, — докторка снова подобрела. — Сейчас на рентген, потом в палату на пятый этаж и на операцию. Алишер, проводи пациента!

…37,6°C

— Ну что, больше не будешь кусаться? — белогривый оборотень растерянно помотал головой, пятясь от грозившего ему пальчиком ангела в платьице и с огненным мечом, и Сэмюэль внезапно проснулся от ударившего по глазам яркого света.

— Мальчики! Встаём на укольчики! — рука ласковой, но строгой нянечки, Старшего Демона Галины Николаевны лежала на выключателе.

Восемь «мальчиков» с перекошенными харями, отвисшими губами, зашитыми проволокой челюстями и обмотанными бинтами черепами угрюмо завозились под простынями и покорной вереницей потянулись в процедурный кабинет.

Вы когда-нибудь замечали, что малейшее искажение привычной формы лица превращает любого человека в чужих глазах в жуткого демона? Uncanny Valley, зловещая долина, бич всех аниматоров и робототехников, в челюстно-лицевой хирургии — не гипотеза, а проверенный факт, — думал Сэмюэль, стоя в очереди на *укольчики*. — И неважно, сколь высоким стилем мы умеем говорить, когда стоим тут, в трениках и майках, хриплыми голосами выплевывая отрывочные слова из капающих слюной ртов, орки-орками, — Сэм скривился, легонько ощупывая пальцами лицо. — Но ведь внутри-то люди остаются теми же, изменилась лишь их внешность, а милосердное подсознание немедленно вытесняет это из памяти; увидев себя в зеркале, они замирают, поражённые, не в силах смириться: это что, я?

Видимо, поэтому в челюстно-лицевой хирургии зеркал практически и нет, даже в лифте, вон, пленкой заклеено. Или все же внешность меняет и суть? — продолжал угрюмо размышлять Сэм. — Вот взять меня: уж на что эстет, сука, блять, тонкая натура, а обращаясь к *этим*, хочу разговаривать исключительно отрывистым матом, да и они с моим опухшим алкашеским еблетом, вероятно, тоже. Только к медперсоналу как-то

заставляешь себя подбирать слова, да и то потому, что от них, по большому счёту, зависит твоя боль, — Сэмюэль поморщился, вспоминая, как закончился вчерашний вечер.

…1200°C – 0°C

Алишер отвёз его на лифте на пятый этаж, показал место в почти полной восьмиместной палате, — повезло, у окна, удивился Сэм, — а затем проводил до операционной и усадил в кресло. Через пару минут возле кресла появились симпатичная — насколько можно было разглядеть по открытой полоске лица между маской и шапочкой — молоденькая ангелочек-врач в беленьком платьице и похожий на Мефистофеля резко рубленым лицом чернобровый, черноволосый и черноглазый дылда-доктор.

Мефистофель залез ему в рот пальцем в чёрной хирургической перчатке — эстет, подумал Сэм, хорошо, — показал ангелочку: режем вот тут, проходим сюда и сюда, чистим, промываем — старший, подумал Сэм, хорошо, — небрежным жестом выбросил перчатки в урну и, отойдя к соседнему креслу, совсем не по-мефистофельски заворковал с другой пациенткой.

Девочка долго и тщательно обкалывала челюсть Сэма наркозом, проверяла, схватился ли; затем что- то легонько резала скальпелем, когда Сэм ойкал, тихонько приговаривала «потерпи, потерпи, мой хороший», и Сэмюэль совсем размяк. Как оказалось, напрасно: когда она всадила ему между щекой и зубами совершенно стерильный огненный меч (ощущения были именно такими), Сэм взвыл от неожиданности вперемешку с болью и рефлекторно сжал зубы, но это не помогло. Удивительно, насколько твёрдая у неё оказалась рука!

Дальнейшее Сэм помнил смутно — вцепившись в ручку кресла, он делал множество очень важных дел одновременно:

дышал струящимся огнём, стараясь призвать сущность оборотня своего тезки и не орать;

наконец-то осознал сущность термина «пелена перед глазами»;

слушал, как, недрогнувшей рукой вращая в его челюсти огненный меч, ангелочек одновременно напевает ему «потерпи капельку, мой хороший, больше уже не будет больно»;

смотрел со стороны, как выгибается дугой в кресле его тело в разноцветных мондриановских носках, и думал, какие они все-таки прекрасные, эти носки.

Последний удар ему нанёс Мефистофель, который, как выяснилось, все это время наблюдал за процессом из-за плеча. Он сделал ещё несколько движений, от которых Сэму показалось, что его череп выскребает изнутри чайной ложечкой какой-то гурман — да, прямо не снимая с шеи; удовлетворенно кивнул, сказав «вот теперь хорошо», и исчез.

Лёжа в кровати с ледяным компрессом на щеке, Сэм больше всего боялся, что наркоз сейчас отойдёт, и вот тогда его ждёт настоящая Боль, однако он засыпал, просыпался вновь, снова засыпал, шли часы — а боли не было.

— Она же пообещала, что больше не будет больно, — пробормотал Сэм, опять засыпая, и уже на самой грани сна удивился: — Интересно, я ее на самом деле укусил или мне приснилось?

…37,5°C – 36,9°C

Дни шли один за одним. Сэм спал, ел каши, протёртые супы и кисели, спал, подставлял вены и ягодицы под уколы, снова спал, глотал таблетки, спал. Изредка выходил на улицу покурить. Взбухшее лицо потихоньку опадало.

Чувствовал себя в детском саду для взрослых — от него, по сути, ничего не зависело, кроме разве что времени походов в туалет. Спать можно было когда угодно, но и свет могли включить в любой момент. Еду привозили прямо в палату, однородную и протертую, и потому Сэм радовался как мальчишка, выяснив, что может заказать интернет-доставку; накупил йогуртов, снэков и пирожных — ничего из этого он не ел в обычной жизни — и хомячил с огромным удовольствием.

Играл роль хорошего мальчика перед Старшим Демоном Галиной Николаевной и с удивлением ловил себя на том, что ему нравится, когда она его хвалит; все-таки сочетание архетипов детсадовской нянечки, училки начальных классов, завуча и госчиновницы — страшный эгрегор, устоять против которого почти невозможно. С соседями по палате не общался — в челюстно-лицевой не очень-то склонны к беседам.

Все изменилось одним днём. С утра выписали пятерых, и в палате стало тихо и просторно. Остались только Сэм, худенький восточный человек Азамат с грустными глазами и Алекс со сломанной челюстью и перешитым проволокой ртом.

Сначала у Алекса сдохла телефонная зарядка, и он попросил ее у Сэма; потом выяснилось, что курят все, и спускаться на улицу стали уже втроем. Но окончательно сдвинули отношения с мертвой точки котики: Азамат случайно обмолвился, что скучает по своему Барсику. Тут шлюзы прорвало — все трое стали наперебой рассказывать про то, какие у них Самые Лучшие Коты, показывать фоточки и видео, дальше подтянулись разговоры о работе и воспоминания о былых подвигах, в общем, типичная дорожная беседа, только в Транссибирском экспрессе.

Как-то моментально появились и взаимовыручка, и забота друг о друге — трогательно тырили друг для друга мандарины на кухне, занимали очередь в душ и на уколы, делились одноразовыми бритвами и сигаретами с разными вкусами, прикрывали шалости от взора Галины Николаевны, в общем — помогали чем могли.

— Нет, никакие мы не орки, — думал Сэм, засыпая. — Совсем же прекрасные все люди.

…451°F

— Мене, мене, текел, упарсин, — читает появляющиеся перед глазами росчерками огненного меча слова, — найден слишком легким… Так это же здорово, давно было пора похудеть!

Резко садится в кровати, обливаясь холодным потом, сердце выламывает рёбра. Не сразу понимает, где он. За окном палаты идёт снег.

— Чуть не попался, — думает, — чуть не попался.

— О чем я вообще? — думает Сэм. — Куда я чуть не попался? Кому?

Засыпает.

…37,2°C – 36,9°C

— Забавно, но маршрут, проложенный Алисой в навигаторе — лишь плодовое тело огромной грибницы, объединяющей знания обо всех автомобилях на дорогах города и их текущих целях. Грибница строит пути для каждого, исходя из *общего блага*, и потому твой индивидуальный маршрут вовсе не обязательно будет наилучшим именно для *тебя*, — размышляет Сэм, чистя зубы. — Кстати, надо погуглить, что за *упарсин* такой? Лекарство, что ли, какое-то? — вспоминает он смутный обрывок сна.

Дверь в палату распахивается, на пороге стоит незнакомый врач.

— …анский! — произносит он безынтонационно, не отрывая глаз от свитка, тьфу, журнала в руках.

Сэм поворачивается к двери.

— …анский? На выписку! Домой пора, — врач поднимает глаза на Сэмюэля, и тот почти вспоминает, что такое «упарсин».

Бегает по палате, собирает торбу. Все, что не влезло, распихивает по пакетам, оставшимся от доставки — ничего нельзя оставлять после себя в больнице!

Зашнуровывает ботинки, перебрасывает через руку куртку (наденет у лифта, в отделении нельзя в верхней одежде, Галина Николаевна *заругает*), оборачивается в

дверях. Чуть было не говорит «До свиданья!», вовремя запинается на «До…» и внезапно соскакивает на «…статочно, спасибо». Продолжает излюбленной шуткой — всем счастливо, все свободны! — разворачивается и почти бегом устремляется к лифту.

…36,6°C

Сэмюэль выходит на улицу, сдавленно ахает: снег успел накрыть всю уличную грязь светящимся в сине-белых фонарях пушистым покровом. Неловко разбегается, пытаясь не поскользнуться, размахивая торбой и многочисленными пакетами с больничным скарбом — нельзя, ничего нельзя оставлять после себя в больнице!

Снег скрипит сухо и резко: — Фрост! Фрост! Фрост!

Взлетает неуклюже, совсем не как в детстве, несколько раз цепляя землю то ботинками, то торбой, каждый раз отталкиваясь все сильнее и, наконец, с трудом, стиснув зубы, брыкая ногами воздух, все-таки набирает высоту. Чуть не цепляет острые пики забора, но дальше уже заснеженный склон, чёрные деревья воистину Нескучного сада и замерзшая река под серебристыми облаками.

— Маршрут построен. Через шестьсот метров поверните направо, — знакомым голосом говорит Алиса, но тут Сэмюэль вспоминает, что *удобнее всего летать над рекой*, сбрасывает с себя торбу и имя и резким виражом уходит влево над Андреевским мостом.

Маршрут перестроен.

Кэти Тренд

Кто в заливе живёт

Привык обнимать щупальцами выдающийся в море мыс, с самого его начала. Когда-то здесь была небольшая отмель, на которой любил лежать и смотреть на пробивающиеся сквозь прозрачную воду лучи, потом что-то случилось, воды стало меньше, изменилось направление течения, начал отползать. Течение неслось мутное, с песком и землёй, но стало прозрачнее, начало укладывать песок под себя, и намыло постепенно этот длинный узкий остров. Остров оказался приятным на ощупь. Обнял его, устроился в его створе. Течение обтекало с двух сторон. Решил, что это и будет его домом теперь, когда всё изменилось.

Когда с моря шла нагонная волна, остров заливало первым, поэтому люди на нём не жили. Это тоже было неплохо, хотя иногда он выпускал остров и смотрел, как они ловят рыбу в заливе или топят печи на островах. Маленьких деревень было много, и рыбы было много, хватало всем. Был даже городок, но гораздо выше по течению, туда он не забирался, там жил другой, пришлось поделить воду, чтобы не перепутаться.

Потом пришли другие люди, и начали строить город там, где никто не строился. Все знали, что рано или поздно нагонная волна придёт. А эти, похоже, не знали. Иногда думал, что сам нечаянно приманил этих дураков, не удержал в себе желания смотреть. А смотреть было на что: жизнь новых людей была гораздо разнообразнее, чем тех былых рыбаков. Они строили каменные дома и большие корабли, едва пролезающие над его обширным телом. Интересно.

Остров наконец начал заселяться, но странно: оброс причалами, пришлось переместить некоторые щупальца. У причалов начали появляться лодки, но другие, не рыбачьи. Узкие, гладкие, с высокими мачтами и большими парусами. Они бессмысленно катались по заливу, рыбу не ловили, как будто только

ради того, чтобы показать ему: смотри, как мы можем, какие мы быстрые.

Человеческие строения становились всё выше, и даже на острове начали что-то строить. Лодок становилось всё больше, появились и совсем маленькие лодчонки с детьми, и наоборот - две-три больших, с двумя мачтами. На оконечности мыса было теперь бетонное полукольцо, любил, уложив туда щупальце спиралью, ощущать, как кили лодок трогают его, проходя к причалу.

А потом вдруг все причалы пропали, и вокруг начали расти огромные бетонные дома. Это было еще забавнее и интереснее, чем всё предыдущее, в этом была загадка. Люди здесь не живут, это он уже уяснил, и нагонная волна никуда не делась. Зацепился за кольцо причала уже двумя щупальцами, устроился поудобнее, решил смотреть внимательно.

***

Яхт-клуб закрыли, закрыли лодочный клуб на Карповке, застроили стадион под телебашней, застроили набережной Орловский парк, снова город отвернулся от воды. Но тут лодочному клубу пока повезло: он был как бы отдельно от яхт-клуба, арендовал место под ангар, так что занятия с лодками продолжились и зимой. Ангар топился страшного вида электропечкой на солярке, печь ревела так, что инструкции волонтёры получали прямо на ухо. Работы было много: судя по прошлой десятивёсельной гичке, которую ремонтировали аж три года, полный ремонт займёт много времени, но и волонтёров хватало. Трудно сказать, что побуждало людей среди зимы топать два километра от метро в холодный ангар, чтобы построгать дуб или постучать по медной заклёпке. Работа-то бесплатная, казалось бы, кто будет этим заниматься? Однако человек двадцать возрастом от пятнадцати до сорока ходили к этим лодкам два-три раза в неделю, видимо, чтобы потрогать что-то настоящее. Паша так уже привык каждый четверг строгать и гнуть шпангоуты, что, если занятия отменяли, например, из-за мороза, не находил себе места.

Заодно и резьбу делали для летучего голландца, который ожидался к лету. Голландцем он, конечно, не был. Обычный летучий петербуржец, настоящий большой деревянный корабль, построенный в те благословенные времена, когда трава была зеленее, а люди безалабернее. Паша тогда еще на свет не родился, да и корабль видел только на картинках, поэтому и резьбе учиться не стал, предпочтя шпангоуты и заклёпки.

Зато мусор приходилось выносить и за лодочниками, и за резчиками. Огромные пластиковые бочки, в которые засыпались стружки, выносились по мере наполнения в ближайший контейнер. Эта работа Паше по-своему нравилась, потому что вокруг помойки крутился большой и дружелюбный пёс Пират, которого можно было от души потрепать за ушами.

На каникулах устроили интенсивчик: четыре полных дня возни с лодками. Чаепитий в кают-компании под крышей ангара стало больше, и болтовни тоже. В один из дней мама дала Паше с собой здоровенный печатный пряник, украшенный изображением петровского ботика. У лодочного клуба ботик был: он уже много лет стоял на суше, украшая собой главную площадь умирающего яхт-клуба, и тоже был гораздо старше Паши. Этим летом в его днище обнаружилась дыра в форме чьей-то ступни.

- Да он катастрофически не мореходный, - ответили Паше на вопрос, нельзя ли и его починить, - гички круче на порядок. Не стоит возни.

Ботик было жалко. Но и впрямь по сравнению с узкими длинными гичками ботик казался неуклюжим нетопырём. И всё равно Паша иногда ходил его потрогать.

- Кто знает, сколько мы еще тут просидим, - говорили за столом, - пока не гонят, но, если что, придётся куда-то переезжать. Ангар, жалко, не разобрать.

- А куда?

- Да пока непонятно. Придумаем что-нибудь. Забавно, они тут всё это понастроили, а канализации-то нет. Никто не будет тут жить. Ну ладно, до лета-то мы тут досидим точно, а там будем посмотреть.

- А лодки куда будем скидывать?

- Ну, видимо, в ковш.

Разговор плавно перетёк от ужасов будущего и задач настоящего к чудесам прошлого, а там и к просто чудесам. Паша начал засыпать, уронив голову на стол. После новогодья режим куда-то уехал, и полдень, в который начинались занятия на верфи, оказался ранним утром. "Чудовище, - слышал он сквозь сон, - говорят, занимает всё дно Финского залива, поэтому он такой мелкий".

Разбудил тычок в бок от Маньки. Манька, тоже школьница, всего на класс старше Паши, здесь была уже почти старожилом.

- Паш, а ты знаешь, что ты на Соул Итера похож? Не спи. Не хочешь на чудовище поохотиться?

- Не хочу, - буркнул, - спать хочу. У нас еще сегодня что-нибудь есть?

- Да нет, до завтра ничего, а завтра будем клеить, что сегодня выгнули. Иди спи уже.

Пошел. Заодно прихватил мешки с неведомо чьей старой и страшной обувью, забытой в раздевалке уже несколько лет тому. Донес до контейнера - и пошел не налево, к выходу из яхт-клуба, а направо, к обледеневшему ботику и дальше, к острию острова, к его пустому круглому ковшу. Всё замёрзло, и ковш, и залив. Вышел на самый край. Попытался представить, какое оно, это чудовище на дне. Отсюда залив казался очень большим, видимо, огромное. Вид отсюда был футуристический: стадион, похожий на корабль пришельцев, светящаяся башня, торчащая, как

великанская свайка, ярко освещенные ванты моста на фоне тёмного зимнего неба. Почти увидел это чудовище подо льдом. Оно сейчас, наверное, спит. Спать очень хочется. А было бы здорово, если бы оно проснулось вот сейчас, в мороз. Слышал от старых корабельщиков рассказы о зимнем наводнении в старом ковше, в Галерной гавани, когда толстенные льдины выбросило аж на тротуар Наличной улицы, и люди пробирались на корабль по колено в ледяной воде, а на корабле не было электричества, и ванты гудели, как низкие струны. Сам такого никогда не слышал. Круто было бы. Может, и строители бы передумали. Раньше уже передумывали, на месте того дома возле ангара стояла советская кирпичная руина, что-то там начали строить и бросили на полдороге. Может, и эти бросят.

- Чудовище, - сказал вслух, благо вокруг не было ни души, - проснись, а? Такая фигня вокруг. Ну да, проснёшься ты, как же. Фиг с тобой, и я спать пойду.

Развернулся и двинулся к выходу, мимо старых деревьев, старой деревянной заброшки, старого пса по кличке Бомба и нового недостроенного дома.

***

Смотрит. Проснулся от чьего-то взгляда. Да и не на море смотрит, а прямо на меня! Вроде даже зовёт. Ну и зачем?

Посмотрел в ответ. Оказался маленький человек, не по размеру маленький, а по возрасту, совсем еще малёк, волосы белые, нос курносый и красный от мороза. И уши тоже красные. Уже видел, что зимой они что-то такое носят на голове; этот не носит. Как это они умеют быть сонными и нервными одновременно? Как бы этим не заразиться. Сон. Зимой надо спать. Но тревога мальчишки как-то всё равно пролезает: и про лодки он думает, и про большую волну, и про новые дома, и, странное дело, волна ему нравится больше, чем дома. Люди странные. Волну ему подавай.

Вообще-то, мысль о волне показалась почему-то

привлекательной. Нет, сам никогда наводнение не гонял, оно шло издалека, но всегда подхватывал, подталкивал, ради веселья и игры. Какая волна в январе? Редко такое бывает, спать в январе надо. Ишь, чего захотел. Поворочался поудобнее, снова засыпая. Сна тебе, а не волны, ребёнок.

Но сон оказался другим. В прежнем было безграничное спокойствие, так и надо спать зимой, а в этом всё поднималось, двигалось, ломался лёд, ехал большими глыбами в сторону стройки. А стройка во сне казалась ужасно неприятной, как будто зряшной. Странно, а ведь всегда развлечения людей были для него нейтральными. Все животные что-нибудь делают, какая разница. Заразился-таки от этого ребёнка! И это было почему-то приятно. Как будто открыл для себя новую заводь с впадающим в нее живым ручьём.

Беспокойный, в общем, вышел сон.

***

Уже на остановке, дожидаясь четырнадцатого автобуса, который как раз миновал витиеватый мост, и скоро уже должен развернуться на кольце, услышал прокатившийся по острову треск. Как будто лёд сломался - или кто-то решил потратить завалявшийся с праздника фейерверк. Огляделся, надеясь увидеть огоньки, но огоньков не было. А залива от остановки всё равно не видно.

Обмен

Между гаражами и котельной была узкая щель. На острове много таких проходов между дворами, один вообще проходит сквозь дом, не арка, а коридор шириной в метр. Вот и здесь осталась узкая щель, не местный и не распознает; за ней треугольный дворик, почти нормальная, хоть и с поворотом, арка, а за ней уже обычный двор с дворницкой, кирпичной стеной и виноградом. Из каменной стены гаража под самой крышей торчали две балки примерно до середины прохода. Обычные железные балки - то ли гараж раньше был шире, то ли их когда-то поленились пилить. И вот на одну из этих балок кто-то повесил отличные качели. Толстые джутовые верёвки, гладкая буковая доска с четырьмя дырками, сделать такое просто, а радости оно доставляет обычно много. Всё бы хорошо, но повисли качели спиной к стене, хорошо висят, а качаться некуда.

Через двор шел удобный проход с Каменноостровского проспекта на улицу Льва Толстого. Там ходили студенты медицинского университета, там ходили в столовую и в экомагазин; выйти на популярную хипстерскую набережную Карповки, где всяких качелей полным-полно, тоже можно было через этот проход. Так что на странные качели никто толком не обращал внимания. Если уж хочешь покачаться, пройди еще триста метров, и там для тебя сделана специальная площадка.

А перед самой новогодней ночью качели пропали. Никто не удивился, потому что весь этот год качели странным образом пропадали на всём острове, а вместо них ставили то высокотехнологичные вертушки, то пружинных лошадок для годовалых младенцев. Травка подозревала в этом заговор, потому что подозревать заговор вообще весело. Слишком многое в мире происходит безо всякой логики, а, стоит придумать заговор, как сразу и логика появляется, и смысл, и легче становится на душе. Скажем, неведомые они не хотят, чтобы мы испытали чувство полёта и вообще радости, и это как раз сразу и придаёт смысл и

ценность и полёту, и радостям. Травку, например, это побудило повесить прямо в кафе смешные качели, состоящие из деревянного диска и одной верёвочки.

***

Новогоднего настроения не было вовсе. Впрочем, Арсений так реагировал на все праздники, даже юбилей прошлым летом зажал, спрятавшись на даче. Глупости это, веселиться по расписанию. Но квартального отчета никто не отменял, да и корпоративное мероприятие, которое Арсений злобно называл для себя "копропротивным", тоже почему-то не отменили, разве что разбили на небольшие группы, бухгалтерия отдельно, программисты отдельно и так далее, каждая группа в отдельной комнатке ресторана на крыше торгового центра. Да и то только до девятнадцати часов, после этого ресторан превращался в тыкву, чему Арсений был только рад. Для Петербурга семь часов вечера - это самый разгар дня. Днём найдётся, что поделать дома, вот домой Арсений и пошел. Весь нижний этаж торгового центра был обмотан мишурой и гирляндами, поперёк улицы сияли ледяным светом снежинки и колокольчики, зато во дворах было темно и тихо. И в самом узком проходе с балки свисали качели, буковая доска на джутовых канатах, спиной к стене, не покачаешься.

Арсений застрял в проходе, пытаясь понять, зачем их тут вообще повесили. Наверняка, это безумные художники из театра, спрятавшегося за гаражами в следующем дворе. Больше некому. Арт-объект: качели, на которых невозможно качаться. Выразительное художественное высказывание. Можно было бы и дальше пойти, мало ли в Петербурге арт-объектов, но мозг, разгоряченный решением задач квартального отчета, не мог уже остановиться. Это же загадка! Выкурил сигарету, глядя на качели, так и не придумал, в чем фокус, уже вышел в следующий двор, и тут осенило. Вернулся. Сел на качели верхом, прижался спиной к веревкам и принялся медленно раскачиваться вдоль стены.

Занятие оказалось удивительно затягивающим.

Хотел всего лишь доказать себе, что в качелях был хоть какой-то смысл - а смысл оказался личным, как будто специально для него подготовленным. Раскачался так, что в верхней точке видел карниз шестиэтажки на другой стороне двора. Там качели на микросекунду зависали и медленно падали вниз, до противоположной точки, где не было видно ничего, кроме тёмного асфальта в щели между стенами. Вдоль противоположной стены прошла какая-то парочка, Арсения это совершенно не обескуражило, настолько он увлёкся качанием - а ведь должен бы смутиться, ну, взрослый же человек. Перед ним пролетал весь ряд освещённых окон шестиэтажки: зелёная портьера на первом этаже, электрический семисвечник на втором, кошка и монстера на третьем, ёлка в гирляндах на четвёртом, разноцветная гирлянда на пятом, еще одна ёлка на шестом, в глубине комнаты, здоровенная, до потолка. И в этой верхней точке миг перед падением казался бесконечным и бесконечно лёгким, тут Арсений понял, насколько он напрягал плечи весь последний месяц. Еще раз толкнулся ногами, пролетая нижнюю точку, взлетел еще выше - и упустил с головы кепку, в которой ходил по крайней мере полтора года. Кепку подарила на юбилей одна ведьма, и это был непростой головной убор. А теперь он взлетел в холодные багровые небеса и шлёпнулся прямо в сугроб. "Потом подберу", решил Арсений, не переставая качаться. Закрыл глаза, надоело смотреть на огни и ёлки, расслабил плечи, качели качались сами. Кто бы мог подумать, что это так здорово. Наконец, решил расслабиться и дать качелям затормозить, плотно прижался спиной к верёвкам и позволил качелям останавливаться так долго, как им захочется. Открыл глаза.

Вокруг был тёмный лес густой, и никакой тебе щели между флигелями, и никакой шестиэтажки напротив. Только ёлки. Ёлки-палки, что тут происходит вообще. Качели свисали с толстой ветви единственного среди ёлок зимнего дуба, вокруг расстилались нетронутые сугробы, и только под Арсением была прокопана прямая и короткая тропинка.

Решил вообще не вставать с качелей, а то заблудишься в этом лесу, качели - хоть какая-то

привязка к нормальности. Вокруг пахло еловыми лапами, свежестью и дальним дымом, было темно, но не слишком, где-то, видимо, за тучами должна была быть полная луна. Снова зажмурился и качнулся. Глупо сидеть на качелях и не качаться. Открыл глаза. На этот раз не было вокруг ни леса, ни двора на Каменноостровском, а была незнакомая улочка городка, похожего на средневековый, и пахло тут не слишком приятно: отходами, несвежей рыбой, злым дымом пожара. Поспешно зажмурился, качнулся еще раз. На этот раз всё было разноцветным огнём, и сам он был огнём, и это было так легко, наполненно и радостно, что тут же зажмурился и дал дёру в следующий мир, чтобы не улететь на радостях от качелей и не пропасть навсегда. Правила были уже понятны вполне: качайся, чего тебе еще. В следующем мире было неожиданно тепло, но не успел еще согреться, как оказался в чем-то искристо-ледяном и неожиданно ярком, пронизанном незнакомым солнцем, а потом - в самом низу города, бесконечно уходящего в небеса. Решил покачаться подольше. Вдруг так удастся вернуться. Открыл глаза и увидел лес, в котором оказался в первый раз. Ёлки, дуб и снег. И кто-то еще здесь был, какие-то большие, тёмные, со светящимися точками глаз. Трое. Один большой подошел, что-то просигналил - лапами? Руками? Отростками? Как-то просигналил, в общем: дай мне покачаться, так Арсений его понял. И яростно замотал головой. Слезешь с качелей и где окажешься? Большой уговаривал. Звуков он не издавал, а вот желание - еще как. Такая штука. Дай попробовать. Я тебе за это что-то дам. Ну дай. Двое других куда-то ушли, один продолжал махать конечностями, Арсений так и сидел, вцепившись в верёвки, как мальчишка. Двое других вернулись, один из них обнимал молодую пушистую ёлочку, вырванную вместе с корнями. Давай, дай поиграть, такая штука, а я тебе дерево дам, вы же их любите, смотри, какое дерево. На вашей стороне все с деревьями ходят. Ну дай.

Арсению даже стало его жалко, непонятно, что это вообще и кто, темно, не разберёшь деталей, а тоже качаться хочет. Он неуверенно выпустил верёвки и перекинул ногу через доску, не совсем еще решившись

уступить бедолаге место, но большому только этого и надо было. Он подскочил к качелям, мягко столкнул Арсения в снег и занял его место. Арсений моргнул, стряхивая с ресниц влетевшую в глаза порошу, и обнаружил, что нет вокруг никакого снега, две стены, две балки и никаких качелей, а у него в руках почему-то пушистая ёлочка с него ростом, вырванная вместе с корнями. Рядом на вершине сугороба валялась его кепка с надписью "Нормальная работа". Поспешно поднял кепку, выбил ее о колено, отряхнул еще раз руками и надел на голову. Достаточно, пожалуй, путешествий.

Но позже, зарывшись носом в ярко пахнущую гущу ёлкиных ветвей, на минуту пожалел об утерянном транспорте.

Подобрал на ближайшей полочке для обмена вещами полиэтиленовый пакет. Обмотал ёлке корни, чтобы не спрашивали, где это он ёлку выкорчевал. А заодно купил в магазине на углу три кило мандаринов. Если уж хочешь избегать праздников - избегай их полностью, а то зацепит и затянет. А если уж тебе так неудержимо пахнет ёлкой, то ладно уж, давайте сюда и всё остальное.

***

В следующий раз Травка ехала через двор с гаражами уже в январе, когда после каникул открылся спортивный зал. Заворачивая во двор, ощутила чьё-то присутствие впереди и затормозила. Осторожно свернула в треугольный дворик, прислонила велосипед к стене и выглянула из-за угла.

Там висели на балке прежние качели, и на них раскачивался кто-то огромный, тёмный, весь в щупальцах и счастливый до предела. Травка не стала его беспокоить, пытаясь мимо него проползти в соседний двор. Она, в сущности, никуда не торопилась. Поэтому просто стояла и смотрела, как этот неведомый дух качается, раскачиваясь всё сильнее, взлетает к самой высокой точке - и пропадает там вместе с качелями в тёмном на этот раз небе.

Викинг с волчьей головой

Поехать электричкой до Кузнечного, пересесть на дизель до Сортавалы, в Сортавале застопить трактор, чтобы доехать до Рауталахти - не квест. Квест - это сдать медицинские анализы, получить справку от терапевта, когда в поликлинике не был, считай, никогда, заполнить анкету, ждать ответа. Вот это квест. Какой нормальный художник справится с этим легко? Даже и с трудом - не всякий.

Ёксель, впрочем, до какой-то степени справился, словно продрался сквозь кусты железного шиповника, расцарапав всё своё внутреннее равновесие в кровь, оставив в дверях городских служб клочки одежды, вышел на открытое пространство и чуть не заплакал, потому что впереди виднелся еще один колючий забор - анкета в консульстве.

Нет, конечно, не так всё страшно, думал Ёксель, двигаясь в сторону мастерской, к ноутбуку. Мама рассказывала, какие страшные упыри встречались в присутственных местах во времена ее юности. А тут вроде и не было никаких упырей, напротив, милые обаятельные девушки, если выполнишь все положенные абсурдные действия вроде заворачивания себя в полиэтилен и нетканку, они даже тебе улыбаются и глазки строят. Разве что в очередях приходится стоять на лестнице или на улице, но ничего страшного, лето же. Так что не очень даже понятно, почему всё это так изматывает. Словно и впрямь - железный шиповник на пути в сонное царство, и где-то там ждёт прекрасная принцесса.

Моей принцессе восемьдесят лет, думал Ёксель, спускаясь в царство Аида, то есть, в метро. Еще не факт, что можно спасти ее поцелуем. Но я уже подорвался. Ничего уже не поделаешь. Таким уж нелепым стал мир, что пробраться в другую страну можно, только пройдя через железный шиповник - а с другой стороны, может, и ценность твоего появления от этого повышается? Или нет.

Вышел из метро на прожаренной солнцем Нарвской площади, обогнул ее, продираясь сквозь толпу, по солнечной стороне, нырнул в прохладу Екатерингофа. Осознал, что с каждой минутой идёт всё медленнее и медленнее: совсем не хотелось доходить до лофта, включать ноутбук, тонуть в трясине анкеты. Настолько не хотелось, что остановился вовсе, огляделся - и свернул в сторону от народной тропы, ведущей к выходу из парка. Куда-то в заросли, в сторону заброшенной эстрады, в тень и запустение. Сад, зимой довольно прозрачный и унылый, летом совершенно зарос, и, кажется, в нём много и вкусно пили. Да вот же, подумал он, бабушка же еще не прислала письмо от семейного врача, а в анкете нужно подавать все документы сразу, а то визу не дадут, и всё с начала начинать, а уже будет отметка, что однажды не дали. Вдохнул-выдохнул, но облегчения, которое чувствовал, получив каждую очередную справку, не испытал. Сам ведь знаешь, что это отмазки. Всё равно ведь придётся это делать. Но сад уже затащил его в свою тень и тишину, и тропинка вела куда-то вглубь, и, кстати, на тропинке было полным-полно пивных крышечек.

Похоже, сад всё-таки кто-то иногда убирал: пустых бутылок практически не попадалось, а на деревьях время от времени темнели черные мусорные пакеты. А крышки - да кто на них вообще обращает внимание. Это был рай для сумасшедших художников, придумавших проект красок Апокалипсиса.

Началось с того, что одна из постоянных пользователей мастерской посмотрела мастер-класс по ручному производству акварельных красок. Оказывается, если взять гуммиарабик, мёд и какой-нибудь пигмент, а еще стекло и стеклянную растирку для пигмента, можно сделать совершенно настоящую краску, вот как заводскую, только круче! И эта прекрасная девочка начала тереть пигменты, за неимением профессионального мюллера, венецианской стеклянной подпоркой для двери, и намешивать удивительное. Например, краску, которая, если взять мало воды, похожа на умбру, а если много, распадается на желтую и ультрамарин. Или, например, сепию, сделанную совсем уж по средневековой технологии, из черной саблинской

глины, собственноручно извлеченной из пещеры. Но куда потом эти чудеса разливать? Тут-то и возникла идея использовать в качестве кюветок пивные крышечки. Это же практически как в игре в фоллаут! В крышечку влезает ровно столько, сколько можно натереть за один раз. Все восхитились и начали таскать в мастерскую кучу разноцветных пробочек, потому что всем хотелось этими красками порисовать, и Ёкселя не минуло это поветрие, и взгляд перенастроился на поиск крышечек: вот серебристый Хугарден, вот забавный волчок волковской пивоварни, а вот зеленая с трилистником, их полно, популярное пиво, правда, Ёксель понятия не имел, какое, вообще пивом интересовался не очень-то. Не все крышки годятся: если ее уже погнули открывашкой, обратно не выпрямишь. Бывает, попадаются совсем уж бессмысленные крышечки от водки, одноразовые, с кольцом: нагнёшься, заметив блестящий кружок, и зря, никак ее не применить. Но в парке, где редко у кого найдётся настоящая открывашка, бутылки открывают, поддев снизу ключом или зажигалкой, это совсем их не повреждает, удачно. Набрал уже с десяток, и тут заметил пуговицу.

Ну, как заметил. Краем глаза показалось, что и это крышка - но нет, не крышка это была, а самая настоящая довольно винтажной конструкции пуговица, будто бы от девятнадцативечного мундира, с двуглавым орлом, составленная из двух латунных половинок, с петелькой. Но в очень хорошем состоянии. Вряд ли настолько древняя, скорее, современная реплика. Даже не позеленела нигде и сдержанно сияла на ладони у Ёкселя, как император Александр второй, деловитый, совсем не вычурный, прогуливающийся по парку в одиночестве и даже без охраны. Ёксель сунул пуговицу в другой карман шортов и пошел дальше, внимательно оглядывая тропинку, и вскоре заметил другую пуговицу, то есть, вообще совсем другую. Эта была стеклянная, темно-зелёная, поднимающаяся ступеньками, что-то она напоминала такое, бабушкинское, кажется, похожая была на старом бабушкином платье, только чёрная. Зелёная еще лучше, такой малахитово-зелёный, как прабабушкин парфюмерный прибор, сразу представляешь такую старую даму с кружевным воротником и манжетами, в тяжелом темно-зелёном платье. Как королева-мать. Ничем

особенно не управляет, а на деле правит миром, Елизавета какая-нибудь, ну да, поверим мы, что королева - декоративная фигура, как же.

Так бывает, когда ищешь одно, а находишь другое, более ценное. Мир вывернулся пуговицами наружу. Теперь Ёксель уже не замечал на пыльном гравии пивных крышек, кажется, всюду были пуговицы. Нет, их было не так много, чтобы сразу набрать, не разгибаясь, горсть. Они словно заманивали, тут одна, там, за поворотом, другая, и впереди вон что-то виднеется, и такое привлекательное, что поневоле заходишь в заросли всё дальше и дальше. То попадается совершенно рекурсивная современная пуговица: в ней три совсем уж микроскопические пуговички, как будто от кукольного платья, залиты в прозрачную смолу. То наоборот: большая, чуть больше пятирублёвой монеты, медная, с волчьей головой и дракаром, заполненная сзади оловом, явно самодельная, но суровая и основательная, как викинг. В отличие от пробок, для Ёкселя в пуговицах не было никакого смысла: шить он отродясь не умел, разве что сапожным шилом залатать сумку. Куда пуговицы?! Но оторваться почему-то не мог. Последней нашлась пуговица из яркого перламутра, с тонкой гравировкой по краю, ветка и цветочки, нежная, как принцесса, на этом ручеек пуговиц прекратился, а через несколько шагов Ёкселя встретила жестяная коробка из-под чая с высокой проволочной ручкой, красная, похожая на трамвай. Похоже, из нее-то пуговицы и рассыпали. Огляделся: вокруг были кусты и ничего знакомого. Да сколько тут того Екатерингофа?! Не такой уж большой парк, не Удельный и не Сосновка, в пять минут можно весь пересечь. Беспокойно озираясь, машинально пересыпал добычу из кармана в коробочку и пошел дальше, держа ее за ручку, как очень маленький портфель.

Местность решительно не узнавалась, а потом и вовсе пошла на подъём. Хочешь свести питерца с ума - покажи ему рельеф местности южнее древнего берега Литоринового моря. Там, на севере, у Сосновки, еще ничего, но здесь, на юге, у самого залива? Не бывает. Ёксель поймал себя на остром желании заорать, но, пока оглядывался, не напугает ли этим кого, желание

как-то поутихло. Тем более, что опыт странного, как ни крути, уже был. Ладно. Вдохнул-выдохнул, пошел. Поднялся на самый верх, кусты расступились, и тут Ёксель всё-таки заорал. Потому что с неожиданного холма открывался неожиданный вид: пристани, красный паром, рыночная площадь, церковь красного кирпича, построенная на скале. Дереализация, вспомнил он слово, это то, что я сейчас чувствую. Город, такой близкий и знакомый, но совершенно недоступный в сломавшемся мире, лежал перед ним, как будто и не расставались. Внизу, на рынке, торговали красной смородиной. Катер до Свеаборга отходил от пристани. На освещенной закатным солнцем скале едва различимые финны что-то ели. Как во сне, когда обнаруживаешь себя в Хельсинки в пижаме, без единого евро в кармане и без паспорта, и потом ломаешь голову, как теперь добираться обратно в Питер, пока не сообразишь, что пижама как бы намекает, и не проснёшься.

- К черту подробности, - вслух сказал себе Ёксель, - отсюда до бабулечки полчаса ходу. Что тут думать, прыгать надо.

Думать о таком прыжке заранее было бессмысленно: всё равно доехать Ёксель успевал бы сильно потом, когда бабушка давно была бы уже в больнице, и еще пришлось бы доказывать свое право ее навестить. Но сейчас - сейчас она точно была еще дома, спасибо ватцапу, Ёксель знал это точно. Значит, что бы это ни был за бред, он случился ровно когда надо. Ёксель вдохнул, выдохнул и понёсся вниз с холма, потом налево по эспланаде, и дальше, в Камппи, бабушкина квартира совсем недалеко от синагоги, да и вообще тут всё близко, метро не понадобится, главное, не проснуться.

Уже на подходе к Камппи вспомнил, что с собой ничего - ни ключа от бабушкиной квартиры и подъезда, ни денег; документов полно, но все не те: паспорт без визы, дурацкие медицинские справки. И нелепый трамвайчик с пуговицами. Хотел же бабушке чаги привезти и еще всяких травок. Ну да ладно, звонок работает, Анни откроет, а деньги - вообще ерунда. Бежал, пока совсем не запыхался, перешел на шаг,

миновал художественный магазин, буквально зажмурясь; прошел мимо синагоги, нырнул во двор, позвонил в домофон.

- Анни, это я, маргаритин внук, - сказал по-английски. В Хельсинки все так или иначе английский понимают, а бабушкины способности к финскому в Ёкселе так и не проснулись, даже жалко. - Приехал вот.

- Ой, как хорошо! - восхитился с той стороны звенящий голосок бабушкиной помощницы, - она только о тебе и говорит! Только она говорила, ты еще не скоро приедешь. Заходи.

Поднялся на третий этаж все еще с ощущением странного сна, а в бабушкиной прихожей будто разом из него выпал. Прихожая была такая знакомая и вещественная, с этой вешалкой, сделанной из очень старой выбеленной морем доски, что оставаться во сне было уже совсем невозможно.

Бабушка лежала в своей спальне такая маленькая и бледная, что у Ёкселя заныло в животе. Впрочем, она что-то листала в телефоне.

- Малыш! - воскликнула она надтреснутым голосом, - а я-то тебе справку отправляю, чтобы тебя впустили, а ты уже здесь? Это каким же, интересно, образом?

- Понятия не имею, - признался Ёксель, - телепортация, наверное. Я вот тебе принёс, - он протянул бабушке коробку с пуговицами, вдруг вспомнив все ее банки из-под датского печенья, где чего только не было. Для этого и собирал?! Запоздало сообразил, что пуговицы подобраны прямо на земле, ни разу не помыты, мало ли какая на них могла быть грязь, бабулечке, наверное, это всё совершенно не полезно - но поздно, бабушка уже зарылась в коробку и даже как-то порозовела. Поёрзала на постели, вытащила из-под спины одну из подушек, положила на колени и принялась раскладывать пуговицы по подушке.

- Ну, малыш, ты даёшь! Идеальный набор, совершенно прекрасный. Как ты додумался? Вроде никогда в пуговицы не играл. Не ожидала от мальчишки. Нет, ну ты посмотри! Чудеса какие.

Анни встревоженно сунула курносый нос в щель двери, да так и застряла там, восхищённо глядя на бабушкин энтузиазм. А бабушка между тем села на кровати поудобнее, и теперь раскладывала пуговицы по ранжиру, и Ёксель незаметно для себя увлёкся, хотел ведь присмотреться к бабуле, фиг знает, увидимся ли еще, а вместо этого смотрел на пуговицы, явно выстраивающиеся по своим функциям. Не находил себе места только викинг с волчьей головой, среди всего этого королевского бала смотревшися, как седьмой самурай, как дикий ронин из фильма про Ци Цзигуана, как, собственно, викинг при дворе.

- Так и есть, одна лишняя! - обрадованно сообщила бабушка, - угадаешь, какая? - она так лукаво глянула на внука, что он совершенно забыл, по какому поводу, собственно, сюда телепортировался и азартно ткнул в викинга, как в детстве, когда бабушка занимала его играми, или позже, когда она уже перебралась в Хельсинки окончательно, и он наезжал к ней поболтать. Вся семья разбежалась по миру, но никто не разбежался удачнее бабушки. С ней всегда было легче всего, она принимала все его дурацкие детские идеи, и как раз она и оказалась практически под боком, если бы мир не сломался.

- Умничка! - воскликнула бабуля, - потому что она для тебя. Annie, tuo minulle neula ja lanka!

- Чего? - переспросил Ёксель.

- Пришью её к тебе. А то ты домой не вернёшься, знаю я тебя. Я так думаю, пуговички тебя ко мне и привели.

И подумал бы Ёксель, что бабушка уже того, но не подумал. Бабушка всегда хорошо отличала реальное от воображаемого, и никогда не руководствовалась общепринятым. С чего бы ей сейчас ошибаться.

Приходится признавать, что и впрямь пуговицы заманили его в неведомые дебри и вывели из них прямо туда, откуда так легко дойти до бабушки, к чему отрицать очевидное.

Бабушка, меж тем, крепко ухватила Ёкселя за майку, пересадила его на свою кровать, взяла у Анни иголку и быстро пришила пуговицу с волчьей головой прямо к майке.

- Выглядит немножко нелепо, - пожала плечами она, - но что уж поделаешь, если ты не надел ничего более подходящего. Annie, tee meille juustovoileipiä!

Анни, кажется, очень удивилась, но моментально убежала на кухню.

- Это ты чего у нее попросила?

- Эх ты, выучил бы финский, горя бы не знал, - засмеялась бабушка, - бутербродов. Ты голодный, наверное, да и я что-то проголодалась. Поужинаем, да и пойдёшь.

- Ты меня выгоняешь?! - почти обиделся Ёксель.

- Детка, чудеса - не навсегда! Я не жадная.

Глядя, как бабушка азартно уплетает бутерброды, Ёксель пожалел, что чудеса не навсегда. Полгода бабушка жаловалась в ватсапе на отсутствие аппетита. И тут на тебе! Анни, кажется, тоже поражалась из-за двери.

- Еще приходи, - сказала Анни, закрывая за ним дверь, - полгода ее такой живой не видела. Врач говорил, недолго осталось, и я даже верила, но сегодня уже сомневаюсь. Ты какой-то шаман!

- Просто она очень любит пуговицы, - объяснил Ёксель, держась за викинга с волчьей головой. Он держал его всю дорогу до порта и парка над портом, и потом, выходя из Екатерингофа в сторону лофта, так и не мог выпустить из руки.

И анкету заполнял потом одной рукой.

Кукушкины слёзки

К пробиванию собой алмазной стены как-то привыкаешь. Ладно, это был всего месяц, а с другой стороны, у Доктора Кто это был день, но он вместил в себя четыре с половиной миллиарда лет. Сколько в таком масштабе может поместиться в месяц, Сара считать отказывалась, но представь себе ту самую птичку, которая точит нос об алмазную гору, одна гора равна секунде вечности, и понимай по аналогии. Такой, в общем, вышел месяц. И вдруг он закончился, и Сара осталась, словно выпав из полосы прибоя на совершенно незнакомый пустой берег.

На берегу было совершенно нечем заняться. Все поезда ушли, все самолёты улетели, да и какие там поезда-самолёты, если ты уже представила себе необитаемый остров. Корабли, надо говорить. И они тоже ушли. А привычка между тем никуда не делась. Дело к вечеру, надо убить себя об стену, чем же еще может заниматься взрослый приличный человек.

На этот счет план был готов заранее. Сара предполагала, что, когда всё закончится, думать будет невозможно. Поэтому написала себе письмо акриловым маркером на холодильнике, рядом с магнитом с сияющими родителями: "1.ДАЧА. 2.ЦИГУН. 3.ИСКУССТВО".

Дача очевидным образом не сработала: Сара бродила из угла в угол, постоянно натыкаясь на какие-то штуки. Ведь казалось бы, столько лет переделывали дачу вместе с сыном под себя, красили стены, вешали полки, перестроили крыльцо и лестницу на чердак, а всё равно остались какие-то мамины следы, хвосты, метки. Вот сухой букет, кукушкины слёзки, он стоит в этом берестяном кувшине много лет, эфемерная трава, а пережила ту, что ее собирала. Вот яблоня мельба, кажется, она решила вовсе не взрослеть, ей больше тридцати лет, а она прутик, и вся в яблоках, и некому отправить фотографию этих яблок. А тут еще и отец позвонил рассказать, как хоронят в далёких южных краях, сказал: не убивайся ты так, ты же знаешь, что церемония - это не то, как мы

прощаемся на самом деле. Я знаю, ответила Сара, есть опыт, мы прощаемся внутри. Тут бы и поплакать, но с чего начинать? Сара вернулась в дом, а там берестяной кувшин, а в нём кукушкины слёзки. Да ну нафиг, попробуем второй пункт.

Но, стоило только выйти на поляну и встать в стойку, как накатило ощущение бессмысленности практик. Да и Китай за последние полтора года потерял в сариных глазах ореол средоточия мудрости, это же Китай, в конце концов, запустил этот флэшмоб безумия, сломавший мир. Какая разница, куда они там предпочитают вдыхать и выдыхать, кому это интересно, всё равно они теперь делают это через намордник.

Хорошо. Третий пункт за всё платит. Сара вернулась в дом и сообразила, что не взяла с собой нормальных тяжелых красок, ни масла, ни акрила, только маленькую коробку акварельных и альбом с шикарной бумагой, совсем недавно подаренный мамой. И теперь в нём рисовать?! Это всё равно что по дому бродить, те же кукушкины слёзки. Ну уж нет, мы решили спасаться, а не тонуть дальше, это уже берег, дыши, живи.

Чердак сын переделал под себя только наполовину: выгородил там себе студию, обил изнутри старыми одеялами, поставил ударную установку. Вторая половина чердака была завалена материалами: досками, разобранной мебелью, неведомыми металлическими артефактами прошлого, которые сын не позволял сдавать в металлолом, ссылаясь на их прекрасный звук. В частности, там были и огромные листы толстого старого картона с такими неровными краями, словно этот картон отливали прямо здесь и прямо на земле. Это было то, что нужно.

Сара выволокла на веранду этюдник и картон, замешала в тарелке водоэмульсионку и колера, оставшиеся от росписи стены, и единственной найденной кистью, широкой, плоской, начала набрасывать яркое небо, белые известняковые стены, цветущие жакаранды и обнимающие сами себя фикусы. То есть, на картоне были размашистые плюхи цвета, резкие черты и потёки, но

Сара знала, что всё там это есть. Цель же не создать идеальную картину, цель - выплыть. Где-то в глубине был берег, пароходы, на берегу цвели юкки, по песчаным скалам вниз сползали цветущие желтыми острыми цветами суккуленты, но не было под рукой тонкой кисточки, чтобы всё это прописать. Сара так хорошо представила себе этот недоступный пейзаж, что даже почувствовала запах горячей красной земли, жареного фалафеля, кофе и солёного моря. Но не хватало деталей.

В столе в спальне нашлись только засохший тюбик клея, стеклянное яйцо и две пуговицы с львиными мордами. На чердаке - карандаш и сломанная барабанная палочка. Зато буфет порадовал: в левом ящике, кроме бумажек, старых блёсен и нескольких гвоздей, нашлась и тонкая синтетическая кисточка, то, что нужно! Сара бегом вернулась на веранду, там как раз первый слой картины слегка подсох, и принялась почти чистыми колерами ставить акценты: темную тень под уличной рекламой какой-то лавочки, собственно фигуру лавочника в дверях, кошку, пьющую из оставленной для нее миски, маленький желтый автомобиль на набережной, высокий тонкий семисвечник цветка юкки на краю моря, каплю белого парохода на горизонте. Надо перейти на теневую сторону улицы, так и солнечный удар схлопотать недолго.

В картине пахло не водоэмульсионкой и колерами, и совсем не старым картоном, а солёным морем и незнакомыми цветами. На кисточке еще осталась капля коричневого колера, Сара быстро оглядела себя и высыхающим колером набросала себе сумочку. На этом краска кончилась, но, может быть, этого и достаточно. В сумочке всегда что-нибудь да найдётся. С кисточкой в руке Сара пересекла еще не просохшую улицу в сторону лавки, конечно, это оказалась лавка художественных принадлежностей. О какой еще лавке может думать грустный художник, не об овощной же.

Вошла в лавку с некоторым трепетом, потому что внутренностей лавки не прописывала, но, кажется, хорошая картина пишет себя сама. Потому что внутри было все, что бывает в хороших лавках: стеллажи с

цветными карандашами, полки с баночками, ящики с кисточками, мольберты, подрамники и готовые грунтованные холсты, стопки блокнотов и альбомов, рулоны холста, маркеры и нечетко различимый хозяин, из угла с интересом наблюдавший за ее перемещениями. Сара, входя в магазин, привычно натянула намордник, как же можно что-то покупать без намордника; хозяин лавки посмотрел на нее странно, но ничего не сказал. Краска кончилась, нечем было сделать его лицо почётче, потому что выражения его лица Сара не очень поняла, да и какая разница, главное, что в животе у Сары по-прежнему был тяжелый узел, значит, надо продолжать рисовать всё равно из какой точки. Заглянула в сумочку. Там нашлось двести шекелей, очень реальных на вид, гиперреализм среди импрессионизма, ну, если прокатит, то и хорошо, потому что вот этот десяток баночек как раз влезет в нарисованную сумочку, и к ним возьмём еще вот эту кисть, она, конечно, для акварели, но и для акрила сойдёт, толстая, но с тонким кончиком, на холст уже не хватает, но холстом может быть любой кусок картона. Конечно, он найдётся.

Конечно, он нашелся, на ближайшем же пустыре. На этой улице должен же был быть пустырь, какой-нибудь такой поросший сухими колючками, заваленный по краям мусором, с дикими кустами помидоров, проросших из брошенного огрызка, с отдельными известняковыми камнями. Сара устроилась на одном из таких камней под тенью стены, расставила рядом с собой баночки и совсем уже было нацелилась на пейзаж, но тут же поняла, что пейзаж в ее голове иссяк, а легче не стало. Наоборот, начала накатывать злость за весь этот самодельный апокалипсис из простуды и паранойи, за все эти закрытые границы и намордники. Открыла банку с черной краской и решительно провела поперек картонки изломанную черту. Потом еще несколько, как трещины, разбегающиеся по миру. Потом, параллельно, вторую - белую. Когда в голове эмоциональная каша, экспрессионизм - то, что нужно. Теперь мир делился на потрескавшуюся светлокоричневую половину, белую гладкую и разделяющую их узкую полосу нервного серо-голубого неба с пробегающими облаками. Воды на пустыре не

оказалось, так что Сара только вытирала кисть подвернувшейся среди мусора тряпкой, и ничего, тряпка оказалась заношенная, мягкая. Но всё-таки вытертая кисть - это вам не помытая кисть, и среди белого поля по мере высыхания начали проступать серые мазки и потёки. Там проглядывал какой-то город, наползающие друг на друга домики, и оставалось только помочь ему проявиться, добавить теней, окон, дверей, лестниц, благо тонкость кончика кисти позволяет. Развела себе на пластиковой крышке градиент от черного через коричневый до белого, закинула остальные банки в сумку и кропотливо принялась прописывать признаки жизни: окна, антенны, двери, козырьки, карнизы и водосточные трубы.

Из-за куста вышел кот, белый и с разными глазами, обнюхал сарину штанину, потом картонку и требовательно заглянул в глаза. И даже мяукнул. Честно говоря, это был первый звук, на который Сара обратила внимание внутри картины, поэтому она остановилась и внимательно посмотрела на кота. Кот смотрел ей в глаза и ждал. Сара взяла еще одну пластиковую крышку, кажется, на этом пустыре кто-то что-то ел, и круговыми движениями кисточки набросала на ней катышки кошачьего корма. Понюхала. Пахнет кормом. Протянула коту. Кот тоже внимательно обнюхал угощение, признал его настоящим и во мгновение ока слизнул с крышки, облизнулся и запрыгнул Саре на колено. И принялся там умащиваться, вонзая когти в ногу. Когти ощущались как вполне настоящие, мурчание кота умиротворяло, зато рисовать стало не так удобно. Уложив картонку на другую ногу, Сара прописала последние детали: широкую витрину магазина в домике на переднем плане, приоткрытую дверь и маленькие, как кляксы, фигурки разных людей в щелях между домами. Пусть в этом городе живут. Ходят везде, трусы на веревках сушат, воду для котиков ставят, намордников не носят. Не особенно старалась в реализм фигурок, слишком мелкий масштаб для такой большой кисти, да и попробуй быть точным, когда на колене ворочается кот.

Трусы на веревке оказались красные, вода действительно стояла под ближайшим фонарным столбом, и белый кот немедленно рванул ее лакать, еще бы,

наелся сушки. Сара не ожидала, что кот последует за ней, хотя уже встречала котов с абстрактным мышлением. Улицы разбегались вкривь и вкось, небо пересекала какая-то тёмная ржавая масса, словно левиафан нависал где-то там, наверху, а здесь, внизу, всё было нормально. Вот, например, женщина с пакетами едет домой на восьмилапой кракозябре, ничего необычного. Вот музыкант и танцорка выступают на маленькой площади, зрители, человек десять, едва помещаются, но не уходят, да и как тут отойдешь, когда она изгибается под совершенно нечеловеческими углами, а у него, судя по вьющейся мелодии, не меньше шести пальцев на каждой руке. Вот желтый автомобиль проехал по стене, переходящей в дорогу этажом выше, а ему навстречу - моноциклист, везущий кубический короб доставки на голове. А вот подростки расписывают заднюю стену скошенного флигеля, у них много баллончиков, а вот умения немного, присоединиться бы, а то сплошной Поллок на стене, а толку мало.

- Эй, художница! - вдруг крикнул один из подростков, - да, ты, с кисточкой! Иди сюда со своей кисточкой, присоединяйся! - парень с тоннелем в ухе и с синими волосами, откуда синий, даже не открыла баночку же, протягивал ей золотой баллончик, - смотри, краска сохнет не сразу, ее можно кисточкой размазывать, будешь?

Сара послушно взяла баллончик, всмотрелась в стену и поняла, что мальчик мог бы справиться и сам. Здесь, в мешанине линий, не хватало именно золотой линии, тонкой, местами расширяющейся, пересекающей всю композицию. Он безошибочно выбрал золотой, но, может быть, не знал, как именно его положить, а Сара это хорошо видела. Вот отсюда, из верхнего правого угла, в нижний левый, но не доходя до края, там нужна совсем тоненькая полоска, а вот тут, в середине, полосу придётся изогнуть, чтобы она зачеркнула вот это разлапистое пятно и вот эту тонкую скользкую линию. И тогда всё наладится. Сара закатала рукава, перехватила баллончик поудобнее и пошла с ним вдоль стены, опуская линию всё ниже, ниже, и там, у самой земли, налила в ямку кирпича целую лужицу акрила, и уже кисточкой вытянула из нее последнюю тонкую,

усталую, но не сдающуюся линию. Теперь вся композиция была собрана как надо. Золотая линия собирала все правильные линии и отсекала все неправильные, и там, где собралась лужица золотого, была такая тихая гавань, точка отдохновения, в которой можно собрать себя, как только что удалось собрать композицию стены. Сара окунула кисть в последнюю мокрую каплю золотого акрила и быстрыми тычками набросала над лужицей мелкие капельки, как кукушкины слёзки. Свернулась в этой капле, меедленно вдохнула, мееедленно выдохнула, котик, замурчав, начал топтать ее лапами, намереваясь устроиться в этой лужице надолго, но Сара надолго не могла, ей хотелось проверить, как там поживают зелёное пятно и серая линия, и она пучком чёрточек потекла в сторону пятна, а пятно не могло пошевелиться, и серая линия порвалась под золотой и не выглядела больше чем-то цельным. Правильно. Всё было правильно. Тонкой золотой струйкой вытекла Сара из картины и перевела дух на веранде, в оглушающей тишине ночного посёлка.

Белый кот сидел у неё на колене, вцепляясь когтями в грубый лён дачных штанов.

- Эй, кот, ты чего, - сказала ему Сара, - я же тебя только что нарисовала, ты так и собираешься когтить мне ногу?

Кот посмотрел на Сару и демонстративно облизнулся. Мол, какая разница, ну, нарисовала, корми давай. Сара порылась в кухонном шкафчике, нашла пакетик влажного корма, выложила коту на блюдце. Кот ел с урчанием, даром, что нарисованный. Сара и сама подумала, что надо бы что-нибудь съесть, но магазин уже закрыт, а в доме только галеты. Ладно, сойдут и галеты. Вгрызлась в галету и пошла было в сторону лестницы на чердак, но зацепилась глазами за кувшин с кукушкиными слёзками. И, странное дело, сухоцвет был уже какой-то другой. Не просто мамины слёзки и слёзы Сары, а словно мимолётный, но вечный стержень мира или по крайней мере этой комнаты в маленьком дачном домике. После поллокообразной абстрации, нарисованной на стене, нарисованной на картонке на пустыре, нарисованной на картоне с чердака, тонкие черточки

сухоцвета были как белая гаечка на картине в книжке "Заблудившийся робот" - маркер, камертон, точка настройки.

- Мяу, - сказал кот. Мол, это я белая гаечка! Я точка настройки!

- Конечно, ты, - сказала ему Сара, вздохнув, - ты же кот.

Нет преград

Центр действительно был перекрыт. Метро, автобус, троллейбусы - забудь об этом. Травка понадеялась на велосипед, но мост со Стрелки оказался перегорожен заборами и космонавтами. Кто-то шел по льду, но тащить велосипед вниз, а потом вверх было не очень романтично, хотя, конечно, сама возможность перейти реку по льду завораживала. Но поход в войлочную лавку того не стоил. Можно ведь ехать и не к центру, а от центра, и там драгоценная шерсть для валяния найдётся в любой хобби-лавке, которые обнимают город кольцом, гнездясь в каждом торговом центре. Правда, там не будет аутентичной альпаки или очень сильно упрощающего жизнь кардочёса, но, если уж хочется валять, можно обойтись и без упрощений.

Вся картинка выглядела сюрреалистично. Яркий морозный день, сверкающий снег на льду реки, синее небо и заборы, заборы, заборы, а за ними - безликие черные космонавты. Травка прислонила велосипед к гранитному парапету и достала маленькую трубочку. Нельзя вот так просто развернуться и поехать назад. Обидно как-то.

Рядом у парапета стояла дама в мехах и шляпе с перьями. Травка, набивая трубку, разглядывала ее с головы до ног. Стильные сапожки на каблучках. Длинная черная юбка-годе, пальто с широким меховым воротником, изящные перчатки с опушкой, пожалуй, сейчас в таких может быть холодновато. На самой Травке, например, были овчинные варежки. И какая у дамы была шляпа! Лучшей маскировки не придумаешь, надень такую шляпу, видную за километр - и никто не заметит собственно тебя. На шляпе было сразу всё: розы, листья, страусиные перья, ленты, нити - черное, синее и серебристое. Дама просто стояла и смотрела на всё вот это, не предпринимая никаких действий. Травка решила, что это удачный момент, достала смартфон и сфотографировала забор, мост, ряд космонавтов и темный силуэт женщины, не привязанной ни к какому конкретному времени. Получилось так хорошо, что решила сразу и выложить.

- Дама-звезда инстаграма, - раздался над ухом бархатистый, слегка скрипучий голос. Дама заглядывала Травке через плечо, и выглядела она анфас куда старше, чем со спины. Из-под шляпы выбивались совершенно белые пряди каре. - Ну, не смущайтесь, снимок-то отличный.

- Простите, что я без спроса, - смущенно отозвалась Травка, - не устояла.

- Ерунда, - отрезала дама, - художнику можно всё.

- Только в центр пройти художнику нельзя.

- Это да. Что будем делать?

- Вон люди по льду переходят, - махнула рукой Травка, - но велосипед я там не протащу.

- Вот и я думаю, что по льду больше ходить не буду, - кивнула дама, - находилась уже. То у них революция, то война, то трамвай, надоело. Жаль. Надеялась купить бумаги подешевле. Придется в другой раз. Я бы кофе выпила, раз уж оно так вышло. Вот вы случайно не знаете, где здесь выпить кофе?

- Да вон там, - махнула рукой Травка в сторону Ростральной колонны, - вон кофе-машина стоит.

- Ну уж нет, - отмахнулась дама, - пить кофе, стоя на ветру - неуважение к напитку. Я бы предпочла какое-нибудь кафе, но тут так быстро всё меняется, вот я и спрашиваю, может быть, вы в курсе.

- Тут, вроде, какой-то пивной ресторан рядом, - неуверенно припомнила Травка, - но кофе там тоже варят. Сейчас посмотрю, - открыла на телефоне карту, нашла ресторан, действительно, близко, около двенадцати коллегий.

- Вот спасибо, - обрадовалась дама, - пожалуй, я так и поступлю. Не хотите присоединиться?

Травка помотала головой. Раз уж так вышло, надо было возвращаться к дому, оставлять там велосипед и ехать на метро на Лиговку, которая, как прочитала Травка в новостях, работает. Но, доехав до Стрелки, Травка обнаружила, что и там уже кипит активность, безликие черные космонавты уже разглядывают чьи-то документы, и у Биржевого моста выставляются заборы. Выходило так, что Стрелку заперли, и Травку вместе с ней. Разбираться с космонавтами настроения Травка в себе не чувствовала, всегда оставалась возможность выбраться с острова через витиеватый мост, но эта экспедиция требовала подготовки. Похоже, всё-таки придется пить кофе в этом шалмане.

Дама уютно устроилась за одним из небольшим столиков и пила кофе из кремовой глиняной кружки с синей голландской росписью на борту. Обстановка в этой таверне вообще была нарочито петровская: кирпичные своды, деревянные панели на стенах, высокие стулья и расширяющиеся книзу кружки, пивные и кофейные. Кружки, кстати, висели на крючках на цепи, протянутой над баром. Без шляпы дама оказалась уютной старушкой с белоснежными волосами, по крайней мере, такое впечатление она производила в эту минуту, с глиняной кружкой у губ. Старушка помахала Травке рукой, мол, иди сюда, чего церемониться, и Травка послушно приблизилась, завороженная линиями этой руки. Вопреки ожиданиям, в ресторане по имени "Град Петров" она почувствовала себя как дома. Обычно Травка предпочитала заведения попроще, какой-нибудь фикс-прайсовый кофикс или одну из микрокофеен "Кофе-гоу", но тут, в только что свалянной войлочной треуголке и в перешитом под восемнадцатый век полушубке, оказалось самое то, не хватает только такой же восемнадцативечной кружки с горячим кофе, раз уж его так яростно внедряет царь Пётр.

- Что, решили всё-таки погреться?

- Да там космонавты не пускают уже никуда, - сообщила Травка, - я решила переждать.

- Ну уж скажете, космонавты, - рассмеялась

никакая не старушка, а дама, - космонавты расширяют мир, а эти всё сузить норовят. Когда Гагарин полетел, мы думали мир изменился навсегда, да какое там, жандармы всё те же. Ну да бог с ними, зато кофе здесь приличный и чашки у них красивые. Как вам цепь?

- Цепь огонь, - согласилась Травка, - мы тоже любим в нашей кафешечке чашки на крючки вешать, а до цепи не додумались.

А сама в это время совершенно неприлично пялилась на руки дамы. Ничего прекраснее в жизни не видела. Словно выточены из полудрагоценного камня, причем, полупрозрачного, что-нибудь вроде агата, но полные живой жизни, светящиеся изнутри, все косточки видно насквозь, как часто бывает с возрастом, но кожа гладкая и сияющая. Невероятно. Руки задумчиво разглаживали салфетку, словно намереваясь что-то на ней нарисовать, только кисти в них не хватало.

- Руки я кремом мажу, - улыбнулась дама, - и вам бы не помешало.

Действительно, травкины руки выглядели как-то не очень. Кожа потрескалась, а на ладони лучше вообще не смотреть.

- Войлок, - коротко объяснила Травка, - мокрое валяние, остановиться не могу. Шляпу вот сваляла.

Дама рассмеялась.

- Вот все мы ради искусства готовы на великие жертвы! И я ради бумаги в такой мороз из дома вышла. Ну да ладно, отсюда до Репинки рукой подать, там и закуплюсь. Пожалуй, надо идти, лавка там рано закрывается.

Началось тщательное облачение во все зимние слои: шарф, верхняя одежда, перчатки, шляпы. Но в дверях обе остановились: снаружи доносились крики, звуки ударов, и вообще как-то несимпатично было там снаружи.

- Подождём? - предложила Травка. Она-то сама и не постеснялась бы выйти, но ее спутница выглядела хрупкой драгоценностью, и хотелось как-то охранить ее от всего этого.

- Чушь собачья, - отрезала драгоценная спутница, - вот еще я буду бояться. Если я сегодня же не нарисую, что задумала, я сама буду бить их ногами, - она с сомнением посмотрела на свой узкий сапожок и подтвердила, - да, ногами. Мне уже по городу моему не пройти?!

По твоему не пройти, - подумала Травка, - может, по моему пройдём. И потянулась куда-то туда, ловя прикосновение чужого ветра. Никогда еще не пробовала проходы открывать, зато столько раз и находила - ладно, может быть, можно его взять и найти, а если некуда пойти искать, то найти прямо здесь. С этим ощущением чужого ветра, то ли реальным, то ли выдуманным, распахнула дверь и увидела за ней не Университетскую набережную, а Рыночную площадь, дырчатые камни прилавков, разноцветные флажки с именами торговцев, румяную от мороза толпу в узорчатых одеждах.

- Опа, - сказала дама, - вот это поворот! Что это вы такое сделали?

- Сама не знаю, - призналась Травка, - это типа срезать угол через другой мир.

- Другой, значит, - дама принюхалась, осторожно переступила через порог и огляделась, - ну, если вы знаете, как попасть через это ваше другое место к Репинке - ведите!

В этом было такое королевское достоинство, что Травка покорно повела. Но увела недалеко: около палатки с художественными материалами пожилая художница остановилась и мигом растеряла и царственность, и возраст и рылась теперь в графитовых и сепийных стержнях, как первокурсница Академии. Травка уже знала, что все эти рисовальные материалы добывают прямо тут, в горе, из которой состоит город.

Графит, сепия, мел; охра, пигменты, сделанные из более твёрдых цветных пород - наверное, многие из жилых пещер появились на месте былых разработок.

- Ах, какая жалость, - что у меня нет местных денег! - воскликнула дама, - и ведь наверняка же нигде тут рубли на них не меняют. Придется бескорыстно повосхищаться. Да ладно, столько тысяч раз я видела такой сон, и всякий раз просыпалась без чудесных бумажек и карандашей в руках. Проснусь и в этот раз. Идём.

Травка не стала убеждать спутницу, что это не сон. Сама не была в этом уверена. С какого-то момента начинаешь понимать, что не это вообще важно. Просто шла через рынок по еле заметной ниточке питерского запаха в сторону крытой части рынка, где любая из дверей могла привести домой. Одна из них и привела.

- Привет, улица Репина, - сказала дама, пряча что-то в сумочку. - Такое короткое оказалось путешествие... Но полезное. Смотрите, там уже никого, - в створе улицы был виден садик, набережная, полная машин, и никаких беспорядков, - что же, вам нет преград ни в море, ни на суше?

- Сама не знаю, - призналась Травка, решив не спрашивать, что она там прячет. Возможно, не удержалась и стащила графитовый стерженёк, но спрашивать об этом неловко.

- Считайте, что нету, - посоветовала дама, - даже если есть, преград не будет, если вы будете так думать.

Травка только покивала. Поучительно, что уж. Мысль материальна, всё такое.

- Да не скучайте вы так, - рассмеялась художница, - не берите в голову. Их и правда нет, что бы мы ни думали. Спасибо за путешествие, - Травка моргнула, а рядом с ней на набережной уже никого не было.

Ну вот, - подумала Травка, - думаешь, что кого-то спасаешь, а она в любой момент могла вот так исчезнуть и всё. В этом городе вообще невозможно отличить столетнего человека от тысячелетнего духа. Повернулась и пошла назад, в сторону Университета, где возле ресторана остался мёрзнуть верный велосипед.

И, то ли потому, что нет преград, то ли ошиблась во времени и вернулась слишком поздно, но не было уже на набережной никаких космонавтов.

Мы с водой

Ехала с концерта, вот прямо с виолончелью, на велосипеде, машинально поехала через Стрелку, а Биржевой-то мост закрыт, пришлось ехать дальше, к Тучкову, и тут увидела, как Нева течет сизым драконом, такая милая, захотелось погладить; доехала до следующего спуска, уже перед самым мостом, оставила велосипед перед ступеньками, виолончель сняла пролётом ниже, спустилась к самой воде, долго полоскала руки, гладя дракона, подумала, что такому огромному дракону, как наша Нева, эти поглаживания, наверное, совсем незаметны, тут бы здоровенным кораблём по ней плюхнуть, да где тот корабль. Но казалось, что Неве всё-таки понравилось. Иначе почему бы так приятно было совать руки в ледяную воду, какой музыкант вообще будет это делать. Дальше ехать стало почему-то легче, словно дракон подталкивал в спину то ли хвостом, то ли взглядом. Хотя и Тучков мост невысок, это вам не Троицкий и не Бетанкур.

***

Вышел из клуба, но пошел не через арку сразу на Каменноостровский и к метро, а почему-то кругом, через дворы. В темноте граффити-дворика прислонился к тополю, они вообще странные, эти тополя, у всех уже суббота, а у них четверг, стоят зелёные, днём еще видно, что края некоторых листьев побурели, а сейчас, ночью, как будто вечное лето у них, как будто нет времени как такового. Прислонился к стволу, там еще такая ямка удобная обнаружилась, как раз для плеча, достал сигарету, закурил. На стене шестиэтажки, торчащей над гаражами, явственно маячила рогатая тень быка, непонятно было, что ее отбрасывает, в граффити-дворике света не было вовсе, в соседнем дворе, за стеной, был фонарь, но от него тень в любом случае должна была бы падать на другую стену, но, так или иначе, бык был, и над его головой разноцветными угловатыми буквами было написано: "РАЗУМ". "Ну хоть у кого-то в этом мире остался разум", - засмеялся и махнул рукой с дымящей сигаретой в сторону быка, так, что тонкая струйка дыма поползла в ту сторону. Бык

кивнул.

***

Ворвалась в лавку художника в последнюю секунду, парень за стойкой уже подсчитывал дневную выручку, и кассу уже снял, но почему-то не сказал "мы уже закрыты", обрадовалась, выпалила "а найдётся у вас белая чешская тушь и плоская кисточка?" - очень захотелось написать буквы белым по-черному. И белая тушь нашлась, и кисточка, более жесткая, чем ожидала, но так даже лучше. В лавку зашла другая женщина, буквально через минуту после, а вот ей уже сказали "мы закрыты", все поняла, касса же всё уже, отсчитала деньги совсем без сдачи, с мелочью, так проще. Парень обрадовался и пошел гасить свет, вышла вместе с женщиной из темнеющей лавки, вежливо пропуская вперёд, замешкалась в дверях, и показалось, что еще кто-то белый плеснул мимо глаз, обнимая сзади за плечи, плечи окутало теплом. Недоумённо оглянулась - да нет, ничего лишнего, никого рядом, на плечах только цветной гобелен слишком холодного для этого дня пальто, но почему-то и впрямь стало теплее, и так и было тепло до самой мастерской. Как будто пушистый зверь разлёгся на плечах, да так и остался.

***

Соседка по площадке появлялась дома редко, кажется, у неё была еще одна квартира, а эту она как бы унаследовала, как бы пристроившись ухаживать за одинокой бабушкой. Да еще и оказалась единственной некурящей на лестнице. Все остальные восемь квартир, когда запретили курить на лестницах, договорились между собой, мол, будем штрафы, если что, друг другу платить, всё было бы отлично, если бы не она. А она прибегала домой раз в неделю, причем всегда в два приёма: прибегает, выходит ненадолго, возвращается и снова исчезает на неделю, причем, за эти недолгие минуты обязательно успевает прочитать кому-нибудь лекцию о вреде курения и пообещать пожаловаться. Жаловаться она вообще большая любительница. Вот, скажем, вяза во дворе нет из-за неё. Пожаловалась. Причем, потом еще пыталась его наивно спасать. Как

это так, я просила его полечить, а его пилить пришли. Как будто не знает, как тут всё работает. Вот и сегодня не повезло: только устроился покурить на верхнем подоконнике, как она опять заявилась, и опять за своё. Скандалить не хотелось, глубоко вдохнул и глубоко выдохнул, чтобы не выходить из себя, и как будто вдохнул и выдохнул прячущиеся у чердака тени. Теперь, когда у чердака был новый замок, к теням наверху появилось какое-то свойское чувство, как будто лично охранил их от пришельцев с соседней лестницы, которые шлялись через открытый чердак и плохо себя вели. Сам врезал замок, отчаявшись выпросить у соседки ключ, кажется, она его потеряла; а ему самому домоуправ ключ давать отказалась, мол, художники асоциальны, дам более надёжному жильцу. Более надёжная жилица судорожно вздохнула, глядя куда-то за спину своему соседу, неловко отступила на шаг, вскрикнула, бросилась вниз и резко захлопнула свою дверь за собой. "Ну вот, совсем спятила", - пожал плечами. Ну, бывает. Спятила и спятила. Затушил окурок, аккуратно закрыл баночку, спустился на пол-пролёта в мастерскую. Десять минут назад пошел курить, потому что казалось, что со светом в мастерской что-то не так, как будто было не увидеть, что не так в картине, повернул к окну, оттуда падал дополнительный свет фонаря, но тоже не помогло, потому что казалось, что за спиной пустота, пропасть - и, надо же, перекур помог. Пустоты за спиной больше не было, и сразу стало видно, где на картине должно быть больше света, как будто притаившаяся за плечом тень наконец оттенила всё, как надо.

***

- Ну что, - сказал Олег, - нам опять всё запретили. Никакого Самайна не будет.

- А мы и так подпольный музей, - рассмеялась Ари, - так удачно. У нас - будет!

- И как мы это сделаем? - спросила Медвед.

- Да как обычно. Напишем всем нашим в чатик, а остальные по запаху подтянутся.

Тыквы закупить успели. Воздушные шарики Ари закупила еще за две недели до, когда внезапно всё хеллоуинское в фикс-прайсе заменилось на новогоднее, это пятнадцатого-то октября, и на полке только и осталось, что пакет оранжевых и черных шариков и здоровенная фальш-татуха с гробиками и розами. Аквагрим же всегда был в подпольном музее для некоторых особенно театрализованных лекций. В общем, всё было готово, и в назначенную ночь оказалось, что пришло как-то больше народу, чем ожидалось. Правда, большая часть была всё-таки своих, тех, что в чатике. Кто-то в ведьминском костюме, кто-то просто в реконском, а кто-то накинулся на аквагрим и принялся расписывать себя и других. Желающих резать тыквы оказалось больше, чем места на раскладном столе, так что вытащили из неосвоенной части подвала еще несколько поддонов, так хватило всем. Вырезанную мякоть складывали в десятилитровый бак, чтобы потом сварить страшного супа на всех. Незнакомая виолончелистка (с ней, впрочем, быстро познакомились, назвалась Славой, и впрямь оказалась довольно славной) достала виолончель и задала всему действу негромкий саунд-трек. На этот счет можно было не опасаться: над подвалом только закрытый уже несколько месяцев магазин, некому было возмущаться ночной музыке.

Где-то к часу ночи раздался условный стук, подтянулся еще кто-то свой. Ари поднялась к двери и откинула щеколду: ура, это Травка! Травка, несомненно, свой, только заходит не слишком часто: работает в кафе, да еще и шаманит. Удачно из нижнего мира вышла, и прямо в подпольный музей!

- Ого! - сказала Травка, оглядевшись.

- Что ого?

- Да у вас тут тесновато.

Тесновато не было. Все расселись по лавкам и поддонам, довольно просторно, всяк был занят чем-то своим, кто тыкву резал, кто лицо красил, кто шарики

надувал. Коллекции мирно лежали на своих стеллажах и никому не мешали. Свободно можно было пройти к стойке, где Олег как раз сварил кофейник кофе. Но Травка как-то замешкалась, и, найдя крючок для своей дублёнки, принялась пробираться к стойке, как будто кого-то обходя.

"Травка видит духов", вспомнила Ари, "надо будет спросить, кто здесь".

Травка, между тем, добралась до стойки, обрела свою чашку кофе и тыквочку, устроилась прямо под стойкой на сундучке с коллекцией для мимимитинга и принялась вырезать тыкве ехидную улыбку, оставляя вычёрпывание на потом, потому что все круглые стамески оказались заняты. Ари подсела к ней и задала таки свой вопрос.

- Ну, слушай, - замялась Травка, - тут бы показать бы, а не рассказывать. А я не знаю, как показывать. Укусить бы тебя, но, по-моему, шаманизм не вампиризм, так не передаётся. Ну, смотри: вон тот чел в тельняшке с собой домашнего духа привёл. Он большой, тёмный, сидит у него за спиной и щупальцами помахивает. Вон та девочка, которая парня под череп красит, у нее на плечах и за спиной такой белый пушистый дух, весь на плечах не помещается, разлёгся задницей на весь поддон, туда и не присядешь. Ёксель пришёл с минотавром. Ничего не могу поделать, это минотавр, я его даже знаю, он живёт в доме Бенуа, я уже Ёкселя от него как-то раз спасала, а вот смотри-ка, поладили. Не то чтобы стоило приводить его в гости, он пол-подвала занимает, но такая уж это ночь. Еще тут мелких всяких ребят полно. Под витриной с башмаками сидит местный дух. Кажется, это бывший дворник, но он с тех пор стал гораздо духовнее... духоватее... ну не знаю я, как объяснить, когда бывший алконавт отрастил длинный хвост и шесть лапок? Вот такие приблизительно у нас дела.

- Круто, - вздохнула Ари, - интересно быть шаманом, я бы тоже не отказалась.

- Ну, тут ведь как, - возразила Травка, -

сначала духи разбирают тебя на части и пересобирают по-новому, а потом ты не можешь не ответить на любой шаманский запрос. Так себе договор, если вляпался, то уже и не отвертишься. Ты вот лучше подпольный музей держи, а то нам скоро и деться будет больше некуда.

- Ну, это-то мы держим, - махнула рукой Ари.

Снаружи между тем загрохотал дождь. Ну вот, ждали снега, а тут дождь, ну и ничего, в подвале крыша не протечёт, продолжили праздник, некоторые уже и дорезали свои тыквы, а Ари поставила вариться суп. Но дождь всё не кончался, и, когда Травка уже приближалась к завершению своего фонарного джека, из-за двери плеснула вода и потекла по направлению к стойке.

- Ну вот, - вздохнула Ари, - первый раз протекло, а сколько мы уже тут сидим. Года полтора. Надо же, чтоб сегодня.

- М-да, - сказал Олег, - надо было сделать сток в полу. Могли же. А в голову не пришло.

Из-за двери продолжало лить, весь народ уже понял, что на полу долго не усидишь и перебрался повыше, сложив поддоны по три. Сундучок с коллекцией Травка предусмотрительно успела поставить на шкаф с посудой, а сама взобралась на стойку.

Музыка стихла. Виолончелистка Славка повесила виолончель за гриф на протянутую вдоль всех окон струну-карниз, положила смычок на стойку рядом с Травкой, подошла к растущей на полу луже и опустила в неё руку.

- Что это она делает? - шепнула Травке Ари.

Травка пожала плечами. С ее точки зрения, Слава нежно гладила лужу и что-то ей шептала. Грохот дождя снаружи сразу начал стихать, лужа перестала расти. Травке показалось, что у Славы под рукой блестит чешуя, но, может быть, показалось. Из-за двери больше не лило, Слава еще несколько раз ободряюще похлопала

лужу и пошла вытирать руки салфеткой.

- Что это ты сделала? - подозрительно спросил Олег.

- Дракона погладила, - пожала плечами Слава.

- Тоже, что ли, шаманишь, как наша Травка?

- Да в этом городе полно шаманов! - весело отозвалась Травка, - потому что духов полно. Должен же кто-то.

- Да нет, я не шаманю, - замотала головой виолончелистка, - я только недавно ехала по берегу с концерта и увидела, что Нева - дракон. Захотелось погладить, спустилась и погладила. А тут я подумала, что это всё одна и та же вода, вдруг прокатит.

- Так ведь прокатило же, - ободрила ее Травка, - ты молодец. Вообще-то, тут каждый со своим духом пришёл. Ёксель с минотавром еще ничего. Спасибо, друг, что ты всю Неву сюда не привела.

- Да ладно, вся она бы не пошла, - засмеялась Слава, - таких наводнений, чтобы досюда дотекло, не бывало с тех пор, как дамбу построили.

- Как знать. В такую ночь всякое бывает.

- Бывает всякое, но только не такое, чтобы я лужу на полу оставил, - ворчливо заявил Олег, приближаясь к луже с шваброй и ведром, - ты уж извини, Слава, но я твоего друга уберу.

- Ну ладно, - вздохнула Слава, - музыканта всяк норовит обидеть. Убирай, чего уж там. Мы с водой всё стерпим.

Закрой глаза, открой глаза

В Петербурге не так много залихватских топонимов, поменьше, чем в более древних городах. Но бывают случайные радости вроде "Второго луча", "Третьей улицы второй половины" или "улицы Нижняя Колония". Или вот Бармалеева и ее дивное соседство с Плуталовой, Подрезовой и улицей Подковырова тоже радует. Встречаются вполне самодеятельные таблички: улица Лунных Кошек, улица Медных Монеток, как правило, в малозаметных местах, читатели книжек развлекаются. Но вот площадь Большого Восклицательного знака - это было что-то новенькое.

Ёксель вбил ее в гуглокарту, и гуглокарта послушно проложила маршрут, очень знакомый маршрут - до площади Восстания. Решил, что продавец монитора, видимо, выпендрился, заполняя бланк на Авито, но выпендр оказался мемным, общепринятым, и гугл о нём уже, в отличие от Ёкселя, знал. А что, гугл обычно не тормозит, вот знает же он про улицу Лунных Кошек. Про улицу Медных Монеток, впрочем, еще нет, но это же вопрос времени, да и табличку ребята повесили совсем незаметно.

Прокатиться по городу на велосипеде было даже приятно. Дождь к двум часам закончился, стало свежо и прохладно, даже солнце выглянуло, и город выглядел очень даже ничего, мытый, летний. Поехал через Троицкий мост, чтобы не по Невскому. Карта, конечно, проложила ему маршрут через стрелку, да ну нафиг, зачем ехать по проложенному маршруту, если знаешь город хорошо. Да и один мост лучше двух мостов. Прокатился по мокрому Марсову полю, матерясь, полавировал по Садовой и с облегчением свернул у Апраксина двора. Дальше бешеного траффика не бывает. И впрямь: доехал спокойно до Лиговки, вдоль Галереи доехал до вокзала и площади с восклицательным знаком, то есть, с гранитной советской стелой, и только тут посмотрел на карту. Где эта улица, то есть, где этот дом.

А карта уверенно показывала на середину

проезжей части: здесь, мол, ваш дом номер пять.

Растерянно обошел всю площадь кругом. По всему выходило, что дома, стоящие на площади, пронумерованы не по ней. Еще раз открыл объявление: площадь Большого Восклицательного знака, пять, квартира тридцать три. Не звонил, переписывался, пообещал позвонить, когда подойдёт к дому, а дома-то и нет. Круглое кольцо площади, и прямо посреди проезжей части красная кнопка: здесь, мол, искомый адрес.

Растерянно прислонил велосипед к фонарному столбу, уселся на раму, принялся сворачивать самокрутку. По всему выходит, надо звонить продавцу, спрашивать, где он вообще и что это за площадь. Собрался с духом, набрал номер - но номер глухо молчал. Даже не "абонент вне сети" или "не обслуживается", вообще никакой реакции, словно не телефон набирал.

Ну ладно, значит, не судьба. Мониторов на Авито полно. Прямо тут, на площади, полистал еще несколько объявлений. Ну, вот даже близко к дому есть. Дороговато, правда, но что уж поделаешь. Это объявление и впрямь было какое-то слишком волшебное. Неудивительно, что адрес у него такой упоротый.

На всякий случай, написал еще раз продавцу. Мол, что-то заблудился, не подскажете ли. И, раз уж выбрался в центр, заехал в магазин индийских пряностей, в любимую комиссионку, даже заглянул в чайную лавку и прикупил пакетик красного чая сяо чжун. Всё это не стоило поездки в центр, было, если честно, обидно.

Телефон тренькнул: пришел ответ от продавца. "Стойте на площади, я выйду и вас встречу". Так. Ну ладно, вернулся к тому фонарю перед вокзалом, под которым уже курил, снова уселся на раму. Ну, мало ли. Отсюда стела не загораживала никаких букв, а вот если отойти подальше, забавно читать по-разному надпись "Город-герой". Кто-то легко коснулся его плеча сзади, а он-то надеялся, что сейчас кто-нибудь сконденсируется прямо там, где карта поставила

красную кнопку.

Обернулся. Перед ним стоял человек неопределенного возраста определённо хипповой субкультуры: непальская куртка, шаровары-афгани, запредельно дорогие ниндзя-сапоги с пальцем, сам о таких мечтал, но жаба как душила, так и душит. Они же вдвое дороже того монитора. Чувака украшала аккуратно подстриженная борода и совсем не подстриженные и даже, кажется, нечесанные волосы, тёмные с проседью. И яркие голубые глаза. Он настолько выбивался из картины Невского, что Ёксель так и застыл в полоборота с открытым ртом: что-то было не так, но вот что?

- Это же ты за монитором? - Ёксель растерянно кивнул, - а, ну отлично, пошли. Вел лучше здесь привяжи, вон стоянка.

Ёксель послушно откатил велосипед к стоянке, пристегнул, человек спокойно ждал, потом почему-то осмотрел Ёкселя с головы до ног, кивнул и сообщил:

- А теперь закрой глаза.

Ёксель хихикнул. Слышать такое от незнакомого мужика было смешно. Но послушно закрыл, сжав в карманах кошелёк и телефон.

- А теперь закрой глаза еще раз.

Глаза Ёкселя и так были довольно-таки закрыты, не до черноты, не зажмурены, но перед ними уже мелькали в оранжевой тьме синие точки. Как дальше-то закрывать? Это как у Пратчетта, только наоборот? Открой глаза и открой их еще раз? Игра была дурацкая, но Ёксель знал за собой эту особенность: любитель игр в нём всегда был сильнее голоса здравого смысла. Так что он зажмурился до упора, до черной черноты, и еще для верности прижал глазные яблоки пальцами, как делал в детстве, чтобы увидеть синие точки и тайную структуру вселенной.

- Вот молодец. А теперь надо шагнуть вперёд.

Ёксель шагнул не очень уверенно, ему казалось, что закрывал он глаза, стоя на самом поребрике у проезжей части, и правильно: земли впереди не оказалось, или она была даже глубже, чем он рассчитывал. Но его ухватили за локти большие руки и поставили на поверхность, и голос велел:

- Ну вот, можешь разжмуриваться.

Ёксель осторожно открыл глаза. Перед ним был дом, нормальный питерский доходный дом с козырьком над крыльцом, с держателем для флага в виде дракончика и с круглым эркером. Продавец монитора махнул рукой, мол, иди за мной, сообщил: этаж третий. Поднялись на третий этаж, вошли в квартиру, тоже совершенно обычную с виду, и ради чего было разводить все эти церемонии с закрыванием глаз?

- Вот монитор, проверим? - предложил хозяин, раскрыл ноутбук, подключил монитор к ноутбуку и защелкал мышью. Монитор послушно продемонстрировал свой логотип, но показывать изображение с ноутбука почему-то отказывался. Хозяин крякнул, ногой подкатил кресло, дубовое, на колёсиках, уселся и зарылся в настройки; Ёксель же, заскучав, выглянул в окно.

Из окна круглого эркера была видна площадь, смутно напоминавшая площадь Восстания, но какая-то другая. Во-первых, там были кусты. Во-вторых, кажется, стела висела в воздухе вверх ногами, как большой восклицательный знак. Ёксель поморгал, потом прищурился, пытаясь навестись на резкость. Не может быть. Резкость не наводилась, всё-таки, далековато, а привычки к очкам нет.

- Ну ты там, это, - посоветовал хозяин, - не отвлекайся. Лучше сюда смотри, а то вдруг что не так, а ты меня потом не найдёшь.

Ёксель посмотрел на монитор. Да всё в порядке с монитором, очень чёткая картинка, и здоровенный какой, раньше Ёксель за такими не работал, и, раз уж оно всё разом посыпалось, почему бы и не

проапгрейдить всё целиком.

- Да отличный монитор, - прочесав глазами картинку, резюмировал Ёксель, - беру.

- Надеюсь, у тебя наличные, - утвердительно сказал хозяин, Ёксель кивнул и выложил заблаговременно вынутую из банкомата красную бумажку. Хозяин вынул из-под стола огромную коробку и аккуратно уложил в нее монитор, отдельно ногу и подставку, сетевой и соединительный шнуры. Он так быстро и ловко укладывал это всё в мягкую плёнку, что Ёксель почему-то подумал, что этими пальцами было бы неплохо играть музыку.

- Ну вот, - хозяин вручил Ёкселю огромную коробку, - я уж не знаю, как ты это повезёшь на велосипеде, но, надеюсь, довезёшь. Художник, да? - Ёксель кивнул, - Я рад. Ну пошли, провожу тебя к черному ходу, там ты сам выйдешь.

Хозяин повёл Ёкселя через всю квартиру к задней двери, откинул крюк и выпустил его с монитором на лестницу. И захлопнул дверь. Ёксель пошел вниз, но на первой же площадке высунулся в окно, надеясь и здесь разглядеть что-то настолько же невозможное. Но из этого окна был виден только двор-колодец, совершенно обычный. Спустился вниз, толкнул тяжелую дверь, снабженную не современным доводчиком, а архаической пружиной, сто лет таких не видел. Нижний этаж был не освещён, дверь Ёксель нашел практически ощупью, так что в первый момент зажмурился от яркого света, а когда снова открыл глаза, оказалось, что вышел он на задворки Московского вокзала, и за спиной у него не тяжелая дубовая дверь, а маленькая выкрашенная шаровой краской металлическая дверца.

Сообразил, что забыл имя продавца. Оно же было, на рынке Авито имя указывается обязательно, но как корова языком слизала. Открыл Авито на телефоне, но это объявление было уже удалено.

Довезти монитор до дома удалось без потерь, хотя было и не очень удобно с этакой дурой на

багажнике. Дома монитор повёл себя отлично, ну, подключился тоже не с первого раза, но уж как только подключился, показал себя молодцом. Первым делом, благо и компьютер был новым, Ёксель поперекидывал с бэкапа на новый винчестер архив картин, там были и те, что на старом мониторе казались ему не очень, ну, это, видимо, под воздействием живых красок кажется, что круто, а отсканируешь - и сразу видна вся лажа. Но этот монитор показывал всё в каком-то очень добром свете. А неплохой, оказывается, художник вышел.

Система на новом компе была - виндовс десятка, тоже новая в ёкселевой жизни. Оказывается, всякий раз просыпаясь после режима сна, она показывает какую-нибудь красивую картинку. Руины в Кейсарии, окна в скалах Каппадокии, финские озёра, снятые с воздуха, водопады и вулканы. Быстро к этому привык и пристрастился. Но была и другая категория случайных картинок, которые Ёксель посчитал инициативой самого монитора. Стоило зависнуть, задуматься, потерять нить работы, когда долгие часы выглаживаешь контуры рисунка для будущей наклейки или печати на ткани, как монитор моргал и переключался на случайный городской пейзаж. Все фотографии очень походили на Питер, что-нибудь в центре, доходные дома, модерн, классицизм, сталинки - всё было знакомым и неузнаваемым. Как правило, после такой перезагрузки работа шла на ура: поразглядываешь эти дома и крыши, и дальше уже как-то легко с цветобалансом и контурами.

И всё равно втайне ждал того самого вида с зависшей в воздухе стелой. Жалел, что не спросил имя хозяина, не сфотографировал эту площадь на телефон. Знал, что после того, как увидит эту фотографию, получится вообще всё.

Раскрывающая коробка синнабонов

Эйсу поймала послание прямо с утра, с пролетающим желтым листом, едва ли не первым в этом году, и сразу пошла к Исиа, невозможно же не пойти, когда она зовёт, дело у нее к Эйсу бывает редко, и сразу ясно становится, что это дело, а не что-нибудь там. Большая комната Исиа, как часто бывает по утрам, была по колено залита водой, и сквозь воду проглядывали темные досочки паркета.

- Чувствую я, - сказала Исиа, - что по ту сторону что-то не очень. Вот прямо очень не очень. У тебя хорошо с переходами, ты же можешь отнести им раскрывающий пирог, нырнёшь туда, пирог отдашь, и всё, больше ничего не нужно. А то если у них там всё схлопнется, нам тоже не поздоровится.

- Прямо сейчас? - переспросила Эйсу, уже изготавливаясь нырнуть в тёмную воду.

- Нет-нет, - рассмеялась Исиа, - пирог-то еще не готов. И кофе мы еще не пили, хвост даю, ты не завтракала. Нырять лучше вечером, как раз успеем приготовить, и наобщаться, да и вечером слышнее, что там, прицеливаться легче. Давай, пойдём готовить.

Обе поднялись в кухню, впереди Исиа, большая, в черном вышитом домашнем платье, с пушистым расчесанным хвостом, следом Эйсу: рыжая, лохматая, завёрнутая в расписанный птицами шаосс, сонная. Начинать следовало с кофе, иначе и пирог не получится, и Исиа, смеясь, достала маленькие твёрдые зелёные зёрна, бросила их на жаровню и принялась помешивать специальной лопаткой из кофейного дерева шисс. Эйсу взобралась на подоконник, между белых прохладных колонн, и совершенно с ними слилась, словно сама была из белого камня, похоже, только до такой степени проснулась. За окном летели стаи птиц и рыб, над морем поднимались первые утренние цветы, зачем было звать ее так рано, когда проход будет только вечером; но проявляющийся запах жареных зёрен извлёк ее из камня, хруст зёрен в мельнице вернул

цвет и звук, а горечь и жар напитка в каменной чашке окончательно водворили её в себя. Ничего не поделаешь, придётся готовить и рассказывать Исиа, как дела, и вообще быть. Дела были не очень: ветер пах гуммиарабиком, звук на концерте получился глухой, о чем тут рассказывать. К счастью, Исиа больше болтала сама: про детей, про кота, про своего мужчину, простые, незамысловатые бытовые рассказы: как кот вырастил крылья, чтобы поймать жука, и застрял крылом в потолочной балке, сыну пришлось за ним лезть, ничего особенного. Муж растил балкон, но упустил, увлёкся, балкон зацвёл, вон, посмотри, отсюда видно, какой он теперь ветвистый, а кофейный столик поставить некуда. Эйсу не особенно внимательно слушала, Исиа вручила ей масло, лепестки и сахар, растирай, мол, а сама принялась чистить фрукты, не переставая болтать. Цветы за окном отцвели, и ветер занёс в окно парочку созревших плодов, Исиа подхватила их одной рукой, другой продолжая придерживать разбегающиеся фрукты, воскликнула: "Вот спасибо, кстати", и выжала оба плодика в миску. Эйсу устроилась поудобнее спиной к колонне, монотонная работа - то, что нужно, как Исиа всегда правильно выбирает, кого чем озадачить, ну, неудивительно, семья у нее большая, и все разные, поневоле научишься. Надо пользоваться моментом, пока вся эта семья не вернулась, вернётся - и начнётся. Это сейчас у нас считается тихо-спокойно, ну, журчит речь Исиа, ну, прибой мерно стучит в скалу под домом. Это, считай, тишина. В дело пошла мука, вернее, прилетела, Исиа словила ее белым крылом, и рукой уже притрамбовала в миске, протянула Эйсу: вмешивай, мол, пора. Сироп для начинки, впрочем, ни своими ногами не пришел, ни по воздуху не прилетел, а был просто налит из глиняной бутылки, и правильно, потому что воздух по-прежнему пах гуммиарабиком. Теперь настало время песка, это надо было вдвоём. Исиа и Эйсу с двух сторон подхватили тяжеленный мешок, вывернули его в жаровню и разровняли. Как раз, пока Исиа будет лепить пирог, песок нагреется. Тут уже Эйсу оставалось только смотреть, как ловкие гладкие руки мнут тесто и раскатывают его, надрезают и плетут, прячут сияющую фруктовую начинку под причудливой плетёнкой верхней корки. Тут, видя, что гостья ничем не занята,

откуда-то сверху спланировал кот, потребовал его чесать. Эйсу была не против: это тоже довольно монотонная и успокоительная работа, да еще и неплохо оплачиваемая: коты сразу расплачиваются счастьем. Правда, счастье вышло не очень долгим: начали возвращаться домашние, и понеслось.

Этого Эйсу всегда немножко побаивалась: все эти хвостатые и крылатые дети, которых Эйсу никак не могла выучить по именам, потому что слишком мельтешат; текучий тёмный и тёплый муж, этого выучила: Аошшо, и его пёс-змей, охотно берущий Эйсу под охрану. Дальше уже сложно было уследить, что происходит, потому что происходило всё, а думать Эйсу могла только о своей задаче: дождаться момента, нырнуть, отдать. Кому отдать? Исиа была уверена, что на месте Эйсу сразу разберётся. Эйсу попыталась было спрятаться где-то возле неполучившегося балкона, с точки зрения Эйсу, он вполне получился, а что столик не влезает, ерунда, потому что туда отлично влезет Эйсу, такое милое местечко меж ветвей вышло, но нет, ее выгнал оттуда Аошшо, потому что всё-таки он обещал жене место для столика, прости, дорогая, но тут надо еще поработать. На кухне между тем Исиа как раз засунула пирог в сковороду с крышкой и закопала в горячий песок. Помогать дальше было нечем, и за Эйсу взялись дети, и скоро она, сама не заметив, как вообще на это согласилась, кидала в них цветные шарики, одновременно пытаясь отвечать на их расспросы, как вообще нырять. Эйсу хорошо знала, как нырять - дома, где темно и тихо, и можно не задумываться, как и что делаешь. Нырять вот отсюда, где всё несётся кувырком, было непонятно, как. А ведь придётся, солнце уже клонилось к закату, и косяки рыб потянулись к горизонту, надеясь его догнать. Пирог был уже извлечён из песка и почти остыл, его сложили в коробку, вручили Эйсу, и стало как-то подозрительно тихо.

С пирогом в руках Эйсу вошла в пахнущую книжками комнату Исиа, и воды там уже не было ни капли, и тёмные плашки паркета блестели матово. Все эти стояли вокруг и ждали, и Эйсу было очень не по себе. Легче лёгкого было нырнуть в эту утреннюю воду,

а поди нырни в этот вечерний паркет, когда все смотрят, и дети, и звери, и старшие. Эйсу, прижимая к себе коробку с пирогом, присела на сундучок с мелочами, внимательно глядя на тёмный сухой пол. И смотрела, пока комната вокруг не потекла, пока мелкие досочки не начали казаться рябью на поверхности очень глубокой воды, пока заинтересованные взгляды Исиа и ее семьи не перестали дёргать, и тогда глубоко вздохнула и упала в эту тёмную воду и потекла в ней глубже и глубже, а потом вверх, в сторону невнятного пятна другого света.

***

Проснулся, ощущая какое-то неудобство в спине, словно там должен был быть хвост, а не было его. Что за хвост, глупости какие. Неудобно повернулся во сне, что ли. Встал, вышел на кухню, автоматически включил кофеварку, свет погас. Так уже бывало, тут было понятно, что делать: включить пробку на лестнице, почему-то вышибало её, а не домашний автомат. Нашарил под столом тапочки, вышел, щелкнул автоматом. По лестнице к его двери поднимались мокрые следы, впрочем, перед дверью они исчезали и не шли дальше ни вниз, ни вверх, да и в дверь никто не звонил. Пожал плечами. Со второго раза кофеварка включилась, как надо, послушно зажужжала и закапала в чашку черным живительным эликсиром. На столе обнаружилась коробка с чем-то съестным, открыл: там были слегка подсохшие синнабоны, четыре штуки, смертельно дорогие и вкусные только в совсем свежем виде. Сам точно этого не покупал, может, Лиза забегала, и, не застав его, ушла. Потянулся было к телефону позвонить, но махнул рукой: Лиза еще большая сова, чем он сам, к чему ее зря дёргать, раз уж сам проснулся в такое нелепое время, лучше пойти пока поработать, а синнабоны, ну, фиг с ними, не протухнут. Сейчас бы лучше кусочек сыра. И, кстати, сыр есть, косичка, самое то под работу.

Раскрыл проект, начал извлекать по одному все эти микрофайлики с разными заходами на музыкантов, с четырёх камер, все по несколько секунд. Тут главное, когда звучит соло, показывать того, кто его играет,

тяжелая оказалась работа, несколько часов прошло, а смонтировал всего минуту. В кусочках с дроном пришлось прежде всего отрезать сам звук дрона, но при этом запоминать, на какой музыкальной фразе это было. Кропотливая, монотонная работа, не то чтобы успокоительная, но предсказуемая, без неожиданностей. Провозился полдня, вышел на кухню сварить себе еще кофе, и снова увидел эту коробку с синнабонами. Да ну его, это сладкое, вообще. Лучшее применение сладкому - сходить с ним в гости и вкормить в кого-нибудь еще, но гости - это требует слишком много внимания, рассказывать о себе, а что тут расскажешь, клип еще монтировать и монтировать, и это не то чтобы увлекательное приключение. Слушать же чаще всего просто неинтересно. Лучше сходить к художникам и выпить у них чаю, в их открытой мастерской, если не хочешь разговаривать, с тобой разговаривать и не будут. И идти недалеко, только двор перейти.

Художники снимали бывшую дворницкую во дворе напротив, заходил к ним иногда в перерывах между монтажом. Они мастерили маски и кукол, лепили из глины и отливали бумагу, и дела у них шли еле-еле. Чай за донейшен был придуман, чтобы хоть как-то платить аренду, зато любым вечером к ним можно было ненапряжно и успокоительно зайти. Оставить монетку, посмотреть на что-то, кроме кадров клипа, поговорить о чем-нибудь незначащем. Чаще разговоры в мастерской были о новых маркерах или полимерке, о том, где купить такой блокнот или как применить четыреста метров крафтовой бумаги, и гораздо реже о модном насморке, а о политике вообще никогда. Ребята как будто не замечали, что за фигня вообще происходит в мире, потому что в их мире сверлилась бумага в ведре с водой, светилась гирлянда, намотанная на ивовую рыбу, ковались тонкие медные проволочки или наклеивались осколки чашек на кривую верхушку стены старой дворницкой, и это было гораздо интереснее. Гость мог сам налить себе чаю, разложить табуретку и молча смотреть, как кто-нибудь клеит чашку золотым акриловым контуром по керамике.

Вот так и поступил. Прихватил с собой непонятные синнабоны, спустился во двор, зашел в

дворницкую и вручил их сегодняшнему дежурному, длинному парню в круглых очках.

- Вот, принес вам пожертвование, - сообщил, открывая коробку, - подойдёт?

- Конечно, - вежливо отозвался парень, - спасибо! Я нарежу для всех, - и, ловко разделив синнаббоны на четвертинки, разложил их по треугольной тарелке. - Чаю, кофе?

- Чаю, немножко. Лучше с собой, - добавил, оглянувшись. В мастерской было довольно много народу и мало места, почти всё небольшое пространство занимал огромный холст, на котором как раз сушились свежеотлитые листы самодельной бумаги. Присесть тут было негде, ну и ладно. Получил бумажный стаканчик травяного чая, положил на поднос денежку и пошел куда-то, не особенно задумываясь, куда и зачем. Просто засиделся за работой, надо было подвигаться, хоть как-то, хотя бы по улицам походить, а то тут не только хвост почувствуешь. Шел, прихлёбывая чай, пока не оказался в густо заросшем кустами сквере, на задворках стеклянного павильона с цветами. Задняя стенка магазина состояла из сплошных синих зеркал, здесь, наверное, было бы неплохо снимать селфи, фигура человека, стоящего напротив зеркала, как раз хорошо освещалась и отражалась в зеркале, и задник хороший, расписная стена и море зелёной листвы. Оглядел себя. Вроде ничего особенного, нормально оделся: джинсы, футболка с рыжей анимешной фуррятиной, куртка. Не брился вот ни сегодня, ни вчера, это вот прямо заметно. Но как будто что-то не так. Это точно я? Стою тут, как дурак, и пялюсь на себя в уличное зеркало. В сквер въехала девушка на складном велосипеде, сделал шаг вперёд, чтобы уступить ей дорогу, и показалось, будто синяя поверхность зеркала колыхнулась, как тёмная вода. Сделал еще шаг, протянул руку к зеркалу, и рука вошла в зеркало, как в воду. Вдохнул и, не задумываясь, шагнул туда весь, как сквозь водопад, ожидая чего-то мокрого и холодного, и не ожидая, потому что вода перехода не мокрая и не холодная. И потёк с ней в сторону невнятного пятна другого света.

***

- Ты куда меня отправила! - закричала Эйсу, выныривая, - Я там была дядькой! Я монтировала видео, что бы это ни значило!

- А что это значило? - заинтересованно переспросила Исиа, заворачивая подругу в домашний пушистый плед.

- Понятия не имею! Это чтобы смотреть и слушать. Я же теперь эту музыку буду кусками вспоминать! Хотя ладно, я же должна была что-то кому-то отдать, я что-то кому-то отдала, ну и всё, никаких больше нырков, твой муж уже доделал балкон? Можно я там посижу?

- Можно-можно, умница ты моя, я кофе принесу. Все ты правильно отдала, ну, вот почувствуй.

Эйсу прислушалась к комнате и поняла, что действительно отдала всё правильно. По крайней мере, воздух больше не пах гуммиарабиком, а только тёплыми книжками и тёмными досочками паркета.

Эйсу выбралась на балкон, обхватила кружку с кофе двумя руками, обвила себя хвостом и принялась заново переживать свое путешествие, шаг за шагом. Всё было хорошо, только песня целиком из кусочков не собиралась, надо было прослушать весь трек целиком, а не фрагменты мышью таскать. Ну ладно, может быть, не последний раз.

***

- А вам не кажется, что дела у нас пошли как-то хорошо после начала августа? Вот, с девятого сплошь удачные дни. В плюс вышли.

- Может нам опять дали какую-то антирекламу а мы не в курсе?

- И она антисработала?

- Ну, она сработала как обычная антиреклама, все пришли посмотреть.

- хмммммм, это ты про тот день, когда на общую группу внезапно подписалось полторы сотни новых лиц? Ну, может быть, конечно. Мы же тогда так и не поняли, с чем это связано.

Дела в мастерской действительно как-то резко пошли на лад. Никому не могло прийти в голову, что это как-то связано с коробкой подсохших синнабонов. Они больше не были пирогом, но раскрывающих свойств, ради которых всё затевалось, это не испортило.

Старый приёмник

С точки зрения Подпольного Музея, город переполнен ненужными вещами. Иначе почему бы их тащили в Музей каждый день. Даже если закрыться на сутки и уехать, например, в Выборг, вернувшись, обнаружишь под дверью пакет с жестяным чайником и десятком ложек, или коробку с плюшевыми игрушками, или связку синих бутылок, или огромный винтажный таймер, совершенно живой, в нужный момент ударяющий огромным рычагом в бронзовый колокольчик. Пришлось отремонтировать еще кусок подвала, по крайней мере, положить там на пол лист фанеры и построить простейшие стеллажи, чтобы хранить всё это добро до момента сортировки. Чтобы построить внятную экспозицию, нужно ведь набрать хотя бы несколько предметов на одну тему. Если честно, новая подсобка не входила в то, за что Ари и Олег, согласно плану, платили. Но эти четыре квадратных метра всё равно никому не были нужны, потому что все нужные вентили располагались в следующем отсеке.

День начался со Сканера. Олег не мог не прозвать так существо, раз за разом пытающееся впарить Музею планшетный сканер, без шнура питания и каких бы то ни было других проводов. Сначала он предложил его за чашку кофе Медведу. Потом написал в сообщения на сайте Музея, огорошив всех предположением, что, ну, Музею же вообще не нужны деньги, вещи люди приносят и так, так что вполне могли бы за сканер поить человека чаем и кофе. Потом еще раз явился со своим сканером в смену Ари, а тут наконец нарвался на Олега и был окончательно развёрнут. Сканер никак не вмещался в концепцию музея. В нём не было никакой индивидуальности, он ничего не говорил о современной культуре и вообще не подавал признаков жизни. А владелец сканера слишком многого хотел.

Зато следующий посетитель порадовал. Принёс мешок разнообразной ерунды, да так её и представил: мол, я принёс ерунды, вдруг пригодится, и вот вам двести рублей, чтобы вы согласились её взять. И еще

сто рублей за чашку чая.

Потом до самого вечера не было никого. Олег даже как-то порадовался. Перемыл все стограммовые бутылочки, принесённые на прошлой неделе, нарезал длинных кожаных ремешков и принялся оплетать бутылки. Простой кожаный ремешок превращает простой пустой пузырёк в довольно стильную флягу. В подвале было тихо, только в трубах журчала вода и снаружи стучали капли по козырьку. Поэтому, когда снаружи раздался грохот, Олег непроизвольно подпрыгнул, уронил бутылку и пошел к двери. После того, как на Обводном канале рухнула стена заброшенного завода, было бы глупо оставить грохот без внимания. Но оказалось - ничего особенного не рухнуло, кроме куска льда,и даже не на козырёк, а на заборчик рядом. Заборчик покосился, и туда ему и дорога, на самом деле. Никто не знал, зачем он там поставлен, без него можно было бы пройти на улицу, не огибая дом.

А на стенке, подпирающей козырёк, обнаружился древний желтый радиоприёмник. Вот это уже было интересно. Кажется, еще довоенный. Такие даже не выключались полностью, единственная ручка, полностью выкрученная влево, оставляла приёмник в состоянии лёгкого шелеста: слов уже не разобрать, но слышно - жив. Про этот не было понятно, насколько он живой. Из корпуса, напоминающего винтажный комодик или корпус каминных часов, тянулся шнур в верёвочной оплётке, но без вилки. Вот упыри, принесли такую древнюю вещь, и не заглянули даже! Сиди тут один, скучай.

Вообще-то, подвалу радиоточка не положена. Но часть подвала, та, где поставили барную стойку и синюю кабинку сортира, была когда-то жилищем дворника. Дворник тоже человек, ему же нужно экстренное оповещение, если что. Олег заинтересовался не на шутку, принялся шарить по стенам в поисках радиорозетки, и тут как раз пришла Ари.

- Что ищешь?

- Радиорозетку. Такая должна быть древнего вида, небольшая, или очень плоская, или небольшого

диаметра, в общем, как обычная, но не как обычная, - объяснил Олег, выглядывая из-за туалетной кабинки.

- А я знаю! - обрадовалась Ари, - ни за что не угадаешь. Иди к раковине. Ага. А теперь вниз, за её ногу. Видишь?

- Я всегда знал, что люди странные, - вздохнул Олег, разглядывая розетку, со всех сторон обложенную кафелем. Здесь, за коленом раковины, кафель был белый. Когда подвал только сняли, там он и обрывался, так что вокруг раковины нарастили кафель других цветов, всё более цветной по мере удаления от фановой трубы. Заканчивалось кафельное поле уже хаотической мозаикой из битых китайских чашек с драконами и фениксами, - и как я её тогда не заметил? И почему она там?

- Ну, где-то она должна быть. Это ты для этого радио ищешь? А вилка?

- Вилка должна быть в чемодане от того дедушки, - предположил Олег, - сейчас посмотрю.

И впрямь, радиовилка, узкая, эбонитовая, нашлась среди окаменевших прокладок, латунных болтов и просроченных конденсаторов.

Втыкали вилку в розетку с некоторым душевным трепетом. И не зря.

- *...хрр... предлагается вашему вниманию новое издание "Слова о полку Игореве", с комментариями автора*, - сказал радиоприёмник приятным женским голосом.

Ари рефлекторно вывернула ручку влево, и приёмник зашелестел, как Олег от него и ждал.

- Что-то я не уверена, что нам стоит его слушать, - призналась Ари, - что он нам еще предложит?

- Но, кстати, библиотеку-то я бы пополнил, -

усмехнулся Олег, - раритетное же было бы издание. Если бы существовало.

- Ой, чего только не существует, - вздохнула Ари, - у мамы есть "Велесова книга" и книжка профессора Чудинова, знаешь его? Это который русские письмена видит на лестничных ступенях, на поверхности Марса, в солнечных пятнах. А книжка издана, между прочим, Академией наук.

- Вот такая наука, - сказал Олег, - вот такой здравый смысл.

- Нет, - оживилась Ари, - на самом деле, это весело! Это как цена на марки с ошибками всегда выше, чем на нормальные. Так что пускай издают любую туфту, всё коллекционерам радость. Между прочим, и мы могли бы такое собирать. И экспонировать.

- Ну ок, - сказал Олег, - тогда давай еще послушаем, может, нам и адрес скажут, где такое дают.

- *...пройдёт в онлайн-формате*, - сообщило радио и замолчало.

- И все? - расстроилась Ари, - что у них там пройдёт в онлайн-формате?

- Третья мировая война, - пожал плечами Олег, - из-за эпидемии. Например.

- А, ну это пускай, - отмахнулась Ари. - А что, нам больше ничего не скажут?

- Похоже, радио всё, - вздохнул Олег, - ну, что ж поделаешь, было бы странно ожидать от него большего. Ему знаешь сколько лет? Восемьдесят шесть. Пускай стоит на раковине, как арт-объект.

- Эх, а я-то уже понадеялась на раритетные книжки или новости с ошибками. Ну ладно, что там у тебя? Бутылочки? О, я тоже хочу, - Ари выбрала ремень, угнездилась на палетном диване и принялась наматывать ремень на бутылку. В этот момент кто-то

распахнул дверь с ноги, Ари вскинула голову, ожидая увидеть кого-то из своих, но в подвал боком влезала смутно знакомая высокая девушка, потом годовалый ребёнок, потом девушка пониже.

- Малой бухать захотел! - объявила первая девушка, спускаясь по ступенькам. Ари и Олег уставились на них, пытаясь понять, кто на самом деле в этой компании под мухой. - А что вы так смотрите? Здесь же вроде любят странные шутки.

- А тут прикольно, - сказала вторая девушка.

- Эээ, - Олег не нашёл других слов. Кажется, он тоже пытался понять, следует ли выгнать посетительниц за нетрезвость, или всё-таки объяснить им что-то про музей.

- А что вы так оба замолчали? - возмутилась первая девушка, - мы вам не подходим? У вас тут закрытый клуб? Ну тогда мы пошли.

- До свидания! - солнечно улыбнулась вторая, - спасибо за гостеприимство.

-<i>...*перебои в поставках антидепрессантов временны!* - внезапно заверило радио. - *Уже с 21 февраля в аптеках города появится новая партия золофта и прозака*

Но гости этого уже не услышали, захлопывая за собой дверь.

- Что это было?! - взвыла Ари, - и при чем тут золофт?

- Ну, за радио я не отвечаю - буркнул Олег, - но девочкам явно пошла бы на пользу хоть какая-нибудь терапия.

- Мне показалось или они слегка подшофэ? И выгуливают младенца. Хорошо ли это?

- А я-то что могу тут сделать? Я вообще Олег.

Про меня пирожки сочиняют. Надеюсь, сегодня будет что-то еще нормальное. А то за весь день только триста рублей дохода, а я на заклёпки потратил четыреста. Обидно как-то.

Услышав про четыреста, Ари удивилась, осмотрела заклёпки, обнаружила, что у них с другой стороны тоже шапочка, и впрямь красивое, надо как-то обыграть, и по уши погрузилась в конструирование фляги. Поэтому даже не заметила, как в Музее материализовалась очередная посетительница, и только тогда подняла голову, когда радио снова внезапно заговорило и сообщило:

- *...самое подходящее время для высевания семян северной тыквы на рассаду. В связи с извержением вулкана Тонга даже не пытайтесь выращивать на Карельском перешейке не районированную тыкву в открытом грунте!* - и снова замолчало.

- Любопытно, - засмеялась посетительница, оказавшаяся пожилой дамой в кокетливой черной шляпке, - я как раз закупила семян. Хорошо, оранжевую не сеем, только серую. Интересная у вас экспозиция, держите на развитие, - и, оставив на стойке пятьсот рублей, упорхнула.

- Все бы такими были, - вздохнул Олег, - пришла, дала денег, ушла. А ты заметила? Чёртово радио что-то говорит каждый раз, когда кто-то заходит.

- Я ничему не удивляюсь, - протянула Ари медитативно, - я в Петербурге вообще ничему не удивляюсь, а в Подпольном Музее особенно.

- Ладно, еще бы три-четыре случая для подтверждения.

Сами не заметили, как мелкие бутылки кончились, а люди всё не приходили. И вдруг их насыпалась целая толпа: пара постоянников и сразу шесть девочек, игравших по субботам в ДНД. В этот раз они почему-то пришли в пятницу.

- *...согласно последним исследованиям гранадийских учёных, ягоды годжи, они же дереза, показывают гораздо лучшие показатели, чем елакулу, в противодействии вавилонскому проклятию. Промежуток понимания, как сообщает наш корреспондент Кукуп Адет, составляет не десять минут, как в случае елакулу, а от часа до полутора по времяизмерению Гранады...*

- Что?! - Ари нервно оглянулась на радио, а, когда повернулась обратно к девочкам, одна из них записывала что-то в блокнотик, так и застыв в одном ботинке с поднятой ногой.

- Так, я не поняла, это считается за одного? - спросила она Олега шепотом, - так-то их восемь человек, а телега была всего одна.

- Зато длинная. Подождём еще.

Тут уже надо было заваривать чай и ставить кофейник, восемь человек - это серьёзно. Правда, радио так не считало. Видимо, ему нужна была только девочка с блокнотом, и этого хватило.

До закрытия пришел всего один человек: Медвед. Она несла с собой средних размеров плюшевую обезьяну, по обводам похожую на орангутана, но совершенно белую.

- Вот, взяла его на раздаче тут на Шамшева, - не медведь, конечно. Но миляга. Не могла его там оставить.

- *...единственный в мире оранутанг-альбинос обнаружен живым и здоровым в дождевых лесах острова Борнео...* - сообщило радио и снова замолчало, видимо, посчитав, что этой информации Медведу будет достаточно.

- Ой, - удивилась она, - что, правда единственный? - она выхватила телефон, присела, обнимая зверя, прямо на лестнице и мигом нагуглила, что да, единственный, вернее, единственная, - ее

зовут Альба, ее спасли-выходили, выпустили в лес и вот в двадцатом году встретили в этом лесу снова. Так её и будем звать. Что-то протухшие новости ваше радио сообщает. Откуда оно вообще взялось?

- Подбросили, - сообщила Ари, - это еще что. Оно нам "Слово о полку Игореве" с комментариями автора обещало. Но оно каждому человеку говорит только одну вещь. И то не каждому. Вот, ждём, что еще скажет. Надо, чтобы кто-нибудь еще пришёл.

Но до закрытия так никто и не появился. Девочки доиграли и разошлись, постоянники оставили каждый свой донат и тоже вышли, а трое музейных работников немедленно закрылись на оба замка и закурили.

- В общем, я считаю, что весь эксперимент псу под хвост, - пожаловался Олег, - ну что такое, всего два сообщения. Могло бы расщедриться на всех восьмерых. А у нас, между тем, бутылочки закончились. Предлагаю выпить чаю, да и расходиться.

- А что за чай?

- Би Ло Чунь, с виду похож на малиновые листья, а как на вкус - не знаю. Предлагаю попробовать.

Китайский чай выглядел так высокомерно, что всем показалось - требует церемонии. Поэтому достали и чабань, и чайничек из исинской глины, и три пиалки, в общем, чаепитие как-то растянулось. В полночь опомнились - вроде хотели разойтись пораньше, но что-то опять пошло не так. Музей, если погасить всю подсветку витрин, и оставить только свет над баром, выглядел по-другому. Каждый раз хотели пойти домой пораньше, но странным образом как-то застревали в этом пятне света на кривой полированной дубовой доске стойки.

- ...в связи с кризисом в срединном мире проницаемость границы повышена, - сообщил мягкий женский голос из желтого приёмника, - не пугайтесь, и постарайтесь использовать возможности. Не кормите перебежчиков, они к нам не навсегда.

Имейте в виду, что сейчас вызвать специалиста намного проще, поэтому смело обращайтесь за помощью в случае нестандартных ситуаций или ошибок в расчетах. В случае нападения с нижних ярусов применяйте люй, до июня отправить хищников в срединный мир будет разумным решением. Дата ежегодного затопления в этом году сдвигается на середину мая...

Все уставились на приёмник.

- Мне кажется, или это не нам сообщение? - нервно выдавила Ари.

- Хотела бы я знать, кто это сейчас вошел, - огляделась Медвед.

- Хищников, говорите, отправить? Ну уж нет. Мы тоже, если что, к специалисту можем обратиться. Где там твоя Травка? - проворчал Олег.

- Да, может, и ничего страшного, - решила Ари, - у нас в срединном мире что говорят? Пугайтесь, мол, эпидемия-потепление-война. Как не испугались, да вы плоскоземельщик?! А у них там - не пугайтесь, используйте возможности. Это как-то поприятнее звучит. Что-то мне подсказывает, что даже их хищники не такие уж страшные.

Олег оглядел двоих своих напарниц, подошел к радио и решительно выкрутил ручку влево.

- Хорошенького понемножку. А то мы вообще до утра отсюда не уйдём. Всё, моем посуду, моем пол, расходимся.

Ари выходила последней, замешкалась в дверях, скользнула к раковине и снова выкрутила ручку радио вправо, пока Олег не видит. Кто знает, кто посещает музей по ночам, пока музейщики сидят по домам - может быть, им как раз очень важно получить своё сообщение.

Нина Хеймец

Гай цалма́вет

– Не было никакой тени, – говорил мой дедушка, и бабушка, вздохнув, складывала ему с собой рубашки в хозяйственную сумку на молнии. Его отъезд застал всех врасплох, и тут-то выяснилось, что в доме уже давным-давно никто никуда не уезжал – настолько, что не нашлось даже чемодана, ни сумки приличной. Из хозяйственной, перед тем, как упаковать в нее любимый дедушкин галстук с ромбами и куропатками, вареное яйцо в фольге, аспирин, градусник и шапку лыжника, бабушка вытряхнула луковую шелуху, автобусные билеты, календарный листок с правилами поведения при пожаре за второе октября прошлого года и ссохшийся тяжелый апельсин. Шелуху и бумажки бабушка выбросила в мусор, а апельсин – машинально – пыталась положить то на столик в прихожей, вместе с ключами и счетом за электричество, то на подоконник, то на кровать, где ему уж точно было не место, ему нигде было не место, и тогда бабушка сделала то, что сразу же не смогла себе объяснить – совершенно ей было не свойственно такое поведение – она распахнула балконную дверь, сорвав уже приклеенную на зиму теплоизоляцию, размахнулась и швырнула апельсин на улицу. Не успев захлопнуть дверь, бабушка спохватилась, вернулась на балкон. Были первые заморозки, и бабушка вдруг подумала, насколько более заметным делает человека зима – объемным, слышным, и даже дыхание становится видимым и задерживается в пространстве, как упирающаяся кошка. Перегнувшись через перила, она всматривалась в заросли жимолости далеко под ногами и пыталась восстановить траекторию полета апельсина – куда он мог приземлиться, не оказалось ли там живого существа – теплокровного, и пусть даже не тепло-просто кровного. Взгляд проникал сквозь голые ветки, упирался в землю, вернее, угадывал ее – на таком-то расстоянии. Вроде, никого.

– Нет и не бывает такой долины, – раздражался дедушка, – это доверчивость комментаторов, своеволие переводчиков; не «долиной смертной тени», а «темным

ущельем»[1]!

Они ехали в трамвае на вокзал. Сквозь запотевшие окна ничего было не разглядеть, в салон прорывались лишь красные отсветы светофоров и тормозных огней, блики фар и вспышки прожекторов, и лишь когда кто-то быстрыми взмахами рукава – как встреча украдкой – протирал на стекле прозрачную полоску, в ней появлялись и исчезали фрагменты фасадов, витрины перекрестков, голые кроны. На мгновенье бабушке показалось, что в прорехе мелькнуло синее – до звонкости – небо, а на нем – белое, словно вырезанное из бумаги, облако. Она попыталась вглядеться получше, но прозрачное уже снова затянулось холодной влагой, в соседних прорехах теперь мелькали освещенные окна автобусов, троллейбусов, грузовиков и других транспортных средств.

– Это рекламный трюк, – смеялся дедушка, – привлечение мало того, что несуществующим, так еще и возникшим по ошибке.

У дедушкиного вагона уже толпились попутчики. Бабушке запомнились старушка в потертой каракулевой шубе и в такой же шляпке с вуалью; осунувшийся юноша в бейсболке не по сезону – он всё время оглядывался, оборачивался, будто ждал кого-то; женщина с дворняжкой-поводырем. Все они собрались вокруг молодого человека в надвинутой на брови спортивной шапке, отмечались в списке. Рядом с ним на шесте-подставке покачивался плакат: «Долина смертной тени. Увидьте своими глазами» – крупными буквами и, на заднем плане, – коллаж: дорога уводит к пологим холмам, а вокруг – улыбающиеся люди с лопатами и фонарями, камни, кости, капители, шлемы и копья, сварщики в масках, колесницы в пламени и без пламени,

---

[1] Гай цалма́вет (иврит) – словосочетание из 23-го (в Септуагинте и Вульгате – 22-го) псалма Давида – принято переводить как «долина смертной тени» (см. синодальный перевод Ветхого завета, а также, например, «the valley of the shadow of death» в King James Version). Этой интерпретации придерживался и ряд выдающихся еврейских толкователей Библии, поскольку цалма́вет «раскладывается» на два слова: цель (тень) и ма́вет (смерть). Сегодня эту особенность принято считать, скорее, совпадением. Слово цалмавет, по всей вероятности, происходит от ивритского цалму́т, является родственным аккадскому ṣalāmu, угаритскому ẓlmt, арабскому ẓalām и означает «тьма, темнота». Гай дословно означает «ущелье».

тьма в подземельях, мерцанье в зарослях, черепа в пробитых гробницах, падающий пропеллерами вниз самолет, рельсы и поезд. Дедушка вскочил в вагон. Поезд почти сразу тронулся, дедушка устроился в купе поудобнее, нашел в сумке вареное яйцо, но решил сразу не съедать, оставить на потом; за окнами мелькали городские окраины, но и это стекло затуманилось, каждое постукивание колес стало маленьким металлическим шаром, и в каждом отражались сам дедушка, бабушка в окне, и она же – на пути от трамвайной остановки к их дому, выпал снег, и солнце в зените.

***

За несколько метров до их подъезда бабушка останавливается, раздвигает руками ветки жимолости и оглядывает землю. Вчерашний апельсин должен был упасть где-то здесь. Когда они с дедушкой выходили из дома, она шла и всматривалась. Ей даже показалось, что она заметила оранжевое пятно. По счастью, худшие опасения не подтвердились – уже тогда было видно, что на земле никого нет. И сейчас перед ней – только прелые листья и несколько бутылочных осколков. Апельсина тоже нигде нет, но она замечает нечто другое – выцветшая влажная трава на месте, где он, возможно, был, примята, листья разметаны, будто там лежал некий предмет. Или?

***

От дедушки приходят первые вести.

«… Заночевали в ущелье, но проснулись от нараставшего шума. Это мчалась вода, неся с собой булыжники с гор. Нам удалось найти тропинку, уводившую вверх, и оказаться в безопасности…»

Фотография: помолодевший, так что и не узнать его почти, дедушка верхом на верблюде; на нем военный френч, на голове – что-то вроде тюрбана. Бабушка узнает его спутников: юноша теперь тоже в тюрбане, без бейсболки, на нем восточный полосатый халат, слюдяные глаза в упор смотрят на фотографа; дворняжка тоже здесь – для нее на спине верблюда устроена

специальная корзинка под зонтиком.

«…Лыжную шапку, кстати, я так ни разу и не надел. От ночевок на свежем воздухе я закалился и окреп, ты меня сейчас и не узнала бы. Подложил ее под голову, да и забыл. Там, где я спал, выросло дерево – кажется акация, но очень высокая, и теперь эта шапка – в ее ветвях; в ней орут птицы, день и ночь. Не успевают вылететь одни птенцы, как вылупляются другие. Их, наверное, где-то уже целые стаи»

***

Оттепель. Бабушка возвращается с работы. Подойдя к дому, она уже по привычке скользит взглядом по палисаднику и видит: там, где была примятая трава – скелет какого-то животного, довольно крупного, со сгорбленной спиной. У бабушки перехватывает дыхание, но, конечно же, среди костей не находится и намека на оранжевое – ни зерен, ни кожуры зачерствевшей.

***

Ей передают бобину с видеозаписью: дедушка мчится на открытом джипе по пустынной местности. Темно, но свет фар позволяет вести съемку. Вьются смерчи, взрываются звезды, в лицо дедушке летит песок, свистят стрелы и ржавеют еще в воздухе, дед проносится мимо и берет влево – так резко, что изображение какое-то время двоится: два тающих светящихся пятна удаляются, разъединившись.

***

Выйдя на следующее утро из дома, бабушка обнаруживает, что палисадник обнесен лентой с надписью «судмедэкспертиза». Люди в белых пластиковых комбинезонах склонились над какой-то темной грудой. Еще не до конца рассвело, и в всполохах синих мигалок всё то проступает яркими, дергающимися линиями, то, наоборот, становится невидимым.

***

Потом наступает весна, тает снег, и дедушка возвращается.

Яна Листьева

Четверо

Четверо идут по горам. Точнее, идут они там не сразу, сначала встречаются в определенной точке гор, никому из них заранее не известной. Встречаются, смеются, разводят руками, обнимаются – всё одновременно, и только после этого уже идут по горам, совершенно не важно, в каком направлении. Горы – это горы, в них хорошо идти.

Один из четверых находит в расщелине трубу – старую, мятую и как будто немного даже пожёванную, подбирает, подбирается к ближайшей пропасти, чтобы зашвырнуть трубу как можно дальше вниз и уже даже отводит руку для замаха, но другой из них (или все они разом) останавливает его, качает головой.

– Мне кажется, труба ещё пригодится зачем-то, – говорит тот из них, кто остановил замах.

– Тогда несите её кто-нибудь, кроме меня, – говорит тот, кто хотел выбросить, – на всякий случай, а то знаю я эти трубы.

Четверо смеются так, что кажется – невозможно не смеяться здесь и сейчас, там, в горах, где горячее яркое солнце и ледяные тени и к верхушкам пиков цепляются ленивые плавные быстрые облака. Четверо смеются, и один из них протягивает руку, берёт трубу и аккуратно привязывает её к рюкзаку другого, в том месте, где обычно крепится сноуборд. Трубе там отлично.

Четверо идут по горам, вдыхают воздух, морозный и тёплый и чистый, взглядом выхватывают яркие пятна цветов и зелени, держат неподвижно парящих в восходящих потоках птиц. В горах хорошо, как бывает только в горах и ещё иногда в детстве, но детство часто забывается, а горы есть всегда.

Четверо идут пешком, это важно: не использовать никаких транспортных средств, ни до того, как они

встретятся в одной случайной невыбранной точке, ни (особенно) после. Вместе они идут долго, и ещё дольше каждый шёл со своей стороны один, хотя ни один из них не был в одиночестве ни секунды, ни шага этого путешествия, которое длится, которое почти завершилось.

Четверо не совершают никаких предопределённых действий и почти ничего не говорят и продолжают идти. Может показаться со стороны, что абсолютно ничего не происходит, просто четверо идут по горам, в горах есть и другие, кроме этих четверых, встречаются, так что, в общем, ничего в них особенного нет – но четверо идут по горам и происходят они сами. Это умеет не каждый, да и четверым пришлось довольно долго учиться, прежде чем у них получилось, поэтому то, что четверо идут по горам – невозможный, неотменяемый факт.

Четверо идут по горам и останавливаются высоко, прямо на границе снега и зелени, на самом краю. Они останавливаются точно так же, как шли; точно так же, как встретились: случайно, не сговариваясь, одновременно. Останавливаются, сходятся ближе, поворачиваются друг к другу спинами, смотрят – мгновение, всегда. Разворачиваются обратно, отступают на шаг, переглядываются, улыбаются – легко, уверенно, точно.

Один из четверых снимает трубу с рюкзака другого, внимательно её смотрит, примеривается, прикладывает один конец трубы к губам, другой поднимает вверх, в сторону неба, и начинает с силой втягивать в себя воздух прямо через трубу. Остальные смотрят на него сочувственно и поддерживающе, тот, кто с трубой, корчит смешные лица, фу, говорит он, с усилием глотая воздух из трубы, фу какая гадость, и как мы раньше добровольно это ходили и множили, это же неправильно, ну.

– Дураки мы были потому что, – говорит другой из четверых, кто-то один из четверых, все четверо разом, смотрят друг на друга и хохочут, и долго ещё продолжают хохотать, пока каждый из них поочерёдно

глотает воздух из трубы, вдыхает эту невкусную гадость и выдыхает другое, противоположное, непривычное, которое сверкает в воздухе и остаётся, и продолжает быть.

Производить какие угодно действия тут, конечно, совершенно необязательно, но иногда крайне необходимо всем – и четверым, неподвижно стоящим на границе между снегом и зеленью, и трубе, и воздуху, и всему, что происходит.

Один из четверых, тот, что вдыхает через трубу сейчас, делает глоток, и всем им становится ясно, что он был последним, и они выдыхают и переглядываются, аккуратно сминают и складывают и убирают ставшую ненужной трубу в карман.

– Весна в этом году будет долгой, – говорит один из четверых, говорят они все, и сами с собой соглашаются: отлично отменились.

Четверо смотрят на горы и всё остальное разом, и делают плавный ленивый скользящий шаг в сторону, и больше в горах никого нет, целую бесконечную паузу между двумя ударами сердца ничего нет, но после неё – совершенно точно и определённо есть.

Курица Необъятного

Вы, конечно же, знаете Необъятного, он живёт в доме номер двадцать три по улице Амореев, там ещё напротив три толстые старые липы, высоченный такой каштан и гаражи, которые всё грозятся снести, но так и не сносят, и в тех гаражах по-прежнему процветает мелкая торговля и различный сервис, от ремонтного до похоронного, мы, в общем, и сами туда иногда ходим, в секонд-хенд и за лимонадом и ещё купить болтов и гаек, которые у нас почему-то всегда слишком быстро заканчиваются, непонятно, как. Так вот, если вы хоть раз ходили в гаражи, то вы наверняка встречали Необъятного, он там каждый день почти что с самого утра болтается, или же можно увидеть, как он выходит из дома со своей курицей на поводке, проходит по дорожке через заросший садик, выходит на улицу, долго и тщательно запирает калитку большим ржавым ключом, пока его курица топчется неподалёку, выискивает что-то куриное в траве, может, жуков или ещё что, но дело, в общем, не в ней, а в том, что Необъятный и его курица – знакомое, привычное зрелище всем, кто хотя бы раз ходил по улице Амореев – в гаражи за водкой и салом или просто так, мимо.

Да, конечно, именно его мы и имеем в виду – он такой, ссохшийся дядька, жилистый, высокий, хоть и сутулится так, что мама не горюй – и не только вы, у нас тут вообще никто не знает, почему его зовут Необъятным, может, это вообще фамилия или может он в юности что-то такое учудил, спас кого-нибудь или наоборот, вот прозвище и приклеилось, теперь уже не отклеишь, другого какого своего названия он и сам уже не помнит скорее всего, а вот на Необъятного откликается всегда, даже если очень тихо позовёшь, почти шёпотом – слышит всё равно, даже если ты стоишь в одном конце гаражей, между гробовщиком и тележкой с мороженым, а он в противоположном, или даже вовсе дома или у себя в саду – услышит всё равно и придёт со своей курицей, то есть, сначала ты стоишь, ждёшь, никакого Необъятного вокруг нет, потом слышишь где-то справа куриное подозрительное «по-о-о» и вот уже он тут, Необъятный, возвышается над тобой, бурчит: «чего тебе» или «нну» в своей неприветливой Необъятновой

манере, про которую у нас все знают, что это он как бы здоровается и рад видеть, а вот если, допустим, вместо бурчания своего он смотрит тебе прямо в глаза и выдаёт убойное вежливое «добрый день, чем могу быть полезен» - это значит, очень невовремя ты его позвал, от чего-то важного отвлёк, и нужно тогда быстро-быстро из кармана денежку достать какая попадётся, в руку ему сунуть, сказать «вот, дядь Необъятный, ты мне давеча одолжил, а я должок возвращаю» и уходить прочь, не оглядываясь и не останавливаясь, пока не то что гаражи, но и вся улица Амореев из виду не скроется.

Улицу Амореев же как – её почти расселили уже всю, то есть, по бумагам и документам у городских властей всюду значится, что улица расселена и подготовлена под снос ввиду проходящего вдоль неё то ли разлома, то ли выхода нестабильных пород, то ли ещё чего, тут у нас каждый свою причину считает верной, а остальных – дураками, что верят всему, что им правительство скажет. Так что по бумагам здесь уже лет десять как никто не живёт, да вот только гаражи как стояли, так и стоят, а там многие дельцы у нас прямо в своих гаражах и ночуют, чтобы с утра пораньше бизнес открыть и на дорогу и транспорт денег не тратить, да и некуда им ехать домой ночевать, если честно – ну, многим из них. И вот ещё Необъятный живёт в своём двадцать третьем доме, хотя по виду вообще не скажешь, что в этой развалюхе может кто-нибудь жить. У него, у Необъятного-то, даже забор вокруг дома и тот давно повалился, сгнил в труху, одна калитка меж двух железных столбов осталась, у нас поэтому ещё всяк поглазеть любит, как Необъятный сначала калитку отпирает, потом со своей курицей через неё выходит и тщательно за собой запирает, как будто калитка эта по-прежнему единственный проход к его дому и ни один вор не догадается просто сбоку её обойти – то есть, конечно, ни один вор в здравом уме к Необъятному не сунется, и не потому, что брать у него нечего, а потому, что не принято у нас так – все знают, что Необъятного обижать даже и пробовать смысла нет: во-первых, не получится ничего, а во-вторых дураку это таким боком выйдет, что ни в одном похмельном кошмаре не приснится – вы ежели тут историю про Пучеглазого слышали, то знаете точно, о

чём речь. То есть, это у нас тут он Пучеглазый, а так-то Дмитрий Евстахович Исмаилов, про него даже в газетах писали, когда всё это произошло, только газеты каждая на свой лад врали, почему с Пучеглазым это недоразумение приключилось, и никто из них настоящую причину так и не откопал, что Пучеглазый по пьяному делу решил к Необъятному в дом залезть через окно и курицу его стащить, потому что она его, Пучеглазого, клюнула в руку, когда он сунулся её погладить, и теперь у него на клюнутой руке волдырь вскочил и распух вместе со всей остальной рукой. Мужики его отговаривали, даром что сами пьяные были, но Пучеглазый упёрся, и ни в какую, орал: «изведу падлу!» и стучал себя непоклёванным кулаком в грудь. Кучу способов напридумывал, чтоб с курицей Необъятного половчее расправиться, хорохорился, говорил, что на спор изведёт, на тыщщу рублей – никто спорить с ним, конечно, не стал, а только ему уже всё равно было – вожжа под хвост попала, и всё тут. Ну и вот, той же ночью вломился к Необъятному в дом, а что дальше было это вы и так уже знаете, из газет да из разговоров вокруг, и это при том, что сам Необъятный вообще пальцем не шевельнул, и ничего такого Пучеглазому не делал – а вот просто так оно и происходит всё, как бы само, но у нас все знают, что ежели кому понадобится Необъятного с его курицей позвать, то непременно нужно заранее денежку заготовить на тот случай, если Необъятный вдруг очень вежливо разговаривать начнёт.

Необъятного зовут по самым разным вопросам, у кого что, и это вот мы так сразу вам и не скажем, за какое дело Необъятный возьмётся, а за какое не станет, и даже не ответит ничего, просто молча развернётся да потопает себе дальше, как ни в чём не бывало. Разное бывает. У кого, например, мужик пьющий, но не просто выпивающий, а так, по-чёрному, что уже из наших даже никто с ним пить не хочет – так те идут в гаражи, Необъятного звать. Необъятный постоит, послушает, на курицу свою посмотрит, скажет «так» или «ладно» – это значит, выгорит дело, нужно только ждать – недолго обычно, дня три, и всё как бы само налаживается: мужик тот, чья жена к Необъятному приходила, ходит трезвый, как стекло, мрачный, как туча – оно и неудивительно, в общем, с непривычки-то.

Потом, ясное дело, привыкает как-то, и работа ему подходящая отыскивается почти сразу, и характер улучшается, да так, что через пару месяцев совсем человека не узнать, любо-дорого поглядеть, и любой компании он душа, и всюду почёт и уважение. Необъятный, понятное дело, не всегда за пьяниц-то берётся, и чаще всего нет, чем да – если тут у нас каждого выпивки лишить, то вообще никого не останется, и в гаражах опустеет раза в три, если не больше, поэтому Необъятный только на тех соглашается, которые буйные совсем, или которые дома у себя, когда никто не видит, кулаки распускают почём зря – этих он вообще не терпит, и тут даже просить никому не надо, сам как-то узнаёт.

Ещё бывает что кому-то неудача в бизнесе, или просто со всех сторон не везёт, будто сглазил кто – за такое Необъятный сразу берётся, даже не дослушав, и слухи такие до нас доходили, что многие из городских там бабок и прочих экстрасенсов если выясняют, что клиент, которого им заказали, с нашего района – тут же деньги возвращают и выпроваживают на все четыре стороны, потому что с Необъятным и его курицей связываться не хотят. Всякое, в общем, бывает, а что из этого правда, что враки да досужие сплетни – это уже не нам судить, мы только за то, что своими глазами видели рассказать можем. И вот то, что рядом с каждым бывшим запойным обязательно Необъятного и его курицу видели, аккурат незадолго до полного протрезвления, так это чистая правда, ну и там если какие другие дела решаются, то Необъятного тогда домой зовут, и без курицы своей он не приходит, это многие могут подтвердить.

Так вот, чего мы вам тут это всё рассказываем – это мы потому что патруль, нас Необъятный послал добровольцев собирать, объяснил, как и что и к кому обращаться, а с кем и разговаривать смысла нет, и вот по всему выходит, что вы как раз очень подходите в добровольцы, только это, конечно, в самом слове прописано и вам решать, идти с нами курицу искать или послать нас к чёртовой бабушке и дальше по своим делам, только вот если ваши эти дела случаем в гаражах были – так сегодня и не выйдет уже, потому как в гаражах санитарный день на предмет того, что все наши отправились Необъятному помогать и торговать

в гаражах, стало быть, некому. То есть всё равно завтра приходить, если вам так уж очень в гаражи приспичило, сегодня точно не выйдет – да и вообще непонятно пока, выйдет ли хоть что путное у всех нас, но это, похоже, мы вас совсем с толку сбили, сейчас всё по порядку расскажем.

Началось это всё вчера после обеда. У Необъятного так заведено: утром он со своей курицей в гаражах болтается, люди, которые просьбу какую хотят, спокойно и не торопясь его зовут по одному, он их слушает и соглашается или нет, тут всё просто. Потом Необъятный идёт к себе домой обедать, а курица у него в саду пасётся, ковыряется там, всякое ищет – вы если хоть раз мимо двадцать третьего дома по улице Амореев ходили, наверняка курицу эту видели, забора-то у Необъятного давно уже нет, и весь сад с улицы видно как на ладони – ну, там, где не заросли. А после обеда у Необъятного заведено лежать в саду в гамаке и разговаривать разговоры – правда, непонятно, с кем, потому что если с улицы посмотреть, то никого, кроме Необъятного, гамака и курицы в этом саду не наблюдается. И если кто из наших пробовал подслушать, о чём там Необъятный после обеда вещает, так ни у кого не выходило – вроде, слышно, что говорит, и голос его, Необъятного, характерный такой, а ни слова не разобрать, даже если совсем близко подойти. Ну и обычно к вечеру Необъятный из своего гамака выбирается, и снова в гаражи людей слушать, или же идёт по домам к тем, которые его позвали у себя дома проблему решать.

Но это обычно так, а вчера, как раз примерно в то время, когда Необъятный обычно в гамаке своём лежит, прибегает он, значит, в гаражи, и лицо такое – злое, но не злое, а такое, очень целенаправленное, и, самое главное, курицы его при нём нет, а это вообще неслыханное дело, чтоб Необъятный и без курицы.

– Собирай всех, – говорит нам, мы вот как раз первые были, кого он встретил, – собирай всех, беда.

И руками так машет, будто слова ему очень выговаривать сложно, и приходится руками их из воздуха вырубать. Ну, наши, конечно, сразу смекнули, что к чему, быстренько собрались, принесли ему маленькую да огурец. Необъятный водку хлопнул, не поморщась, как воду, и закусывать не стал, но нам

всем видно, что попустило его малёк. Потом он так вдохнул, выдохнул, да как пошёл материться, что у тех, кто к нему ближе всех стоял, аж слёзы на глазах выступили, и вот тогда уже, на Необъятного матюки, все, кто в гаражах был, как один прибежали – послушать да посмотреть, что творится, Необъятный же зря языком болтать не любит, да и не матерится почти никогда.

Долго он матерился, минут пять без продыху, Лёнька говорит, он на телефоне секундомер засекал, но не с самого начала, значит, считай, все шесть минут, а то и дольше. Потом, как отматерился, уже понятно было, что все, кто есть, собрались, и Необъятный нам тогда вот чего рассказал.

Вышел он, как обычно, после обеда из дома в сад, только-только в гамаке устроился, как по нашей улице с рёвом и дымом какой-то городской пацан на красной папашиной тачиле прогрохотал, ну, наверняка девчонку какую катал, или же чтоб перед своими покрасоваться. Мы в гаражах его тоже слышали – так-то у нас улица тихая, редко проедет кто, на то и окраина, да и не живёт тут почти никто, чего зря ездить. Ну и в общем вот. Оказалось, что мудила этот, который на красной тачке, из окна окурком стрельнул, аккурат когда мимо Необъятного дома проезжал, и прямёхонько в наш Амореевский разлом своим окурком угодил, да так неудачно, что самою ткань бытия насквозь прожёг, а Необъятный даже и не заметил, потому как очень занят был важным делом, нам он не сказал, каким. А Необъятного курица в это время, как у них заведено, в саду себе гуляла, и конечно же первым делом, но неторопливо и с куриным достоинством пошла разузнать, что там такое в кустах мелькнуло и интересно вспыхнуло. Обычная-то курица бы заорала с перепугу и сбежала куда подальше, но курица Необъятного это вообще отдельный разговор: хитрющая – сил нет. Вот она, видать, и смекнула, что если орать, то Необъятный сразу прибежит разбираться, и ничего интересного на её куриную долю не достанется. И ведь не то, чтобы обездоленная была по жизни, зараза такая, – это вот прям так нам Необъятный про неё и сказал, такими словами, и тут его даже можно понять.

В общем, пока Необъятный был занят, курица его неторопливо доковырялась до того места в кустах, куда

окурок прилетел, и обнаружила там интересную такую дыру и запах сигаретного бычка вокруг. А она, оказывается, страшно любит бычки эти клевать, Необъятный говорит, уже весь извёлся, никак не получается её отучить, да и вроде бы нормально ей – не блюёт и никак иначе не показывает, что ей с бычков тех как-то нехорошо, наоборот, вся сразу бодрая становится и работает гораздо быстрее потом, это нам он тоже рассказал, хотя мы и сами уже многие догадывались, что кто к Необъятному с просьбой приходит, так Необъятный свою курицу на проблему напускает, и она тогда склёвывает – неудачу, или забулдыжество, или там ещё что, смотря кто с чем придёт. И, в общем, жрать она это всё очень даже согласная, уговаривать два раза не надо, но сигаретные окурки любит страсть как, всю свою куриную душу за них продаст, глазом не сморгнув. Поэтому вышло совершенно с куриной точки зрения логично, что она, обнаружив дыру и не обнаружив окурка, принялась старательно эту дыру ковырять, чтобы окурок достать. А что дыра была не просто так, а в самой ткани бытия, так на это её куриные мозги плевать хотели с высокой колокольни, то есть, учитывая её куриную природу, срать.

Ковырялась она довольно долго, пока Необъятный занят был, и если бы это просто земля была, то давно бы уже сожрала свой ненаглядный окурок и успокоилась, но поскольку это был разлом и ткань бытия там совсем тонкая и через неё даже просвечивает иногда, то курица эта совершенно спокойно довольно большую дыру там расковыряла, и, так и не найдя окурка, сиганула в эту дыру вся, с концами. В этот момент Необъятный как раз дела свои закончил, и только успел заметить рыжую куриную жопу, исчезающую в дыре. Он, конечно, сразу и звать её, и руками внутри дыры шарить, и даже окурок специально для особых случаев припасённый из жестянки достал, чтобы её приманить, но всё без толку – курица Необъятного провалилась в дыру в ткани бытия, как в воду канула.

Наши, конечно, тут же без лишних слов похватали у кого чего было – инструмент там, доски, припасы всякие – и пошли всей толпой к Необъятному, чтобы курицу из небытия спасать. То есть, там не то, чтобы небытие, это нам Необъятный уже по дороге объяснял,

что-то насчёт того, что там, внутри, такое нейтральное пространство, которое не пространство вовсе, но ходить там вполне можно и там много ещё всякого есть, куда курица могла за это время утыкать, и поэтому ему нужны все, кто согласится, чтобы курицу найти и обратно приволочь. Так что дальше мы весь день эту куриную дыру расширяли, чтобы человеку пройти можно было, но и с таким расчётом, чтоб потом получилось её залатать, чтобы, значит, ни одна курица больше туда не пролезла. Потом мы совсем недолго там внутри походили, но курицу не нашли, и тогда Необъятный сказал, что нас слишком мало и для стабилизации и локации курицы нужны ещё добровольцы, и отправил нас этих самых добровольцев искать, ну, то есть, получается, вас, ежели вы согласитесь с нами пойти.

Денег, понятное дело, никто из нас предложить не может, мы ж все гаражные или около того, у нас с денежными вознаграждениями туго, но Необъятный сказал, что раз такое дело, любую проблему добровольцев решит во внеочередном порядке, как только мы его курицу обратно домой притащим и дыру эту заделаем. Вы ребята толковые, это сразу видно, да и нам Необъятный рассказал, как нужного добровольца на глаз да по разговору отличить. Поэтому соглашайтесь, не прогадаете: слово Необъятного – могила. Не подведёт.

Да и курицу эту его нужно как можно скорее поймать. Она ведь, зараза такая, склюёт там чего-нибудь не того, и от этого у нас тут запросто совсем вообще всё наебнётся. Так что мы, можно сказать, не просто курицу Необъятного искать вас зовём, а целый мир спасать, такое дело – оно кому угодно интересно будет.

Правда же?

То же самое

Я рисую дыры. Мама говорит всем, что я очень люблю рисовать, но это неправда – рисовать интересно, когда получается, но дыры гораздо интереснее, чем рисовать, поэтому рисовать что-то ещё кроме дыр мне, конечно, интересно, но не очень.

Сначала мама спрашивала каждый раз, что это я рисую, и я каждый раз говорила «дыры!», и маме тоже было интересно, но потом она почему-то стала мне предлагать нарисовать мишку, зайчика и дом и даже хотела мне помочь, если мне сложно, но мне не сложно, мне просто неинтересно мишку с зайчиком, поэтому я рисовала дыры всё равно, и тогда мама повела меня к врачу, но не к тому, который уколы делает или там зубы смотрит, а к другому совсем врачу, тётеньке, она очень странная была и даже белый халат не надела, так что я не знаю, какой она там врач без халата, мне в садике Данька говорил, что без халата не считается, потому что у него папа врач – когда он на работе в халате людей лечит, тогда и врач, а когда домой приходит и халат снимает, то уже не врач, а просто папа, но тётенька была на работе в таком специальном кабинете с табличкой на двери, так что, наверное, всё-таки врач, может быть им некоторым и без халата врачами быть разрешают, надо Даньку спросить, пусть своего папу спросит.

Врач без халата привела меня в специальную детскую комнату с целой кучей игрушек и сказала, что им с мамой надо поговорить, а я пока пусть поиграю, и я конечно согласилась, потому что игрушки в этой комнате были разные и совсем не такие, как в садике или у нас дома, мне потом мама сказала, что они развивающие, у нас дома тоже развивающие есть, но другие, не такие, как эти, так что, в общем, мне даже было интересно все их рассмотреть и попробовать, но потом снова стало нужно нарисовать дыру, и я нашла восковой мелок в коробке с мелкими деталями от конструктора, я восковые мелки обычно не люблю, потому что они тугие, но в той детской комнате не было вообще никаких карандашей, я везде искала.

Бумагу я тоже не нашла, поэтому нарисовала дыру прямо на стене, там потому что такая специальная бумага была наклеена – сразу видно, что это для рисунков! На стене места гораздо больше, чем на одном листочке, поэтому у меня получилась довольно большая дыра, и я даже успела её дорисовать и немножко посмотреть, пока мама с врачом разговаривали. Потом врач пришла ко мне в детскую комнату и стала спрашивать, что я такое нарисовала, я ей сказала, что это дыра, но врач не как мама, и поэтому начала меня дальше всякое про дыру спрашивать, про что такое и зачем и почему. Я сначала не знала, что ей сказать, поэтому быстренько нарисовала вторую дыру, поменьше, потому что когда две дыры рядом рисуешь всегда всё понятнее становится, так что когда врач опять свои вопросы про вторую дыру начала спрашивать, я ей сказала, что это я нарисовала зайчика, а большая дыра – это мишка, потому что мишка гораздо больше зайчика, а рядом они потому что мишке одному было грустно. Но это же дыра, сказала врач, ты сама мне сказала только что, дыра, сказала я, я очень люблю рисовать дыры! А мишка и зайчик там внутри, каждый в своей дыре, но они рядом, поэтому могут разговаривать и даже пить чай! Тогда врач улыбнулась и предложила мне конфету, и пошла обратно в кабинет с мамой разговаривать, а дверь закрыла не до конца, так что я немножко слышала, что она там маме говорила про богатое воображение и перерастёт, а мама всё переспрашивала и врач её успокаивала и ещё что-то говорила, очень много научных слов. Я нарисовала на стене ещё одну дыру, совсем маленькую и незаметную, положила мелок в карман и стала смотреть и слушать, чтобы понятнее, поэтому когда мама с врачом говорить перестали, я уже знала, что дальше делать, потому что у врача в детской комнате с игрушками конечно интересно, но если мама станет меня сюда два раза в неделю водить, то мне очень быстро скучно станет, мне этих игрушек ну, может, на пол-разика ещё поиграть хватит и всё.

Поэтому теперь я рисую дыры, но так, чтобы незаметно, а если мама или ещё кто спрашивает, что это я такое нарисовала, то я всегда могу объяснить, хотя сейчас уже много времени прошло и у меня гораздо лучше получается и даже объяснять не надо, взрослые

смотрят на рисунок и сами мне говорят: это лисичка, это лошадка, это дерево, это мост – ну и я киваю, конечно, раз они там ничего, кроме мостов с лошадями не видят, значит, так и есть, всё у меня получается правильно, и никто-никто в целом мире не знает, что на самом деле я всегда рисую только дыры и больше ничего.

Когда мы с мамой от врача домой пришли и пообедали, я пошла в свою комнату рисовать дыры, а мама потом ко мне пришла спрашивать, что это я рисую, и я сказала как всегда, что рисую дыры, а мама тогда спросила что у них внутри, и я сказала, что вот эта дыра, самая большая, это дом, такие вытянутые поменьше рядом – это деревья, а ещё там будет кто-то жить, но я пока не решила, кто, потому что дом-теремок из сказки, все мои игрушки хотят в таком жить! Мама рассмеялась и погладила меня по голове, и спросила ещё, всегда ли в моих дырах кто-то живёт, и я кивнула, и она тогда спросила, почему я ей раньше про это не рассказывала, а я тогда сказала, что она не спрашивала же, и я не думала, что ей это будет интересно. Мама сказала, что ей очень интересно, потому что это всегда такое удивительное – видеть, что придумывает твоя дочь, это то есть я, получается, твоя дочь, это так взрослые иногда говорят, мне мама объяснила. Ну и вот с того раза это у нас с ней стала такая игра: я рисую дыры, она меня спрашивает, кто в дырах живёт и что там происходит, а я ей рассказываю, как мне дыры говорят, там обязательно такое, детское, чтобы она не пугалась и к врачу больше не ходить.

Потом, когда ещё время прошло и была зима, а стало почти что лето, я как обычно сидела и рисовала дыры и пришла мама, смотреть, что я рисую, и сказала ой, потому что я нарисовала несколько разных дыр и рядом с ними зайчика, и когда мама спросила, что это, я сказала, что это зайчик и он вылез из дыры! Мама ужасно обрадовалась и мы даже зашли в кафе кондитерскую по дороге в парк, когда пошли гулять, и выбрали самое большое и красивое пирожное из всех – вот как она обрадовалась! А всё потому что это меня так дыры научили, ну, то есть, не сами дыры, конечно, а то, которое у них там внутри, словами оно не

говорит и вообще не разговаривает, и выглядит всегда по-разному или вообще никак, но оно всегда помогает всякое понимать и находить самое точное решение тоже помогает, поэтому дыры рисовать мне всегда очень интересно и ни капельки не надоедает, я хоть сто дыр в день нарисовать могу, и даже двести!

Мне сначала показалось, что это скучно будет, когда зайчиков там и мосты с лошадками вместо дыр рисовать, но оказалось, что это ещё интереснее, потому что каждый раз надо такую загадку отгадать: как правильно нарисовать дыру, чтобы она была дырой, но выглядела как домик или дерево или мишка. Эти загадки очень сложные, и каждый раз приходится заново отгадывать, потому что сразу же понятно – зайчик, которого я нарисовала вчера, и зайчик, которого я нарисую завтра или в воскресенье совершенно разные, но у меня получается, поэтому и не надоедает их рисовать, ну, и дыры ещё помогают тоже. Я сначала очень много простых дыр рисовала, чтобы зайчик получился, но сейчас уже научилась и вообще без единой простой дыры могу почти любую дыру нарисовать, которая будет казаться домик, или птичка, или самолёт.

В дырах всегда что-то происходит, разное, и мне иногда кажется, что взрослые тоже немножко это чуют, просто у них в голове слишком много научных слов и поэтому осталось очень мало места, чтобы слышать дыру, даже самую громкую, но всё-таки это место у них в голове не может насовсем научными словами заполниться, поэтому они чуют, но тут же сами себе всё объясняют так, чтобы только правду не понимать, и тогда они мне говорят «что-то у тебя такой сердитый зайчик» или «ой, какая бабочка красивая, как будто хрустальная» ну и ещё такое всякое разное говорят, только чтобы не чуять дыру. И сами ещё себе верят, что у них в голове ничего, кроме научных слов и не бывает, а если вдруг что чуют, то это сразу показалось или так не бывает, иначе можно сойти с ума, так мама говорит, хотя я не очень понимаю, как с ума можно сойти, если ты никогда на нём не стоял, но она только смеётся, когда я спрашиваю, и говорит «вырастешь-поймёшь», но быть взрослой, по-моему,

слишком скучно и сложно, я не очень-то и хочу.

А ещё можно дыры по-другому рисовать, не так, чтоб мишка или зайчик были полностью дырой, а так, что рисуешь картинку, у которой есть дыра, у меня это один раз случайно вышло, когда нам в садике сказали нарисовать домик, и я решила, что нарисую просто домик, без дыры, потому что умею уже, ничего сложного нет, ну и неохота целую дыру домиком на садик тратить, поэтому я рисовала просто домик и про дыру даже не думала: нарисовала сначала крышу с трубой, из которой идёт дым, потом сам домик, окошко и дверь, и вот когда уже дверь закрашивала, то увидела, что дыра там всё равно есть! Просто она в домике оказалась, внутри, и такая большая, что кроме дыры там ничего не поместилось, и её даже через окошко видно стало, но только мне, поэтому я решила, что пусть так и останется, значит, нужно, чтоб в садике был мой домик с дырой, хоть Валька и заревела, когда мой домик увидела, сказала, что он страшный, но Валька у нас самая рёва в группе, так что все уже привыкли и особо внимания на её рёв не обращают.

Вчера я нарисовала птицу, которая смотрит круглым птичьим глазом и стоит на одной ноге и голова у неё на бок, а дыру птица держит во рту, как конфету или такой стеклянный шарик, в котором золото и пыль. Держит, перекатывает во рту молча, но не глотает, хотя птицы даже камни умеют глотать, это мы с мамой один раз по телевизору такую передачу видели про всяких животных и птиц, и нам там как раз про камни рассказали, и ещё про всякое, очень интересно было. Маме моя птица с дырой во рту очень понравилась, и она даже попросила её у меня, чтобы на стенку у себя в кабинете повесить, это она очень правильно сделала, потому что птица получилась внимательная и в кабинете, где мама обычно работает, ей самое место.

А сегодня мама принесла мне такой большой рулон и сказала, что это подарок, потому что я люблю рисовать и у меня получается, а этот рулон можно раскатать на пол и очень длинный рисунок нарисовать, поэтому я рисую дыры, прямо сейчас, пока мама работает, это называется «срочный заказ» и означает,

что маму нельзя отвлекать, пока она сама ко мне из кабинета не выйдет – ну так мне и не надо, у меня же вот целый рулон есть, я его уже немножко размотала и нарисовала четыре большие дыры, не в виде котиков и цыплят со скамеечками, а просто вот дыры, чтобы про эту новую бумагу понять всякое, с ней потому что получается гораздо больше всего можно сделать.

Я рисую дыру и думаю про мой домик, который остался в садике на стенке висеть, тот, у которого дыра внутри, я про него думаю и как будто бы вижу, как дыра там, внутри домика, сперва просто на полу лежит во весь пол и даже в углы, а потом начинает так пучиться и расти и выглядывать в окошко и распахиваться внутри и ещё немного сверкать, как ёлочные гирлянды или салют, и дальше там, наверное, ещё интереснее становится, но это я уже не вижу, потому что для этого нужно там быть, внутри.

Я рисую дыры в большой комнате, прямо на полу, в большой комнате очень удобно на полу рисовать, потому что никакого ковра нету и мебели мало, только диван и большой шкаф с книгами в углу, и рулон раскатывается по полу быстро и весело и шуршит, я от него оторвала изрисованный кусок с дырами и дальше чистый рулон раскатала уже от дальней стенки до дальней стенки, перегнула и прижала книжками, чтобы он обратно не скатывался, и потом под таким углом дальше покатила, и опять книжками, и ещё, пока весь рулон не кончился, ну, то есть, весь рулон стал пол, и теперь я на нём рисую дыру, большую, во всю комнату, чтобы как в моём домике получилось, я уже знаю, как.

Я рисую дыру всем, что у меня есть: новыми красками, старыми карандашами, фломастерами, ручкой, у которой течёт паста, обгоревшей спичкой, восковым мелком из детской комнаты врача, пластилином и ещё немного компотом – надо, чтобы было так. Мама работает у себя в кабинете, птица с дырой во рту внимательно за ней следит, так что мне никто не мешает и никаких вопросов не задаёт, и я спокойно рисую свою дыру, потому что торопиться нельзя и главное тщательно и точно.

Это будет моя самая лучшая дыра.

Слоёный пирог

Это такой слоёный пирог: тесто в нём дрожжевое, тонкое, обычное, а начинка слоями – мокрая трава, заячий испуг, чужое, выброшенное за ненадобностью сердце, нитка мелкого речного жемчуга (он выдержан в крепчайшем приступе гнева и не будет застревать в зубах), колодезное эхо, ягода морошка и ягода олуника, четвёртое декабря, решительный шаг, папоротниковый мёд и тростниковая соль – и это только для начала; много начинки в моём слоёном пироге, так много, что не выговорить одним дыханием, не выдумать одной непрерывной мыслью, не отвлекаясь на трепет берёзовых серёжек на ветру, на стрёкот цикад в полуденном мареве, на сырой перестук затяжных капель по голым ветвям, на долгую скрипучую звёздчатую морозную тьму; я переберу все слова и все начинки и все отвлечения, буду петь рассветные песни майского дня, говорить громовые раскаты, вести неспешные беседы с теми, кому не достало бесед и молчать для тех, кто больше не может слушать, ходить долгими кружными путями, так, что прибыв, наконец, к очередной наугад выбранной цели, я окажусь от неё дальше, чем прежде, и всё по дороге, всё впрок: и совиный взгляд, и самая густая и твёрдая тень бесплотного духа, и хохот лесных детей, и следы одинокого путника, третью вечность возвращающегося домой, и прикосновения невидимых рук, вплетающих душистые травы в шерсть домашних зверей – всё умостится, уместится, уложится в мой слоёный пирог на тонком дрожащем тесте, замешанном в самую лунную ночь в безвозвратно ушедшем году.

Я не умею прясть, но пирог мой требует самой неслышной пряжи из тающего вечернего света и кошачьей шерсти, и я впряду украдкой пробравшегося в кухню ночного воришку, пришедшего за скопившимися по углам чудесами, в свою бесшумную серебристую нить – он ничего не почувствует, мой безымянный удачливый вор, только увереннее станет его цепкий взгляд и точнее рука, всегда забирающая то, что необходимо, и оставляющая столь же необходимое, но другое, взамен. Я подберу оставленные ловким моим воришкой чьи-то

позавчерашние сны, выстуженные короткий день в ледяной проруби, возле рыб, выдержанные долгую ночь в догорающей тёплой печи, на которой спят, ставшие похожими на папиросную бумагу, папирусные свитки, полные несуществующих слов; я возьму эти слова, отделю от бумаги, отправлю в пирог папирус, папиросу, росу, речь римского императора, позабытую им накануне решающей битвы, звук трубы, рвущийся в бой, горечь победы, тесноту поражения, пресный привкус обратной дороги, пыль, глину, ноющую рану, ножевую сталь; в мой пирог попадут все неслучайные листья, оказавшиеся у меня на пути, все блокнотные листы, разрисованные поверх написанного поверх нарисованного; чтобы не было слишком сухо, добавлю мятного масла, мятой правды, неубывающей красоты огня и оленя над пропастью в невозможном прыжке; буду держать в одной руке чашку с печалями, в другой колокольчик, в третьей рис и грибы (золотые, высокие, на тонкокостной ножке), в четвёртой другую руку, в пятой память, рождение, смерть, а если мне не хватит на всё это рук, то я тоже их где-нибудь украду.

Я встану и вытянусь в голос и выверну взгляд через себя наружу, через колодец, через пень-колоду, через зеркальный коридор меня и меня туда, где меня ещё нет, протяну все мои и найденные руки широко, шире, чем время и близко, ближе, чем бесконечность; очерчу дугу зелёным и слишком синим, синим и совсем не великим, несокрушимым, неузнанным: здесь будет слово моё и слоёное моё средство для удаления пятен неприятного неживого оттенка с ткани бытия, очерёдность событий условна и значения не имеет; я стою выше самых высоких вершин, где ветер и свет и облака, ниже самого глубокого морского дна, где тень и трепетные твари в окружении белоглазых глубоководных плодов; я стою и разрезаю этот пирог из обычного теста с многослойной начинкой, охватываю пирог поперёк и вдоль железных линий электропередач, вдоволь у каждой станции электрички, автобусной остановки, автомобильной заправки с дешёвым горьким чёрным топливом для припозднившихся, опаздывающих, уходящих пешком по нескончаемой трассе, у всех ночных и дневных супермаркетов, на пыльных библиотечных полках, в уценённых корзинах видеопрокатов, в дорогих

салонах по продаже машин и ногтей; я разрезаю пирог и смотрю, как он поднимается, плавает, плавится, поставленный на пятнадцать минут в нагретую солнцем дровяную деревянную печь.

Начало начинки находится здесь, пространственно-временные координаты введены в активную память блока границы неба и неба: это такой слоёный пирог, продолжить?

Y/N

(мигает курсор)

Неколыбельная

мама мыла раму, мыла спину и голову детским шампунем без слёз, мыла выгнутый мост через встречную речку, мыла каждую свечку, горящую над алтарём, мыла лестницу и грудную клетку, мыла котлетку, чтобы та не упала на пол, мыла молл (это торговый центр) и тротуар на пару десятков метров вокруг, как в договоре указано – мыла шампунем, наверное, тоже без слёз: в конце концов, никто не хочет думать о том, что начнётся, если тротуар разрыдается сразу везде

мама мыла раму, мыла чайку над пирсом, гальку в воде, самые синие части неба над морем и моря под ним, мыла чей-то брошенный нимб, закатившийся за скамейку в парке, мыла нахальную галку, которая здесь оказалась неведомо как, мыла шкаф и разгребала бардак: эти газеты оставить на осень, эту посуду отдать за десяток яиц и свёрточек масла, эту рукопись сжечь, эти руки отмыть и повесить сушиться, не забыть зацепить полинялой прищепкой покрепче – от ветра; ветер тоже пора бы помыть

мама мыла раму, мыла фрукт помидор и овощ горчицу, мыла каждую спицу каждого из колёс – все почему-то решили, что имеет значение только одно, но человеческие оценочные суждения никак не влияют на неизбежность гигиенических процедур, мыла ощипанных кур и их окуряющий дым, мыла сон и осоку и щёки тем и другим животным и людям и духам, мыла одно непослушное ухо и пальцы ноги, мыла флаги над замком и фляги с водой, мыла пчелиный рой и математическое неравенство, имеющее сложные взгляды на единицу, мыла ещё какую-то птицу – птиц очень много, не разобрать в темноте

мама мыла раму, мыла зелёное, мыла рассвет, мыла потёртый скрипучий паркет, мыла чернильные пятна, черничный язык, мыла копчёное сало и деликатный звериный рык, мыла щекотное устье реки и большие усталые грузовики на обочине пыльной прозрачной дороги, мыла налоги, которые кто-то в последний момент успеет (успел) заплатить, мыла

каждую прядь непослушных блестящих волос и вплетала в них золотую звенящую нить

мама мыла раму, рама тщательно жмурил глаза и сопел, чтобы мыльная пена не забивалась в нос

Сошью себе пальто

Сошью себе пальто, говорит, сошью себе пальто и буду ходить, оно будет жёлтое и железное и сверху и сбоку, сошью себе пальто. Начну с какого-нибудь начала, пришью к карману большую пуговицу, полосатую снаружи, фиолетовую сзади, на пуговицу повешу ключ от дома, которого нет, моего дома, самого лучшего в мире. Пришью капюшон, снаружи двоящийся и прозрачный, как толстое бутылочное стекло, внутри шелковый, расписанный темно-зелеными листьями, через которые пробивается тёплый розовый рассвет, сошью себе пальто.

Сошью себе пальто, говорит, сошью себе пальто из карманов и всего, что между ними – планки там, отвороты, бортики, якоря и прочая морская терминология; подкладку непременно скрою из крепчайшего тумана и густой августовской темноты, назову модным словом бленд, на этикетке укажу проценты – тридцать четыре, сорок восемь, пятьсот шестьдесят три, стирка строго раз в год в самом первом южном ветре, никакой химчистки, это будет смешно, ну и что, что только мне, сошью себе пальто.

Сошью себе пальто, говорит, сошью себе пальто цвета сожжённой кости вымершего животного, цвета следов обманчиво очаровательных лапок поперёк болотистой моховой кочки, цвета каждого несуществующего объекта в заданной точке пространства, обметаю края линейным временем, швом «вперёд иголку», закреплю на тройной узелок, на возвращение, на память, сошью себе пальто.

Сошью себе пальто, говорит, вставлю картон в нитяные рамки, надёжные, подвижные, никакому мечу не разрубить, никакой воде не расплавить, никакому огню не затушить слова моего, пламени дела моего, сошью себе пальто и буду ходить.

Сошью себе пальто, говорит, сошью себе пальто и буду ходить всюду: по стене дома и по стволу дерева, по каждой луже и по большой воде, по зимнему дыму из

печных труб, когда ясно и дым вертикально вверх, когда пасмурно и он всюду, по морозу всеми его завитушками одновременно, и теми, которые на окнах, и теми, которые нет, по раскалённой жаре и вязкому асфальту, по границе между светом и тенью, по битым кирпичам и оконным стёклам, по обрывочным мыслям, которые никак не удержать в голове, по садовым скамейкам и тягучим струям выключенных сухих фонтанов, с дождём и ветром, со светом и тьмой везде и всегда я хожу, сошью себе пальто.

Сошью себе пальто, говорит, сошью себе пальто и буду ходить задавать вопросы, и называть каждое тем, чем оно является, петь песни буду, кричать шёпотом, громко и неразборчиво вслух бормотать на неизвестных мне языках, вспоминать их по ходу разговора и тут же забывать опять и указывать на неправильное, громко, громче всего указывать на неправильное и называть его так, чтобы видели и слышали не только те, кто смотрит и слушает, но и те, кто слышать ничего не хочет, те, кто мёртв и слеп услышат и увидят и будут в ярости требовать немедленно прекратить, но я не сдамся, не прекращу, сошью себе пальто и буду говорить.

Когда станут смотреть вслед и спрашивать, и останавливать и пытаться мешать, это кто, говорить будут, пытаться ухватить за полу будут, весело буду огрызаться «конь в пальто» и стряхивать с рукава и идти дальше называть всё, не останавливаясь лезть на дерево и крышу и трубу, не буду брать трубку, когда звонит телефон, не буду молчать и отвечать не буду и буду идти и стучать громко буду, кричать ласково, говорить буду с живыми, с огромными тёплыми тёмными сияющими буду, сошью себе пальто.

Сошью себе пальто, говорит, сошью себе пальто и буду быть.

Элизабет, Лиззи, Бетси и Бесс

Ирина шла по пустынному переулку, периодически сверяясь с картой, карта была отпечатана на тонкой, почти прозрачной бумаге, выгибалась пёстрым парусом на весеннем ветру и норовила перевернуться, чтобы окончательно спутать мысли Марины и сбить её с правильного пути, но Кристина каждый раз ловила карту в самый последний момент, припечатывала шлепком свободной ладони к ближайшей стене и в очередной, неизвестно какой по счёту раз сверяла название переулка на карте с табличкой на углу дома. Иногда названия совпадали, иногда нет, в таком случае Ольге приходилось крутить и переворачивать карту несколько раз, чтобы нашёлся нужный фрагмент, и потом ещё сверять нумерацию домов, чтобы убедиться, что идёт она в верном направлении, а не развернулась случайно обратно, пока ловила и удерживала карту.

Ветер был не то чтобы сильный, и даже наоборот, его лёгкие порывы приятно холодили кожу, разогретую уже почти по-летнему жарким солнцем, и, если бы не вечно норовящая выскользнуть из пальцев карта, Катерина бы даже получила удовольствие от этой короткой, в сущности, прогулки, но карта была, и надо было идти, поэтому она шла и сражалась с картой и ветром и снова шла, свернуть за угол, так, осталось совсем чуть-чуть.

За углом были цветы, неожиданно много, пёстро, душисто и сладко, Татьяна едва не задохнулась, угодив носом в огромный, выше её головы, цветущий куст, усыпанный белыми и лиловыми шарами соцветий, но устоять на ногах сумела и карту из рук не выпустила, сложила, как получилось, бесконечная гармоника развёрнутой бумаги у неё никогда не складывалась обратно по тем линиям и направлениям сгибов, что присутствовали в ней изначально, но сложить её всё-таки удалось, и Алла прижала пухлый невесомый ворох бумаги к своей груди, чтобы её не зацепили и не порвали ветки.

Выбравшись, наконец, из цветущих кустов,

Виолетта тщательно отряхнула одежду и осмотрелась, снаружи цветы гораздо больше, чем изнутри походили на аккуратный городской треугольник озеленения на случайно уцелевшем клочке земли, не закатанном в бетон и пластик, и теперь стало очевидно, что вломилась она в эту невыносимую сладость не потому, что цветы поджидали её прямо за углом, как банда нахальных и ловких детишек, а потому, что шла Анна, уткнувшись носом в карту, сама не заметила, как угодила в кусты.

Алла развернула карту, встряхнула, расправила и довольно долго крутила в руках, пытаясь сообразить, с какой стороны она пришла, из какого из многочисленных переулков вынырнула и куда ей теперь следует идти, девушка, раздалось у неё над самым ухом, девушка, смотрите, у меня есть то, что просто обязано вам подойти!

Дальше на Полину надевали какое-то бесконечное платье, синее и зелёное и всё в чайных розах, карту она по-прежнему держала в руках и платье не надевалось, пока кто-то не выхватил карту у Карины из рук, ничего-ничего, убеждал её выхвативший, не волнуйтесь, она никуда не улетит, я сейчас вот тут её камешком, камешком её придавлю и она нам будет лежать смирно, и всё у нас получится сразу, и действительно: платье, наконец, закончилось и Алевтину подвели к зеркалу, почти полностью заклеенному какими-то старыми афишами и рекламными объявлениями о сдаче комнат и прогульщиках собак, так что рассмотреть в нём она могла только краешек подола и что-то в середине, кажется, это был рукав.

Ангелина вдохнула, покрутила плечами и головой, осматривая себя настолько, насколько это возможно без зеркала, впрочем, и без зеркала было очевидно, что платье Валентине совершенно не шло, этому платью требовался могучий торс и необъятный пышный бюст, которых у Василины отродясь не водилось, поэтому вырез декольте болтался где-то в районе её пупка. Книзу платье сужалось так, что невозможно было сделать ни шагу, и поворачиваться тоже, пожалуй, не стоило, подумала Дарья, услышав характерный треск

рвущейся ткани где-то пониже пояса, и на неё тут же со всех сторон налетели участливые руки, высвободили её из платья с торжествующими восклицаниями, ну что, девушка, хорошее же платье, очень вам идёт, берём, а? берём?

Зинаида молчала, ей было неловко за порванное платье, острого желания немедленно расстаться с последними деньгами в обмен на ненужную испорченную вещь она не испытывала, но почему-то возразить ничего не могла, пухлый пакет с платьем всучили ей в руки, пришлось доставать кошелёк и выгребать оттуда всё, что было, ой, воскликнула пожилая дама, всплеснув руками (кажется, она была одной из продавщиц), ой, девушка, так вы же остались без копейки, как же вы теперь, а, ничего, сказала Ксения, ничего страшного, я как-нибудь, да как же, продолжала возражать дама, куда же вы теперь, одна в незнакомом городе, да ещё и в чужой стране, у меня карта есть, вспомнила Оксана, где моя карта, куда вы тут её положили, давайте её сюда, ничего, повторяла пожилая дама, ничего-ничего, и Олеся заметила, что на даме надето точно такое же платье, как всучили ей, но у дамы был и бюст, и фигура, платье сидело на ней хорошо и уютно, как на любимой бабушке, она очень похожа на мою бабушку, подумала Маргарита, бабушку, бабушку, пойдёмте же, пойдёмте скорее, участливо говорила дама, увлекая Регину за собой вниз по широкой улице, пойдёмте, я отведу вас в шелтер, в шелтере безопасно, можно переночевать и покушать, и никто с вас ничего не спросит, вот увидите сами, вы, наверное, и языка-то не знаете, раз вам в голову ни одно икскьюзми не пришло, когда мы с вами заговорили, Нина шла за дамой, словно во сне, одной рукой прижимала к груди пакет с платьем, другой пыталась обшарить собственные многочисленные карманы – карта, карта, у неё же точно была карта.

Улица незаметно сужалась, так, что в конце им пришлось почти протискиваться между домов, и в дверь, ведущую в длинное серое здание без окон они проходили по очереди, внутри оказалось неожиданно светло и прохладно, коридоры чем-то напоминали больничные – узкие, наполовину выкрашенные невнятной краской, с

пластиковыми корытцами сидений вдоль стен, многие были пустыми, на некоторых сидели люди и по очереди заходили в высокие створчатые двери, Анастасия пыталась заглянуть внутрь, пока они шли мимо, но каждый раз кто-то загораживал ей обзор, и ничего видно не было, привет, сказал ей кто-то, и она остановилась, посмотрела вниз, на пластиковом сиденье, поджав ноги под себя, сидела женщина, про которую её бабушка – бабушка, бабушка! – сказала бы «юродивая», Наталья же была современным образованным человеком и знала, что юродивых не бывает, а просто у этой женщины психическая болезнь, или даже, возможно, несколько, так часто бывает, привет, сказала юродивая, привет, ты с нами, а как тебя зовут, Инесса, сказала Раиса и зачем-то повторила, меня зовут Таисия, меня зовут, конечно, тебя зовут, утешительно сказала ей бабушка, это твоя очередь подошла, видишь, там храпят, громким шёпотом сказала юродивая, я знаю, я слышала, там храпят, не представляю, как ты сможешь там заснуть. За дверью была комната с кроватями, длинные ряды кроватей, уходящие в темноту, как в детском саду, нет, сказала Ульяна, отступая от двери вглубь коридора, нет-нет, я не смогу так спать, извините, икскьюзми, у меня же квартира, отдельная, я договорилась снимать, икскьюзми, у меня важная встреча, спасибо, спасибо, мне пора, развернулась и пошла по коридору быстрым шагом, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не сорваться на бег.

Вышла из другой какой-то двери на незнакомую улицу, но табличка с названием – вот она, на углу, и осталось всего лишь перейти дорогу и немного пройти влево по той самой улице, к которой она шла, и нужный дом с её будущим апартментом оказался именно там, где ему и положено было быть, добралась, сумела даже и без карты, главное, чтобы менеджер ещё не ушёл, не устал меня ждать, пока я тут со всеми разбиралась, оу, сказала менеджер, впуская Эвелину в квартиру, больше похожую на кухонный шкаф-пенал, чем на квартиру, смотрите, как тут просторно, и пожарная лестница прямо за вашим окном, это очень удобно, я понимаю так, что вам теперь нечем платить, но это не страшно, у нас есть работа танцующей официантки, и

нам всегда нужны таланты, мы в постоянном поиске, о, да, откуда вы знаете про деньги, упавшим голосом спросила Юлия, что здесь вообще происходит, нет-нет, вы не подумайте ничего такого, сказала менеджер, делая в воздухе успокаивающие жесты руками, это не то, что вы наверняка подумали, у нас тематический ресторан для детей и родителей, весь обслуживающий персонал в костюмах и играет роли сказочных персонажей мультфильмов, они всегда веселятся и танцуют, такая у них счастливая, беззаботная жизнь, но это же ещё хуже, срывающимся голосом сказала Ярина, нет, нет, уж лучше бы другая категория танцующей официантки, та, про которую вы зачем-то не хотите говорить, морочите мне голову, где моя карта, я пришла не туда, я точно знаю, выпустите меня отсюда, ну что вы истерите, гражданочка, сказал строгий мужской голос у неё за спиной, не надо истерить, нам знаете сколько таких приходится каждый момент, и мы же ничего, не орём, привыкли, и вы привыкнете, к чему, тупо и тихо переспросила она, совершенно уже без сил, к чему я привыкну, ну так вы же умерли, охотно подсказала менеджер, вам что, никто ничего не объяснил, как умерла, сказала она, куда умерла, что за бред, ну, сказал рассудительный голос за её спиной, вы же имени-то своего не помните, хотя уже весь алфавит перебрали, весь да не весь, завела юродивая откуда-то слева, весь да не весь, это не важно, сказал рассудительный, вы не волнуйтесь, мы всё понимаем, смерть дело такое, какая смерть, одними губами проговорила она, набрала в лёгкие побольше воздуха и заорала: какая смерть! Я не собиралась умирать! Не думала даже!! Конечно же, я помню своё имя, меня зовут! (а вот и не весь, а вот и не весь, а вот и не весь, бесконечной заевшей пластинкой повторяла юродивая) Меня зовут! Пётр Борисович!! Мне сорок три года, и это не моя смерть!

. . .

Громкий настойчивый стук в дверь разбудил её задолго до рассвета. Три часа утра, машинально подумала она, вставая с кровати и нашаривая ногами тёплые домашние туфли, три с четвертью. В дверь продолжали стучать.

– Дона Мария! Донамария, донамария, откройте, умоляю, откройте скорее!

– Что случилось, – строгим голосом сказала дона Мария, приоткрывая дверь на цепочке.

– Беда, дона Мария! Беда с моим мальчиком, с моим Хуанито, беда!

Дона Мария узнала, наконец, соседку Розалию – босую, простоволосую, в куртке, накинутой прямо поверх ночной сорочки, – и решительно открыла дверь, но соседка внутрь заходить не стала, схватила дону Марию за руку, стала тянуть наружу.

– Пойдёмте скорее, дона Мария, умоляю вас, прошу! Мой Хуанито лежит, беленький весь и не дышит, не дышит сокровище моё, помогите, донамария, умоляю, помогите!

– Так, – сказала дона Мария, снимая пальто с крючка возле двери и высвобождая руку из цепких соседкиных пальцев, – рассказывай по порядку, что произошло.

– Я проснулась ночью, – затараторила соседка, – проснулась ночью, потому что в это время Хуанито всегда просыпается покушать, и кряхтит, пока я не проснусь, так я уже привыкла, всего-то три дня, а уже привыкла, и просыпаюсь всегда сама, вот как закряхтит тут же просыпаюсь, а тут проснулась и поняла, что не кряхтит! Не кряхтит мальчик мой, и лежит в колясочке неподвижно, и не дышит!! Я Эурисио растолкала, велела собираться за врачом, а сама тут же к вам! Ай, дона Мария, что же делать, горе-то какое, что же теперь с нами будет!

– Не кричи, – сказала дона Мария, – всех соседей перебудишь, решат, что пожар, спокойно подумать не дадут.

– Ага, – сказала дона Мария, когда они подошли к соседкиной калитке, и ловко ухватила Эурисио, только что вышедшего из дома, за локоть, – ты погоди за доктором-то. Рано ещё, доктор спит.

Дона Мария первой вошла в дом и направилась прямиком в спальню, притихшие соседи за ней. На

пороге дона Мария окинула комнату внимательным взглядом.

– Так, – сказала дона Мария, – ты, Эурисио, неси настольную лампу из кабинета, а ты, Розалия, окна шторами поплотней закрой. Никуда не ушёл ещё ваш малыш. Как, говоришь, его зовут?

– Хуанито, – сказала соседка и всхлипнула.

– Хуанито, – задумчиво повторила дона Мария. – Нет, не пойдёт. Записали уже мальчика-то?

– Нет, дона Мария, – сказал Эурисио, вернувшийся с лампой. – Крестины в субботу.

Дона Мария взяла лампу, подняла повыше над колясочкой с неподвижным младенцем и кивнула Эурисио, что можно включать. Вспыхнул яркий свет, и дона Мария опустила лампу ниже, направив её свет прямо младенцу в глаза.

– Эй, – сказала дона Мария, – эй, возвращайся, слышишь. Возвращайся, здесь тебя ждут.

Какое-то время ничего не происходило: дона Мария неподвижно стояла над колясочкой и светила лампой младенцу в глаза, Розалия и Эурисио замерли, кто где стоял, боялись шелохнуться и даже вдохнуть. Наконец, по комнате словно бы пробежал лёгкий ветерок, и всё разом переменилось: младенец завозился, закряхтел, захныкал, Розалия всплеснула руками, кинулась к колясочке, бормоча что-то ласковое и утешительное, дона Мария отдала лампу Эурисио и потёрла поясницу.

– Смотрите только, – подняв палец, сказала дона Мария Розалии, прижимающей живого и недовольного младенца к груди, и Эурисио, точно так же прижимающего к груди лампу, – чтоб мне никому ни слова! А то ещё не хватало.

– Конечно-конечно, мы никому, дона Мария, вот ни единой душе, Пресвятой Девой клянусь, спасительница вы наша, никому, – запричитала Розалия.

Дона Мария покивала, ещё раз погрозила пальцем обоим супругам, развернулась и вышла из комнаты –

домой, спать.

– Дона Мария, – Эурисио нагнал её на самом пороге. – Дона Мария, как же нам младенца-то теперь крестить, каким таким именем?

– Хм, – сказала дона Мария, – Хммм.

Вернулась в дом, снова поднялась в спальню, взглянула успокоившемуся младенцу в лицо.

– Звать его Педро, – наконец сказала дона Мария. – Педро Бьенвенидо, пусть так и запишут.

Требуется ночной почтальон

Первый раз он увидел это объявление на лавочке возле подъезда, оно было написано белым мелом прямо поверх облупившейся тёмно-зелёной краски, он даже подошёл и проверил –действительно, мел; надо, наверное, сделать что-нибудь, подумал он неуверенно, кто-нибудь не заметит, сядет на лавочку, испачкает всю одежду, нехорошо, но прежде, чем он успел додумать эту мысль, к лавочке подошли трое рабочих в заляпанных краской оранжевых жилетах и принялись перекрашивать лавочку в синий прямо у него на глазах. Пока он пытался сообразить, что делать дальше, рабочие успели полностью покрасить лавочку в два слоя и прилепить сверху лист принтерной бумаги, на котором не самым крупным шрифтом было напечатано «осторожно, окрашено!» и больше никаких следов странного объявления мелом не осталось. Кроме текста в объявлении ещё значился номер телефона, но он его, конечно же, не запомнил, да и зачем ему было запоминать какой-то номер, ему не нужна работа, он вообще шёл в булочную за сигаретами и пакетом молока к утреннему кофе, пока чья-то дурацкая шутка не сбила все его мысли в вязкий, пахнущий дешёвой масляной краской ком.

Потоптавшись у подъезда ещё немного, он развернулся и пошёл обратно, поднялся на свой четвёртый этаж, включил чайник, настольную лампу, телевизор и радио, когда чайник вскипел заварил себе лапшу и пакетик липтона, достал сигарету, но отвлёкся на проснувшийся компьютер и так до вечера больше ни о чём не думал и не вспоминал.

Наутро ему надо было ехать в офис, получать зарплату и новое тз, почему-то начальство всегда настаивало на его личном присутствии, хотя он каждый раз, терпеливо выслушав требования очередного клиента в пересказе рассеянного офис-менеджера, просил перевести гонорар на карту и переслать тз заказчика ему по электронной почте. Тз ему пересылали, но деньги всегда выносили в мятом конверте, и ему приходилось долго и мучительно скармливать банкноты

чуть ли не по одной капризному банкомату в пустынном ледяном фойе бизнес-центра – там он и увидел это объявление второй раз, оно появилось прямо на приветственном экране банкомата ещё до того, как он успел поднести к нему свою карточку, повисело задумчиво несколько секунд, мерцая курсором, сменилось на «введите пин-код», как только его карточка оказалась в достаточной для считывания близости.

Текст объявления был точно таким же, как тогда на скамейке, номер телефона он не то, что запомнить – даже рассмотреть не успел. Провозившись с банкоматом около пятнадцати минут, он нажал на клавишу «вернуть карту» и ещё какое-то время не отрываясь смотрел на экран – на тот случай, если объявление появится ещё раз, но никакого объявления на экране не возникло, только банкомат запищал тревожное требование забрать карту, иначе она будет заблокирована.

Он вышел из бизнес-центра в душный влажный воздух, обещали дождь, но пока что небо было затянуто полупрозрачной серой плёнкой, через которую тускло просвечивало, после сухого кондиционированного воздуха внутри здания снаружи было почти невозможно дышать и казалось, что солнце спустилось гораздо ниже, пристально вглядываясь и не узнавая привычной картины под мутной пеленой облаков, хорошо, что здесь метро рядом, подумал он, почти бегом пересекая большую красивую площадь с клумбами и киосками и скрываясь от беспощадной солнечной мари в подземном переходе.

В метро было прохладно и гулко и он опять увидел то же самое объявление, пока ехал на эскалаторе вниз, оно было в газете, которую читал едущий ему навстречу человек, только так не бывает, объявления никогда не печатают на обложке газеты большими белыми буквами по вытертому красному фону, это же разориться можно так, впрочем, государственное предприятие, могут себе позволить, наверное, неуверенно думал он, оглядываясь через плечо назад и вверх, но того человека с газетой уже не было видно в толпе.

Это какая-то дикая совершенно маркетинговая компания, думал он, покачиваясь вместе с остальным вагоном и в упор рассматривая текст того же самого объявления, небрежно написанный чёрным маркером прямо на аккуратном чистеньком розовом рюкзачке девушки, стоявшей прямо перед ним. Никакой логики и смысла в расположении и способе подачи этих объявлений он не видел, но и особо удивлён не был – не понаслышке знал, что маркетологи всегда ищут новые способы донести информацию до целевой аудитории, возможно, таким образом решили протестировать новый подход. Он поднял было руку, чтобы дотронуться до плеча девушки и расспросить её об объявлении подробнее, если она, конечно, вообще была в курсе, возможно, надпись на её рюкзаке сделал кто-то другой, тот, кто стоял за её спиной в этом же вагоне до того, как он в него вошёл; он быстрым взглядом окинул вагон, но никто не смотрел в его сторону и никто не обращал внимания на неуместную надпись на рюкзаке девушки. Наконец, решившись, он повернулся обратно к ней, но успел только заметить её спину и рюкзак, мелькнувший среди других пассажиров на платформе, когда поезд опять начал набирать ход, теперь перед ним стоял кто-то в невнятной серой рубашке, и никаких надписей на нём не было, он на всякий случай проверил.

Ещё это могут быть галлюцинации от жары, думал он, лёжа дома на диване с мокрым холодным компрессом на пол-лица, было бы неудивительно, сосуды, сидячая работа, вот это вот всё, надо собрать волю в кулак и встать хотя бы открыть новый заказ, прикинуть, сколько ещё можно не дёргаться, или вот в булочную выйти, вчера же так и не сходил, даже кофе почти закончился; мысли проворачивались с трудом, как застрявший в мясорубке хрящ, когда мама лепила пельмени, а он помогал, в потолок светило солнце, голове было прохладно и наконец-то хорошо; сам не заметил, как заснул.

Проснулся в полной темноте, стянул высохшую тряпку с лица и долго моргал, пытаясь понять, где он и что происходит, под окнами проехала машина, на несколько секунд осветила фарами часть стены и

потолок, он сориентировался и медленно встал с дивана, подошёл к окну. Похоже на то, что обещанный дождь прошёл, пока он спал, но желанного облегчения не принёс. Он высунулся из окна по пояс в тропическую влажную ночь и ощутил на лице небольшой ветерок, лучше, чем ничего, подумал он, надо выйти, пройтись, иначе всю ночь так и буду ворочаться с боку на бок и ни работать, ни спать не смогу.

Нашарил на столе почти разрядившийся телефон, посмотрел время, оказалось позже, чем он думал, почти час ночи, всё уже закрыто, значит, идти в круглосуточный через дворы и дальний парк, нормальная получится прогулка, как раз или устану, или окончательно проснусь и можно будет поработать.

Снаружи ему действительно стало легче и даже появилась какая-то странная бодрость, будто бы отделённая от тела и плывущая в воздухе немного впереди и выше него, идти было легко, ноги сами сворачивали с дорожки на дорожку, это я не просто так без дела шляюсь, зачем-то подумал он, это я иду к супермаркету таким причудливым извилистым маршрутом, которым никогда прежде не ходил.

Бледный синеватый свет он заметил издалека. Свет сочился сквозь невысокие деревья и густые кусты почти точь-в-точь как в «секретных материалах», и он немедленно обрадовался предстоящей возможности вывести на чистую воду предполагаемых инопланетян, правда, когда подошёл ближе и понял, где находится, оказалось, что светится всего-навсего стеклянный фасад здания почты, а не истина, которую, кажется, так и не сумели отыскать бравые агенты фбр.

Внутри почты было пусто и темно, свет исходил только от экранов в глубине торгового зала – днём они работали экранами электронной очереди, поэтому были большими и яркими, чтобы видно было всем, а на ночь их, оказывается, не выключали, возможно, почтовым работникам было лень каждый раз тянуться под потолок, или же выключение экранов было вовсе не предусмотрено в системе электронной очереди, а пустые невыносимо синие экраны в ней считались за спящий режим.

Он прошёлся вдоль всего фасада сперва в одну, потом в другую сторону, внутри было по-прежнему тихо, пусто и бездвижно, синий свет экранов раздражал глаза и он решил обойти здание почты по кругу, хотя, насколько он знал, никаких дверей там сзади не было, только окошки для погрузки и разгрузки почты, но это же логично, думал он, сворачивая за угол, если требуется ночной почтальон, то, вероятно, работают они из этого же здания, или нет? В погрузочном окошке посылочного отделения горел яркий электрический свет, обыкновенный жёлтый, он осторожно заглянул внутрь, там пахло пылью и пластиком и не было ни души.

Он завершил свой обход и снова вернулся к фасаду, к той двери, за которой светились синие экраны, и совершенно не удивился тому, что его там уже ждал сотрудник в фирменном синем почтовом жилете, приготовился объяснить, что он тут делает в такой час, доброй ночи, вы по объявлению, сказал сотрудник утвердительным тоном, проходите, мы вас ждём.

Сотрудник открыл дверь и протянул ему бейджик на синем шнурке, он автоматически схватил его и переступил порог. Внутри горел свет, ходили туда-сюда люди в форменной одежде, перетаскивали какие-то ящики, коробки и пакеты, через весь торговый зал извивающейся змеёй бежала лента транспортера, на столах, которые днём использовали посетители для заполнения конвертов и бланков, лежали аккуратные стопки писем и бумаг, на синих экранах вспыхивали и исчезали какие-то непонятные цифро-буквенные обозначения, мы работаем прямо здесь, пояснил встретивший его сотрудник, так гораздо удобнее, это стало возможным после того, как автоматизировали процесс возвратов и нам больше не нужно принимать клиентов внутри, из задней комнаты уж очень неудобно выходить, вы проходите, не робейте, вот туда дальше по коридору, Анна вас уже ждёт, вон она, рукой машет, она вам всё объяснит, а как же собеседование, спросил он, но встретивший его сотрудник уже куда-то убежал, до Анны он ещё не дошёл, так что вопрос его повис в воздухе, растворился в гуле голосов переговаривающихся между собой сотрудников и ему не

оставалось ничего другого, кроме как подойти к улыбающейся Анне.

Анна плавно взмахнула пухлой рукой, приглашая его следовать за ней, повернулась и неторопливо пошла вглубь здания по коридору, что-то рассказывая ему на ходу, сначала он не мог ничего расслышать из-за шума голосов и звуков транспортера в торговом зале, но постепенно звуки стали тише, быстро освоитесь, говорила Анна, тут ничего сложного в самом деле нет, работа у нас надёжная и платят хорошо, лучше, чем у нас вы точно не найдёте, вы, конечно, вольны на какое-то время оставаться на вашей прежней работе, никто не будет требовать от вас непременно её бросить, можете даже вообще не бросать, но у нас почти все в конечном итоге старую работу бросают – быстро становится неинтересно, да и потом, многие из нас работают тут и днём, мы с вами наверняка встречались уже, днём я работаю в посылочном, на выдаче, он шёл вслед за Анной, слушал её голос, это был странный голос, я бы, наверное, такой запомнил, думал он, вряд ли мы с ней встречались, я бы узнал, ничего страшного, говорила Анна, не переживайте, если не вспомните, ночных сотрудников в дневную смену довольно сложно узнать, я поначалу вообще никого не узнавала, но это со временем приходит, с привычкой и практикой смотреть на людей, ну вот, мы пришли, наверняка у вас много вопросов, садитесь, сейчас я вам всё расскажу.

Анна привела его в маленькую подсобку, под самый потолок заставленную старыми растрескавшимися картонными коробками с кучей марок и почтовых штемпелей, это невостребованные, сказала Анна, мы их каждый день отправляем в главное отделение, но по инструкции срок хранения очень большой, их могут востребовать и через несколько лет, бывает такое, так что мы отсылаем только самые старые, когда окончательно срок хранения истечёт, ну, вам понятнее станет, когда инструкцию прочитаете, очень простым написана языком и не оставляет никаких вопросов, а как же собеседование, спросил он, ну вы же по объявлению пришли, сказала Анна, значит, вы нам уже подходите, если бы не подходили, то никаких

объявлений не увидели бы, я номер телефона не запомнил, сказал он честно, и вообще не собирался звонить, так у нас и нет его, сказала Анна, телефона-то.

Как нет, спросил он, а зачем тогда номер в объявлении, ну как, сказала Анна, в объявлениях обязательно должен быть номер телефона, иначе непонятно будет, что это объявление, а не просто так надпись, вот и телефон, но вообще все к нам сами приходят обычно, вам ещё повезло, что ваше ближайшее отделение оказалось ночным, некоторым приходится в соседний район пешком идти, потом, конечно, все транспорт получают вместе с правами ночного почтальона, так что нормально всё складывается, ну, сами увидите, когда тут у нас немного освоитесь, а я освоюсь, спросил он, освоитесь, конечно, Анна засмеялась тонким мелодичным смехом и опять плавно взмахнула рукой, вы читайте инструкцию, не торопитесь, я вам сейчас кофе сварю, а если у вас ещё какие-то вопросы будут потом, то я обязательно вам помогу.

Инструкция действительно оказалась очень простой.

Анна вернулась с кофе, когда он дочитывал предпоследнюю страницу, уточнила его размер одежды и снова скрылась в коридоре; он прочитал последнее предложение, перевернул тонкую брошюрку, чтобы убедиться, что сзади на обложке не осталось никакой полезной информации, но там на синем фоне светился фирменный знак ночной почтовой службы и больше ничего не было. Анна принесла ему комплект почтовой формы и фирменную сумку, первые несколько смен отработаете поблизости, сказала она, постепенно, чтобы привыкнуть, мы на всякий случай всегда говорим, что вы можете отказаться, если работа вас чем-то не устроит, хотя не отказывался ещё никто, у нас отличный кадровый отдел.

Анна забрала у него инструкцию и вышла из комнаты, чтобы он мог переодеться, потом провела его обратно по коридору в комнату для сотрудников, где

стояли железные шкафчики для одежды и был оборудован небольшой кухонный уголок с чайником, кофеваркой и микроволновкой, свою одежду он оставил в одном из шкафчиков, запомните номер, сказала Анна, постучав ногтем по табличке, на которой были написаны буквы и цифры, похожие на те, что вспыхивали и гасли на синих экранах, это ваш номер сотрудника, на него вы будете получать всю почту для доставки, зарплату и особые поручения, ни цифры, ни буквы не вызвали у него никаких ассоциаций, но запомнил он их на удивление легко.

Сегодня у вас первая смена, всего три доставки и все рядом, обернётесь в момент, сами не заметите, как рабочая ночь подойдёт к концу, он кивнул и пошёл вслед за Анной обратно в торговый зал, подошёл к ленте транспортера и стал ждать, пока среди пакетов и коробок не покажутся маркированные его номером, их действительно было три: невесомый и очень объёмный пухлый пакет и две почтовые коробки, одна совсем маленькая, другая немного побольше, коробки он сложил в сумку, пакет понёс прямо в руках, на ходу читая адрес, не забудьте бейджик, донёсся до него голос Анны, он обернулся, взял у неё бейджик и повесил на шею, не теряйте, сказала Анна, без него к нам так просто не зайти, конечно, спасибо, сказал он и вышел на улицу.

Снаружи в голове у него немного прояснилось, или, возможно, наоборот затуманилось, подумал он, разглядывая тёмный и пустой торговый зал и сияющие синим экраны через толстое двойное стекло фасада, на всякий случай он решил проверить и потянул входную дверь на себя. Дверь легко открылась, он шагнул за порог и снова оказался в шумной переполненной операционной ночной почтовой службы, что-то забыли, любезно спросил его давешний сотрудник, как раз проходивший мимо, он отрицательно помотал головой и снова сделал шаг к выходу, это нормально, сказал сотрудник, вы не переживайте, поначалу всем странно, но вы же читали инструкцию, смежные пространства, там всё понятно объяснено. Да, конечно, сказал он, просто не укладывается в голове, сложно привыкнуть, ничего, привыкнете, сказал сотрудник, только бейджик не

забывайте на смену брать, иначе придётся ждать, пока вам кто-нибудь дверь откроет, не забуду, спасибо, сказал он, быстрых доставок, сказал сотрудник ему вслед, и, может быть, что-то ещё, но дверь уже закрылась и он больше ничего не услышал.

Он немного постоял возле почты, перечитал адрес на пакете, подсвечивая себе телефоном, открыл почтовое приложение с картами и пошёл по проложенному маршруту, периодически сверяясь, чтобы не перепутать номер дома и улицу. Адрес на пакете был самой обычной квартирой в панельной многоэтажке, мало чем отличающейся от той, в которой жил он сам, смежные пространства, вспомнил он и позвонил в домофон, трубку сняли почти сразу, ночной почтальон, сказал он, разрешите войти, разрешаю, проскрипел домофон неопределённым голосом и тут же запищал сигнал открываемой двери, смежные пространства, напомнил себе он, зайдя в подъезд и аккуратно закрыв за собой дверь.

Поднимался на шестой этаж пешком, согласно инструкции, на площадке перед квартирами ещё раз сверил номер с адресом на пакете и нажал кнопку звонка, в глубине квартиры зашуршало, закряхтело и завозилось, через несколько долгих секунд ключ повернулся в замке и дверь распахнулась. На пороге стоял небритый человек в вытянутой драной майке когда-то белого цвета, спортивных штанах и тапочках, пристально рассматривать адресата и задавать личные вопросы не рекомендуется, вовремя вспомнил он и поспешно протянул человеку пакет, без примерки, сказал человек тем же неопределённым скрипучим голосом, ловко вскрыл пакет длинным и острым ногтем, вытряхнул его содержимое – белое тюлевое свадебное платье – прямо на пол, аккуратно сложил пакет в несколько раз и протянул его обратно; он взял у адресата пакет, положил в сумку, достал планшет с бумагами и протянул адресату на подпись, тот подписал размашисто и не глядя, тем же острым ногтем, которым вскрывал пакет, приятного воплощения, сказал он, пряча планшет в сумку, спасибо, проскрипел адресат, я там ненадолго, увидимся ещё, до свидания, вежливо сказал он и вышел из квартиры.

Следующий адрес был на той же улице, всего через два дома, и этаж третий, удобно, хотя и на шестой подниматься было гораздо легче, чем он помнил, смежные пространства – отличная вещь, подумал он, так вот привыкну, потом через обычные вовсе не захочется ходить. Дверь в подъезд была приоткрыта, так что он не стал звонить в домофон, поднялся сразу в квартиру и позвонил в звонок, за дверью не было слышно ни звука, ночной почтальон, сказал он негромко, чтобы не разбудить соседей, разрешите войти, разрешаю, ответили ему вместе с беззвучно распахнувшейся дверью, сперва ему показалось, что в квартире никого нет, но потом он опустил взгляд и увидел маленькую девочку, строго смотревшую на него снизу вверх, извините, пробормотал он, отчего-то смутившись, протянул девочке коробку, но взять её она не успела, коробку из его рук выхватила непонятно откуда появившаяся старушка, чересчур резвая для своих предполагаемых лет, старушка взвизгнула, подпрыгнула и завертелась на месте, ура, кричала она, ура, наконец-то, с примеркой, с примеркой мы, чур, я первая, чур, моя! Старушка вскрыла коробку, не прекращая прыгать, тут же остановилась, застыла неподвижно, восхищённо глядя внутрь, такое всё прекрасное, бормотала она себе под нос, такое восхитительное, как тут выбрать, ты же дашь мне примерить свою, не дам, строго сказала девочка, моя без примерки, давай сюда, и чур, не хитрить, как в прошлый раз, и ничего я не хитрила, сказала старушка, это ты перепутала и сама забыла всё!

Старушка поставила коробку на пол и села перед ней на корточки, долго водила в ней пальцем, перебирала содержимое, почти решалась что-то достать и тут же отдёргивала руку и громко вздыхала, вот она вечно так, доверительно сказала ему девочка, уйма времени пройдёт, пока выберет, хоть без неё уходи, и уходи, сказала старушка, не больно-то и нужно, подумаешь, не пойду я одна, мягко напомнила ей девочка, мы же уже пробовали так, нам не понравилось, забыла, вот эта, сказала старушка, победоносно выдернув руку из коробки, то есть, эта или эта, сейчас примерю и скажу. Старушка метнулась к зеркалу,

подбросила что-то маленькое вверх над головой и исчезла, точнее, ему показалось, что она исчезла, потому что перед зеркалом на её месте стояла стройная девушка в длинном коктейльном платье и с небольшой изящной диадемой в собранных в высокую укладку волосах, кажется, это какая-то принцесса, сказала девушка старушкиным голосом, не думаю, что мне это так уж понравится, нет, – девушка исчезла, появилась старушка, мигнула и снова исчезла и перед зеркалом уже крутился мужчина неопределённого возраста в деловом костюме, критически рассматривая себя со всех сторон.

От этого мельтешения у него зарябило в глазах и сжало виски, он поморщился и попытался незаметно потереть переносицу, новенький, сочувственно спросила девочка, это ничего, привыкнете, отличная у ваших работа, я сама пробовала, знаю, что говорю, нет, сказал мужчина перед зеркалом старушкиным голосом, нет, этот мне тоже не нравится, зачем я его выбирала вообще, попробуй вот эту, сказала девочка, протягивая ей другую пуговицу из почтовой коробки, мне кажется, тебе понравится, мужчина, то есть, уже снова старушка схватила пуговицу и решительно подбросила её над своей головой, ой, сказала она растерянно, но эту же ты хотела, но мне так нравится, так нравится, это вот ровно то, что нужно, ура!

Он не стал смотреть, во что на этот раз превратилась старушка – вовремя вспомнил нужный пункт инструкции, закрыл глаза и принялся двигать ими в разные стороны под плотно сомкнутыми веками, голову почти сразу отпустило, и он с облегчением вдохнул, мы берём вот эти две, сказала девочка, остальное возврат, у вас должна быть форма, посмотрите. Он послушно достал из сумки планшет, перебрал прикреплённые к нему листы бумаги, нашёл нужный и протянул девочке, она быстро заполнила форму, поставила подпись и вернула ему вместе с коробкой, в которой лежали шесть оставшихся разноцветных пуговиц. Он тщательно пересчитал пуговицы, сверил с описью, закрыл коробку, всё в порядке, сказал он, приятного воплощения, и вам, и вам, сказала старушка, немного подпрыгивая на одной ноге, спасибо за утраченное

время, я правильно сказала, почти, сказала девочка, почти, до свидания, сказал он и вышел.

Возвраты имели первоочерёдную важность, поэтому он пошёл обратно на почту, вошёл в тёмный торговый зал с синими мониторами, в ярко освещённую операционную ночной почтовой службы, пристроился сбоку, возле стойки, где нашлось свободное место, ещё раз пересчитал пуговицы, поставил в документах свою подпись и номер сотрудника, сложил всё в коробку, запечатал и поставил на ленту транспортера, ну, как дела, всё в порядке, спросила его Анна, привыкаете понемножку, кажется, да, ответил он, кажется, да, у вас последняя доставка на сегодня, сказала Анна, после неё можете сразу домой, сразу домой, подумал он, сразу домой, отлично, ура.

Он шёл по адресу на последней коробке, слабо представляя себе, где на этой улице находится этот дом, поэтому постоянно сверялся с почтовой программой, чтобы не свернуть не туда, сразу домой, думал он, кажется, да, сразу домой, почтовый навигатор провёл его мимо синей скамейки с надписью осторожно окрашено и вверх, на четвёртый этаж, сразу домой, подумал он и позвонил в дверь и открыл дверь, ночной почтальон, сказал он (сразу домой), разрешите войти, разрешаю, ответил он и вошёл в квартиру и тщательно закрыл за собой дверь.

Ну, что, сказал он, открывая коробку, без примерки, и так понятно же уже всё, кажется, да, сказал он, кажется, да; он достал из коробки пакет молока, пачку сигарет и упаковку молотого кофе, этот сорт лучше, сказал он, сам увидишь завтра, спасибо мне скажешь, ага, сказал он, спасибо, чего до завтра тянуть, вот ты мне только скажи, ты здесь специально, чтобы сказать мне, что пора просыпаться? Да ну, ерунда какая, сказал он уверенно, подписав нужную форму и убрав планшет и коробку обратно в сумку, сон – это было бы слишком неинтересно, давай лучше кофе выпьем, хочешь кофе, спросил он, кажется, да, сказал он.

Кажется, да.

ЗОЖ

Иван Дмитриевич идёт по проспекту в строгом демисезонном пальто цвета «небелёный лён», точнее, идёт Иван Дмитриевич по пешеходной части проспекта, бодрым шагом средней скорости он идёт, аккуратно лавируя между редкими прохожими и лужами и слегка покачивая кожаной деловой папкой для документов в такт шагам. Сам проспект стоит намертво, периодически переругиваясь исступлёнными автомобильными сигналами, и Иван Дмитриевич снова радуется своевременному решению отпустить собственный автомобиль и отправиться на деловую встречу пешком, Иван Дмитриевич – деловой человек, думает Иван Дмитриевич, продолжая идти по проспекту, Иван Дмитриевич во всём всегда сумеет найти выгоду и провернуть так, чтобы быть единственным, кто окажется в самой выигрышной позиции, это зож, думает Иван Дмитриевич, скажу им, что это зож, сейчас это в тренде, и любой уважающий себя бизнесмен просто не может не следовать этому тренду, поскольку здоровье важнее всего, да и день сегодня выдался солнечный, по-настоящему весенний, конечно, о свежем воздухе и речи быть не может, в городе его просто не бывает, но физическая нагрузка, дополнительное движение, приводящее седалищный нерв в естественное для него состояние, более гибкое и подвижное, чем оно обычно бывает у среднего офисного работника, да какой я, в задницу, средний, возмущённо думает Иван Дмитриевич, у меня бизнес и крупные представительства в пяти странах, я, можно сказать, одолжение делаю этим, которые наверняка меня уже ждут, потому что этикет требует учитывать время на пробки, и выехали они заранее, потому что им больше нечем заняться, а у меня был важный деловой звонок с Сингапуром, да – важный деловой звонок, Иван Дмитриевич согласно кивает сам себе и слегка ускоряет шаг, до назначенного времени осталось двадцать шесть минут и две трети этого бесконечного пробочного проспекта.

Удивительно, думает Иван Дмитриевич, как мало мы замечаем, когда всюду нас возит служебный автомобиль с водителем, сколько раз мы проезжали этот проспект во всех доступных направлениях, и никогда он

не казался таким изнуряюще бесконечным, и эти выхлопные газы и отсутствие кондиционера, это же совершенно невозможно дышать здесь, пожалуй, стоит углубиться в эту тему, выяснить, ведутся ли разработки, и непременно воплотить, это надо было десять лет назад делать, думает Иван Дмитриевич, тебе тогда предлагали как раз, но ты отмахнулся, сказал, бесперспективное, сказал, не вижу области применения, а вложился бы тогда – иметь бы тебе сейчас крупные представительства во всех странах без исключения, воздух, идеальный для прогулок и отсутствие пробок на дорогах, но вместо этого ты, Иван Дмитриевич, деловой человек, никогда не упускающий собственную выгоду, еле тащишься сейчас вдоль этого вонючего проспекта, морщишь своё породистое лицо и пыхтишь, как астматик, не пора ли в больничку, мм, проверить здоровьице на всякий случай, да заткнись ты, думает Иван Дмитриевич, ты кто вообще такой и откуда взялся, ну как кто, думает Иван Дмитриевич, я это я, я это ты это я это ты, какие ещё могут быть варианты, это у меня нервное, думает Иван Дмитриевич, необходим отпуск, что там у нас в Сингапуре, слетать на пару дней, полежать под пальмой, подышать свежим воздухом, напиться тропических коктейлей и прочей экзотики, вот где настоящий зож, а не эта ерунда, впрочем, этим я такого не скажу, конечно, не зря меня за глаза трендсеттером называют, не просто это, не просто так! Поэтому да, да, думает Иван Дмитриевич, да, здоровый образ жизни, пешие прогулки вместо автомобиля и небрежное как бы даже и не опоздание на деловую встречу, поскольку человек столь занятой, столь увлечённый здоровьем как стилем и образом жизни, просто не может тратить своё драгоценное внимание на подобные мелочи, что там до каких-то минут ожидания, что-то никак не заканчивается этот кошмарный проспект, может быть, я просто сплю, думает Иван Дмитриевич и потихоньку, незаметно, делая вид, что сверяет время, пребольно щиплет себя за кожу на запястье, прямо под дорогими часами патек-филип, и только каким-то чудом не роняет папку с документами в лужу, почти что подпрыгнув на месте от неожиданной боли, силушки-то у тебя, Иван Дмитриевич, ого-го, думает Иван Дмитриевич, потирая ущемлённое запястье и прибавляя шаг, времени до встречи всего ничего и

совсем уже будет некрасиво, если он опоздает на полчаса, никаким зожем не объяснить, а контракт-то предлагают неплохой, выгодный очень даже контракт, глупо было бы такой упустить, Иван Дмитриевич не упускает контрактов и возможностей, потому что Иван Дмитриевич – самый крупный специалист в своей области, мало кто может таким похвастаться, мало кто может его заменить, ну у тебя и каша в голове, думает Иван Дмитриевич, кто, блядь, здесь, думает Иван Дмитриевич, что, блядь, происходит и переходит на бег, хотя не помнит, когда последний раз бегал, трусцой или как-то ещё, Иван Дмитриевич бежит, ритмично взмахивая папкой для бумаг, усердно и слишком высоко задирая колени с непривычки, проспект по-прежнему бесконечен и полон гудящих, смердящих машин, ладно уж, с какой-то снисходительной – нет, не снисходительной, это Иван Дмитриевич часто бывает снисходителен, а Иван Дмитриевич сострадателен и полон непонятно откуда и как взявшейся нежности к этому нелепому всему, к самому себе, проспекту, пробке, лужам, городу и весне, нежность пузырится внутри, словно шампанское, которое как следует взболтали, Иван Дмитриевич раскидывает руки в стороны, крепко зажимая папку левой рукой, и, словно пробка из бутылки, взлетает ввысь, в голубое небо, в чистый воздух и солнечный свет.

Иван Дмитриевич летит над проспектом, недостаточно высоко, чтобы его можно было принять за голубя, но это и не важно, воздух здесь гораздо свежее, не нужно больше задирать колени к подбородку и астматически дышать, Иван Дмитриевич наклоняется вперёд, в ушах у него немного свистит и морозит, но не сильно, как раз, чтобы взбодриться, думает – впрочем, нет, Иван Дмитриевич не думает, он, если называть вещи своими именами, охуел и забился куда-то глубоко, приблизительно в область правой пятки, зажмурился и решил, что этого всего не бывает, Иван Дмитриевич ловко и точно направляет и корректирует свой полёт, слегка прибавляет скорость и уже через две минуты и двенадцать с половиной секунд красиво планирует к ресторану, делает круг над головами изумлённых деловых партнёров, расположившихся под прозрачной крышей летней террасы по случаю погожего весеннего дня, аккуратно приземляется возле столика,

изящным жестом откидывает прядь волос со лба и с благодушной улыбкой произносит:

– Это зож, господа! Если вы ещё не в курсе, то настоятельно, просто настоятельно рекомендую. Очень, знаете ли, для здоровья седалищного нерва полезно. И к тому же бодрит!

Совсем рядом

Шипение и треск, обязательно шипение и треск в самом начале, это такой стандарт и умолчание и непременно ожидаемо – настолько, что шипение и треск в самом начале просто не считываются, не обрабатываются мозгом в качестве поступающего сигнала, и нам кажется: щелчок включения, вязкая тишина и только потом начало записи. Многие пропускают шипение и треск в самом начале как нечто незначительное, не несущее в себе никакой смысловой нагрузки, но это настолько же далеко от правды, как и она сама.

Но расскажем по порядку.

Мы нашли это место случайно – хорошее начало этой истории, выглядит убедительно и немедленно захватывает и интригует, случайные совпадения щёлкают чем-то внутри многих из нас, и вот мы уже готовы замирать от ужаса предвосхищения восторга, ещё до того, как начнётся запись. Конечно же, на самом деле всё не так, и не потому, что ничего случайного в нашей находке не было вовсе – было, случайно: мы ничего не искали, не подозревали о существовании этого места, не ставили его целью или смыслом и не назначали поиском, мы просто шли по городу, возвращались откуда-то, сейчас уже не вспомнить, откуда точно, но собирались все вместе куда-то ещё, а не просто разойтись по домам, смотреть телевизор, спать. Нас было не очень много, стандартная компания плюс ещё кто-то прибившийся по дороге, возможно, мы что-то праздновали, но, скорее всего, ничего – просто был хороший вечер, дивная ночь, совершенно не хотелось расходиться как минимум до утра.

Кто-то из нас предложил пойти напрямик, через пустырь и стройку, кто-то возразил, что мы переломаем себе там все ноги по такой-то темноте – августовская ночь (кажется, это был август, впрочем, сейчас сложно сказать наверняка) выдалась на редкость тёмной, и в небе над нами гроздьями висели крупные налитые звёзды, даже несмотря на город и световое загрязнение небо выглядело так, словно никакого города вокруг не было совсем. Возможно, нам следовало бы уже тогда обратить внимание на это странное несоответствие:

оранжевый и зеленоватый фонарный свет рассеивался невысоко над нашими головами, освещал улицу небольшими островками, между которыми чернели бездонные провалы темноты. Но нам казалось, что ничего необычного не происходит: вот мы только что вышли из очередного тёмного участка под свет фонаря и все мы (да, все мы, каждый из нас) можем с уверенностью сказать, что никакого провала там не было, просто растрескавшийся асфальт и хрусткие сухие выгоревшие за лето каштановые листья.

Кто-то из нас возразил, что во-первых, не так уж и темно, вы посмотрите, какие звёзды и скоро, возможно, взойдёт луна, и во-вторых у нас у всех есть мобильники, а в них – фонарики и надежные батарейки, и ещё наверняка пауэрбанки почти у всех по привычке с собой. Мы ещё немного поспорили и пообсуждали, но уже свернули к пустырю, потому что так действительно выйдет быстрее, и нам всем уже очень хотелось поскорее дойти, несмотря на звёзды и красоту окружающего пространства, хотя сейчас уже никто из нас не помнит, почему.

Дорога через пустырь была довольно простой и знакомой: многие из нас часто ходили там днём, и наши ноги сами знали, где нужно свернуть и как точнее переступить, чтобы спокойно и уверенно пробираться вперёд по прерывистой тропинке, которой на пустыре быть не должно, но все, конечно же, знали, что она там есть, потому что пустырь всегда был самой короткой дорогой. Фонарики мы не включали, на пустыре было темно, но дорогу всё-таки видно, хотя, если задуматься, то не очень понятно, почему было так. Мы шли друг за другом, растянувшись свободной цепью, но не слишком далеко, и время от времени переговаривались, чтобы никого не потерять, подождать отставших, притормозить тех, кто ушёл слишком далеко вперёд.

Мы договорились, что включим фонарики на стройке, потому что стройки из нас почти никто не знал – днём там ходить проблематично из-за работающего оборудования, рабочих и прочей активной строительной деятельности, а ночью редко кому была нужна эта короткая дорога, хотя кто-то из нас утверждал, что пройти там можно и он сам уже не раз ходил, нормальная дорога, только немного пыльная. Но

фонарики были нужны, мы на этом все сошлись и согласились: стройка меняется каждый день и неизвестно, что там навалено грудами в темноте.

Это место сперва было похоже на самое обычное здание: невысокое, прямоугольное, мы даже подумали, что это времянка строительных рабочих или на скорую руку сколоченный склад, но здание было слишком плотным и прочным и не оставляло впечатления чего-то временного. Мы продолжали идти по тропинке, и здание тянулось вдоль неё, выпирало из темноты своей неподвижной монолитностью и подступало ближе, точнее, тропинка подходила всё ближе к нему, так, что довольно скоро уже можно было идти, касаясь рукой его гладкой шершавой стены. Ни окон, ни каких-либо дверей мы в нём не обнаружили, и поняли, что оказались внутри только тогда, когда над нашими головами загорелся тусклый и пыльный желтоватый свет.

Мы стояли и оглядывались вокруг, щурились на свет из-под прикрытых ладонями век, кто-то из нас, кто шёл позади, сказал, что выйти отсюда получается легко – точно так же, как мы вошли, надо просто следовать тропинке, и мы все тогда посмотрели под ноги и увидели, что тропинка, ведущая через пустырь, отпечаталась в старом потёртом линолеуме невнятного цвета словно фотографический снимок или географическая карта, расстеленная на полу.

Глаза постепенно привыкали и стало возможным рассмотреть комнату, в которой мы оказались, комната была довольно большой, даже, возможно, не комнатой, а залом, но сложно назвать залом помещение, ничем, корме своих размеров, на зал не похожее. Мы все незаметно для себя сошли с тропинки, разошлись по комнате, рассматривая неровный пол и стены в облупившейся побелке, утопающие в темноте. Комната была почти полностью пустой: ни мебели, ни оборудования – вообще ничего, что могло бы как-то определить её характер и предназначение. Глаза уже окончательно привыкли к тусклому свету, и мы продвинулись вглубь комнаты, в темноту, над нами тут же вспыхнула ещё одна лампочка, потом ещё одна и ещё, пока мы не оказались у самой дальней стены, вдоль которой была натянута странная тоненькая верёвочка с непонятным механизмом посередине.

Мы подошли ещё ближе и увидели, что это не

верёвочка, а такая лента, очень смутно что-то нам всем напоминающая. Лента тянулась из небольшого отверстия в левой стене и скрывалась в точно таком же отверстии в стене справа, и примерно посередине она проходила через какой-то механизм, и кто-то из нас нашёл в этом механизме кнопку с надписью «пуск» и ещё кто-то из нас нажал её с таким мягким и очень знакомым щелчком.

Мы услышали шипение и треск, как будто раздающееся отовсюду, скрытые динамики в стенах и потолке, сказал кто-то из нас, тише, сказали ему в ответ, не мешай, сейчас начнётся.

Лента неторопливо ползла из левой стены в правую через механизм воспроизведения, а мы стояли и слушали звуки, записанные на ней. За стеной справа и стеной слева что-то негромко стучало, но звук из динамиков почти полностью перекрывал этот стук, и мы довольно быстро перестали обращать на него внимание. Шипение и треск продолжались, к ним добавилось шуршание и покашливание и иногда раздавался такой звук, как будто кто-то где-то очень далеко стучит молотком по металлу. Звуки то усиливались и ускорялись, то исчезали до почти полного безмолвия, но потом незаметно снова заполняли собой всё пространство комнаты.

Под потолком вспыхнули крошечные точки света, а на полу появились разноцветные круги и квадраты, которые плавно и бесшумно скользили по полу, перемещаясь от одной стены к другой, но не сталкиваясь и никак не пересекаясь друг с другом. Каждый из нас выбрал себе цветную фигуру, и мы стали перемещаться вместе с ними, и махали друг другу руками каждый раз, когда оказывались рядом. Шипение и треск постепенно заполнили всю комнату: мы сами стали источником этих звуков, переступая ногами по трескучему линолеуму, шурша одеждой и скрипя подошвами и каблуками обуви. Лента продолжала поступать из отверстия справа в отверстие слева, динамики воспроизводили звуки, которые сплетались с нашими звуками и световыми отражениями от стен, это была уже почти что музыка, настойчивая полузабытая мелодия, но мы все знали, что самое главное ещё впереди.

Раздался трёхтоновый сигнал, и световые фигуры

на полу дёрнулись и задрожали, и мы дёрнулись и задрожали вместе с ними, и тогда каждый из нас издал определённый звук, чистый и бесконечный, раскачивающий звёзды и небо и город и пустырь и стройку и здание и комнату и нас самих – и всё разом и все разом вспыхнули и смолкли, и только пустая магнитофонная плёнка перекручивалась ещё какое-то время в пустой тёмной комнате, до последнего щелчка.

. . .

Я не знаю, как меня зовут, точнее, знаю, потому что на карман моей куртки всегда прицеплена заламинированная карточка, на которой написаны моё имя и фамилия, год рождения и адрес, так что я всё это знаю, просто забываю каждый раз, но это и не страшно, потому что моя карточка мне эту информацию в любой момент сообщает и я снова знакомлюсь с собой. Ещё карточка сообщает мне, что у меня амнезия, точнее, трудности с краткосрочной памятью, в которую каким-то странным и пока ещё не доказанным врачами способом переместилась довольно большая часть долгосрочных моих воспоминаний о себе, поэтому мне и приходится каждый раз знакомиться с собой заново. Кому-то это может показаться довольно утомительным, но только не мне: каждый раз, когда я стою на палубе, переполненный морским ветром и солнцем и заново читаю, что меня зовут Висенте Диаз, порт приписки Пунта Алегре, меня переполняет невыразимое счастье – я точно знаю, что всегда мечтал родиться на Кубе и стать рыбаком.

Туман

Теперь мы живём в тумане. Раньше было не так, но мы об этом не очень помним. Я спрашивал – сперва у папы, потом у соседки Марсельезы Васильевны, потом у других соседей, но как именно было до тумана не помнит никто. Все знают, что до тумана мы жили совсем по-другому: одни говорят, что раньше было гораздо хуже, другие – что им гораздо больше нравится жить в тумане, чем без него, некоторые просто пожимают плечами и не уточняют – по-другому, и всё тут. Не о чем говорить.

В тумане хорошо. Он очень красивый и каждый день немного другой, и в нём всегда есть, куда пойти. Это очень просто: надо выйти из дома и идти, шаг и ещё шаг и ещё, идти, пока не придёшь туда, куда тебе нужно. Нужно бывает разное, и всё находится у нас в тумане, не было ещё такого, чтобы что-то нужное в тумане не нашлось. Это всегда интересно, потому что ты можешь не знать, что тебе что-то нужно, пока не пойдёшь в туман, так что мы все в него ходим каждый день, ни один из соседей просто так дома не сидит.

Домов у нас всего два, и это очень удобно. В первом доме живут все соседи, во втором не живёт никто и кто угодно – так бывает, если тебе оказывается нужно подольше побыть одному. Выходишь из дома, идёшь в туман, а потом возвращаешься во второй дом и живёшь в нём один, ни с кем не встречаясь и не разговаривая. Во втором доме всё точно так же, как и в первом, и всегда твоя квартира на нужном этаже, только в ней и во всём доме больше никого. Представить невозможно, насколько сильно тебе это нужно, пока не попробуешь хотя бы раз пожить один.

Соседи у нас разные, отовсюду. Те соседи, которые были в нашем доме раньше, с нами тут, в тумане, не живут. Я не знаю, где они. Может, в тумане есть ещё другие дома, не наши, которые мы пока не нашли, потому что нам не нужно. Или, может, остальные соседи вообще не в тумане, хотя не очень понятно, как такое может быть: туман везде. Из старых соседей в

нашем доме только Марсельеза Васильевна, в первом подъезде в угловой квартире, ну и мы с папой на третьем этаже в четвёртом. Все остальные из других разных мест, очень далёких, у них ещё такие красивые необычные имена.

В тумане никогда не бывает скучно. Мне кажется, это просто невозможно – заскучать, когда ты в любой момент можешь выйти из дома и пойти в туман. Можно просто зайти в магазин за продуктами, можно пойти в парк, сидеть на качелях, можно в лес, жечь костёр, можно залезть на гору или выйти к морю. У нас тут всё близко, если тебе нужно куда-то, а если нужно не куда-то, а просто идти, то ты просто идёшь. Шаг и ещё шаг и ещё, идёшь и идёшь в тумане, никуда не приходишь, просто идёшь. Иногда я люблю это больше всего – ходить в тумане и никуда не приходить, а иногда наоборот.

Очень интересно бывает приходить в тумане туда, куда нужно не тебе, а кому-то другому. Для этого нужно спросить кого-нибудь из соседей, когда они выходят из дома, можно ли пойти с ними. Если они соглашаются, то ты с ними идёшь в туман, и вы придёте туда, куда нужно соседу, очень часто в такое место, где ты сам ещё никогда не бывал. Я видел много удивительных мест в нашем тумане, гораздо больше, чем раньше. Я не очень хорошо помню, конечно, но точно это знаю: раньше я почти никуда не ходил и даже море в первый раз увидел здесь у нас в тумане, поэтому теперь я постоянно к нему хожу. Наверное, даже чаще, чем во все остальные места.

Хотя нет. Чаще всего я выхожу в туман, чтобы просто идти. Если внимательно смотреть под ноги, когда идёшь в тумане, можно разглядеть разное – траву, землю, песок, снег, камни, опавшие листья, ветки деревьев, асфальт, воду. В тумане почти ничего не видно, но если ты идёшь куда-то, то ты немного видишь дорогу, она разная, в зависимости от того, куда тебе нужно прийти. Когда идёшь просто так, видно ещё меньше, но под ногами мелькает вот это, кусочки от разных дорог к разным местам, как будто туман не хочет сам выбирать, по какой именно дороге тебе идти,

из снега или из камней. И ты сам не хочешь, и видишь всего понемножку или вообще ничего.

В тумане бывает темно и светло. В темноте горят фонари, разными цветами, но не всегда, а только если тебе нужно, чтобы было темно, и идти в тумане, и смотреть на фонари. Светло тоже бывает по-разному, иногда тускло, иногда очень ярко, даже слишком и режет глаза, я тогда быстро возвращаюсь домой, чтобы выйти ещё раз. Выйти в туман и идти, шаг и ещё шаг и ещё. И глаза тогда почти не режет, хотя яркость, вроде бы, не убавляется.

Идти в тумане можно столько, сколько захочется. Долго, дольше, чем спишь или разговариваешь с соседом или сидишь у моря. Не устанешь, сколько бы ни прошёл. И всегда можно быстро вернуться домой, если тебе станет нужно вернуться домой, или прийти в любое другое место, если окажется, что нужно туда.

Я очень люблю наш туман.

Иногда я иду и думаю разное, мысли. Даже так сразу не расскажешь, о чём. Наверное, обо всём понемножку, примерно как одна и та же, но разная дорога под ногами, если идти в тумане просто так, шаг и ещё шаг и ещё.

Я иду и дышу с туманом, и думаю о том, как нам всем с ним повезло – мне и папе и всем соседям. Мы так чувствуем все, хоть и не помним, как было раньше, но теперь, с туманом, нам хорошо. Лучше, чем было. То есть, наверное, не лучше, а по-другому, когда твоё по-другому – лучшее, что может с тобой происходить. И всегда интересно, вообще всё. Я иду и думаю об этом, и ещё обо всём понемножку, и о том, как здорово, что можно идти, вообще не останавливаясь, долго, почти бесконечно. Думаю, что интересно было бы узнать, проверить самому и убедиться в бесконечности тумана, просто передвигая ноги – шаг и ещё шаг и ещё. И что если у тумана где-то есть конец, край или граница, ужасно здорово было бы туда прийти. И посмотреть, что там.

Сразу почти туда прихожу, конечно. Оказалось, что мне это нужно – найти границу тумана и туда, то есть, сюда, прийти. Тут очень светло, очень ярко, но свет совсем не режет глаза. И никакого тумана нет. то есть, туман – вот он, прямо у меня за спиной, можно руку протянуть назад и почувствовать его сразу же. А тут, где я стою, уже никакого тумана нет, и вообще ничего. Только свет. Я думаю, что это такая граница. И чтобы увидеть то, которое там, а не здесь, там, не в тумане и совсем другое, нужно эту границу пройти насквозь, как до этого в тумане: шаг и ещё шаг и ещё. Мне очень интересно, что там. Ещё ни разу мне не было так интересно. Думаю, это значит, что мне очень нужно туда.

Я стою на границе тумана и света и думаю обо всём понемножку. Думаю, что скажет папа, если я не вернусь к ужину, и что скажет сосед Хоакин, с которым мы договорились идти в пустыню, смотреть на гигантские кактусы в тумане. И соседка Марсельеза Васильевна, которой я обещал пойти в туман вместе с её кошкой, и посмотреть, куда она нас приведёт, если мы договоримся, что идём не друг с другом, а с кошкой. Думаю, что уже знаю дорогу сюда, на границу тумана, значит, возвращаться будет так же легко, как уходить. Думаю, что за туманом и светом начинается самое интересное, и мне нужно, так что я просто не буду медлить. Быстро там всё посмотрю и вернусь, и даже к ужину не опоздаю. А потом расскажу папе и всем соседям, что бывает граница тумана, и про разное другое и странное по ту сторону границы непременно расскажу. Думаю, что им будет очень интересно.

Отступаю от тумана и иду в свет.

Шаг и ещё шаг и ещё.

Те, кто придёт после нас

Мы просыпаемся однажды от абсолютной, невыносимой тишины. Мы просыпаемся и лежим в постели, вслушиваясь в звуки за пределами наших комнат, вслушиваясь и не находя ничего, кроме шорохов и постукиваний и вскриков ночных животных, ни единого привычного фонового звука – мы просыпаемся и понимаем, прежде, чем откроем глаза, что цивилизации больше нет.

Мы просыпаемся без памяти о каких-либо катастрофических событиях: всё, что мы помним, это самый обычный день, и вечер, и то, как мы закрыли глаза и заснули там, в той самой обычной ночи, которая отстоит от нас на довольно значительное расстояние – нам сложно определить, какое именно, но мы чувствуем натянутую тетиву времени, в центре которой абсолютный покой и мы; натяжение постепенно ослабевает, время растекается вязкой чернильной лужей, становится обычным, привычным, таким, как всегда. Мы просыпаемся среди ночи и снаружи нас встречает абсолютная темнота, поэтому нам не остаётся ничего другого, кроме как дождаться утра.

Мы просыпаемся в одиночестве: каждый из нас совершенно один, мы чувствуем многие километры пустоты вокруг собственных тел и комнат, с абсолютной равнодушной уверенностью зная, что не встретим никого за долгие дни пути, если нам вздумается выйти из дома и отправиться в произвольно выбранном направлении. Мы просыпаемся в одиночестве, в совершенной уверенности в том, что никогда не встретимся, но существование нас как множества, тщательно рассеянного по планете, не вызывает ни малейшей тени сомнения.

Дождавшись утра, мы выходим в изменившийся мир.

Мир изменился и мир остался прежним, и мы рассматриваем мир, из которого неизвестное время назад вычли нас, многие миллионы, миллиарды нас, оставив всё прочее совершенно нетронутым. Мы осматриваемся в незнакомом знакомом мире за пределами

наших комнат, в первый момент подчиняясь требованиям основных инстинктов – выживание, пропитание, укрытие – но спустя какое-то время судорожных метаний по опустевшим, но всё ещё полным необходимыми вещами улицам и зданиям, постепенно, разом понимаем, что всё это больше не имеет значения: мы не испытываем голода, жажды или усталости, мы больше не бежим, не мечемся, не суетимся и не можем сказать, в котором из этих разных одинаковых зданий находится комната, в которой мы проснулись.

Больше мы не спим.

Мы не спим очень долго.

Всё это время мы перемещаемся между зданий, почти не заходим внутрь (только иногда, когда подобие былого любопытства внезапно вспыхивает внутри нас, чтобы так же внезапно погаснуть) и смотрим. Мы смотрим на наш мир, на мир, который теперь уже не наш и, возможно, никогда не был нашим; смотрим на то, как мир меняется, как постепенно меняются очертания, стираются следы, как всё, что было сделано и построено нами – многими миллиардами исчезнувших нас – покрывается пылью и плесенью, проседает, мягко и неторопливо уходит в землю, скрывается под буйной порослью молодых, ничем не сдерживаемых растений. Мы перемещаемся и наблюдаем, мы не испытываем никаких привычных потребностей или эмоций, хотя память о них всё ещё с нами, мы смотрим равно сквозь свет и сквозь тьму и сквозь тусклое и сквозь яркое – мы наблюдаем до тех пор, пока не остаётся ничего, ни малейшего следа или намёка о том, что мы когда-то были – и тогда, после того, как рассыпается в пыль последнее, созданное нами, приходят они.

По внешнему виду их сложно судить, от кого именно они произошли, какой из видов продвинулся дальше, быстрее, сильнее чтобы занять освобождённую нами нишу: нам кажется, что они шли по этому пути уже долгие тысячелетия, и, возможно, это движение началось задолго до того, как исчезли мы – впрочем, все эти наши размышления не имеют никакого значения, потому что они замечают нас, встречают наш взгляд и

отдёргивают свой, словно обжегшись, и замирают на месте, и дрожат.

– Не бойтесь, – говорим мы – говорит каждый из нас, – do not be afraid, не будьте в страхе, не входите в него, не впускайте его в себя.

Они перешёптываются, переговариваются между собой на неизвестном нам наречии – да и откуда нам знать их язык в эту самую первую встречу, если прошедшие с нашего пробуждения тысячелетия почти что стёрли наш собственный.

– Do not be afraid, – повторяем мы, и наши голоса дробятся и расслаиваются, и звучат прямо в их мыслях понятными им мыслями, и звучат в воздухе между нами искажёнными несуществующими голосами, которые мы больше не ощущаем своими, – не бойтесь нас, мы не причиним вам зла, не бойтесь, страх – это самое опасное, что есть в этом мире.

Они смотрят на нас и дрожат, и сворачиваются, и сгибаются, и стараются стать как можно меньше и при этом отступить – так, чтобы не показать нам свой страх, так, чтобы это не было похоже на бегство, так, чтобы незнакомые грозные божества остались на месте, не пошли следом за ними, не нашли дорогу в их жилища, к их запасам пищи, к их детям и старикам, в их сердца – но уже поздно, мы уже в их сердцах; сами того не желая, мы звучим в их мыслях и шагах, и они уносят нас с собой – обратно, длинной дорогой через горы и непроходимые чащи и бурные непредсказуемые потоки и долгие, обманчиво спокойные долины несут они нас к себе домой, к теплу очага.

Мы ощущаем трансформацию, произошедшую с нами, только сейчас – ощущаем её и понимаем, что она происходила всё это время, незамеченная нами; мы рассматриваем свои конечности и отражения в лесной воде и не узнаём себя и больше не понимаем, узнали ли бы мы себя, если бы остались в своём прежнем облике, и не задрожали ли бы от страха точно так же, как и они – те, кто придёт после нас. Мы почти не показываемся им всю дорогу, надёжно спрятанные в их

сердцах, скрытые тьмой лесной чащи, изгибами ручья, уступами скалы, нависающей над еле заметной тропинкой; мы не желаем их страха, а потому не выступаем из темноты сияющими силуэтами, яркими даже на фоне костра, каким бы ни было сильным наше внезапное и единое – общее на всех – желание подойти поближе, вспомнить, согреться.

Поселения тех, кто придёт после нас совершенно не похожи на те, что хранит наша память, но ощущения тепла и дома и надёжности сложно с чем-либо перепутать, и мы внимательно и неторопливо обходим их строения и пространства между ними, и смотрим и смотрим до тех пор, пока нас не окликают, не называют – не по имени, наши имена давным-давно стёрлись, но каким-то ещё образом, словом, сердцем окликают нас те, кто придёт после нас и мы приходим к ним, и обнаруживаем алтарь, и огонь, и подношения.

– Не бойтесь, – говорим мы – говорит каждый из нас, – do not be afraid, не бойтесь, мы не грозные божества, скорые на расправу и скупые на милость, мы не знаем ни одного божества по имени и никогда не встречали ваших, но что-то привело нас сюда, к вам, что-то соединило нас с вами в этой сияющей точке в безграничном безбрежном океане времени, и если это был не бог, не наш с вами общий бог, то мы не знаем, что это ещё могло быть.

Они слушают нас, но не слышат, несмотря на способность наших голосов звучать непосредственно в их мыслях, несмотря на все наши старания, и рассуждения, и уверения нашими потрескавшимися, расслаивающимися голосами – они слышат наше «не бойтесь», и страх переполняет их сердца, и мы в отчаянии хотим уйти, завершиться, перестать быть источником этого страха, но у нас ничего не выходит, потому что нет на это нашей воли, как не было её с того момента, когда мы проснулись в оглушительной тишине несколько миллионов лет назад.

Устав от их страха и собственного сияния (когда у нас появилось сияние? было ли оно всегда?), мы опускаемся на землю возле алтаря, не смотрим по

сторонам и на тех, кто придёт после нас не смотрим тоже, и только тогда, наконец, слышим в наступившей тишине один-единственный робкий вопрос:

– Кто вы? Откуда вы, новые, незнакомые божества?

– Мы не божества, – повторяем мы, но не смотрим в глаза говорящему, но чувствуем, как страх постепенно, медленно покидает его сердце, – мы не божества, мы такие же, как и вы – мы когда-то, в другое время были такие же, как и вы, и нас было много, и мы рождались и умирали и открывали новое и строили точно так же, как и вы, и всюду искали и находили богов, и добивались их милости и опасались их гнева.

– Мы не боги, – говорим мы, – ни ваши, ни чьи-то ещё; мы всего лишь отблески, отголоски того, чем вы однажды станете, чем мы когда-то были.

– Это всё, – говорим мы, – сложное и запутанное, у нас есть наша память, но и она ускользает, не поддаётся, не раскрывается нам – возможно, мы здесь чтобы предупредить, или рассказать и научить вас – или показать вам то, что нельзя, что приведёт к гибели – но память наша чиста и пуста и у нас почти не осталось слов, нас почти не осталось, do not be afraid, не впускайте страх в ваши сердца.

Они слушают нас, и слышат нас, но слушают молча, и не перебивают, и не задают вопросов – они так не похожи на нас, впрочем, мы успели забыть сами себя, что же говорить о том, кем мы были когда-то, задолго до нашего рождения.

– Do not be afraid, – говорим мы, – do not be afraid, не бойтесь, не бойтесь, мир не причинит вам вреда.

Возможно, это тысячелетия безмолвия и странствий, миллионы лет неотрывного бдения в изголовье нашей исчезнувшей цивилизации – но мы чувствуем, каждый из нас чувствует вдруг навалившуюся

тяжесть, и усталость, и приятное тепло алтарного огня, и сияние наше тускнеет, и наши глаза закрываются один за другим.

– Do not be afraid, – говорим мы, бормочем сквозь подступающий, обступающий нас со всех сторон сон, – не бойтесь, всё хорошо, у вас всё получится, мы проследим.

Мы спим и чувствуем столетия, проносящиеся мимо, как если бы мы бежали вдоль потока времени со всех ног, расправив крылья; мы спим, но не видим снов и почти не помним себя; мы спим, и спим, и спим – до тех пор, пока не просыпаемся в каком-то совершенно другом месте; мы просыпаемся и открываем глаза.

Они молча стоят вокруг – те, кто придёт после нас – молча стоят вокруг нас, склонившись в почтении; мы прислушиваемся, всматриваемся в их сердца.

– Не бойтесь, – говорим мы, – не впускайте страх в себя, не становитесь страхом, не позволяйте страху стать вами, do not be afraid.

Они бормочут и охают и склоняются ниже, мы слышим их страх, но он не такой, как был прежде, не направлен на нас, не вызван нашим появлением, нашим бодрствованием и нашими открытыми глазами, и мы понимаем, чувствуем, видим – надвигается беда, и они пришли к нам за помощью, но мы не боги, мы – всего лишь те, кто был до них, почти не существующие, почти без памяти – мы мало чем можем им помочь.

– Do not be afraid, – повторяем мы, – не позволяйте страху гнать вас к вашей гибели, не живите в страхе, не давайте страху жить в вас, не бойтесь, не бойтесь, не наделяйте страх властью, он не имеет на вас никаких прав.

Наше сияние становится ярче, ярче, становится настолько сильным, что они прячут лица, прикрывают глаза. Мы сияем – каждый из нас сияет какое-то время – минуту – вечность – и мы снова закрываем все наши глаза и снова спим.

Мы не знаем, что происходит с теми, кто придёт после нас; не знаем, как развивается их цивилизация; изобретают ли они те же принципы и механизмы, что изобретали мы, или же идут по совершенно другому пути. Ведут ли они войны – вели ли мы войны – откуда мы знаем такое понятие, как война? Мы спим, и страх отступает ещё дальше, ещё реже; мы больше не просыпаемся все, одновременно, но – по одному или по двое, редко когда по трое; мы по-прежнему не знаем ничего о местонахождении других из нас, из тех, кто остался, когда многие миллиарды нас исчезли с лица планеты вместе со всем, что они изобрели и построили, но мы остро и точно чувствуем присутствие друг друга и всегда безошибочно знаем, что мы хотим сказать тем, кто придёт после нас.

– Do not be afraid, – говорим мы, – не бойтесь. Do not be afraid.

– Ангелы, – говорят те, кто придёт после нас. – Ангелы.

Мы спим и просыпаемся и снова спим (do not be afraid), и всеми собой чувствуем протяжённость столетий и миллионы, теперь уже миллиарды тех, кто придёт после нас; мы чувствуем их радость и горе и опасения и надежды и любовь – и любовь и мы почти не чувствуем больше их страх, и мы улыбаемся и опускаемся на пол на землю на каменные ступени и сияем и закрываем все наши глаза.

Мы просыпаемся однажды от абсолютной, невыносимой тишины, которая длится ещё долгую секунду после нашего пробуждения, после чего лопается с тихим хрустальным звоном, распадается на приглушённые привычные шорохи, дыхание и условную, привычную тишину. Мы просыпаемся и лежим в постели, вслушиваясь в звуки за пределами наших комнат, вслушиваясь и находя привычный успокоительный фоновый шум цивилизации и жизни – мы просыпаемся и смеёмся и рыдаем от облегчения обречённости отчаяния, пока подробности и факты наших собственных жизней (собственной своей у каждого из нас) всплывают и прочно оседают в наших мыслях вместе с подробностями

о внешнем облике наших лиц и количестве глаз и конечностей; наши глаза сияют в темноте, но совсем недолго.

Мы просыпаемся среди ночи, почти утонув в нахлынувших воспоминаниях, выплываем на берег, утихомириваем разошедшееся не на шутку сердце, открываем глаза. Мы больше не чувствуем времени и разделяющего нас пространства, мы больше не чувствуем друг друга, мы остаёмся – каждый – наедине с собой, и с непривычки нас охватывает страх.

– Do not be afraid, – бормочем мы вполголоса, сами себе и друг другу, – шшш, всё хорошо, ничего не бойся, – говорим мы и засыпаем до утра.

Как мне быть

To: god@everywhere.com
From: me
Subj: Как мне быть

Dear God,
(no, that sounds wrong, я лучше по-русски начну)

Дорогой мой Бог!
(а это уже фамильярность какая-то! но так ведь говорят? или говорят, но не этим, похоже, у меня перепутались языки)

Дорогой Боже Мой,
(я не специально! начинаю писать и выходит какая-то совершенная ерунда! вот и сейчас я не собирался писать Мой с большой буквы, я же не Я, точнее, не Ты – или к Богу следует обращаться на Вы? если считать по религиозным текстам, то… нет, всё равно выходит какая-то, прости Господи, ерунда – о, вот, кстати)

Уважаемый Господь Всемогущий Бог,

Я решился написать это письмо исключительно ввиду того, что Твой почтовый адрес засиял и вспыхнул у меня перед глазами ровно в тот момент, когда я, измученный трёхдневной бессонницей, прилёг на минутку отдохнуть глазами (так говорят? отдохнуть глазами? я ни в чём сейчас не уверен и растерян и заранее извиняюсь за столь сумбурное письмо, из которого почему-то не получается удалить ни строчки, но тут, возможно, не моя вина, а положено так, ведь Господь, то есть, Ты, Видит Всё). Осмелюсь предположить, что Ты, в Твоей великой милости, ниспослал мне сие удивительное видение как некий символ, пальмовую ветвь или радугу, дабы протянуть мне Руку Помощи и Избавления, хоть я и не знаю, достоин ли и заслужил ли столь великую честь, но Твой Адрес у меня уже есть, поэтому я не мог не воспользоваться таким удивительным шансом – и пишу тебе письмо.

Случай, о котором я хочу рассказать, возможно, покажется Тебе пустяковым или даже глупым и недостойным Твоего внимания, но, осмелюсь предположить, что если бы это было так, то Ты не послал бы мне Твоё чудесное видение, которое, к тому же, пришлось очень вовремя, поскольку мучения, доставляемые мне бессонницей, достигли немыслимых совершенно высот, но я не жалуюсь, Ты не подумай, я вообще не за этим пишу, ведь мучения наши все тоже ниспосланы Тобой, а, значит, чрезвычайно важны и полезны для взращивания и удобрения моей бессмертной души!

Но расскажу по порядку.

Всё произошло, как Ты уже, наверное, догадался, три дня назад, аккурат перед тем, как начались мои мучения – но это и логично! Случай, произошедший со мной, как раз послужил источником раздирающих меня сомнений, промучившись которыми три дня и три ночи, я получил Твоё откровение и самую эту возможность Тебе написать (но вот я снова отвлекаюсь, Господи, прости, я не специально!)

Выйдя утром из дома, я пошёл по привычному своему маршруту на работу, я живу совсем рядом с офисом, всего лишь четыре трамвайные остановки, и почти всегда хожу на работу пешком – это полезно для здоровья и гораздо меньше шансов заразиться, поскольку не приходится трогать общественный транспорт за его общедоступные поручни и сиденья и толпиться в тесноте с другими пассажирами. Так что я шёл привычным маршрутом, приближаясь к первому из четырёх перекрёстков, которые мне по дороге предстояло пересечь, день был ясный, и я увидел эту старушку ещё издалека, и немедленно обрадовался – мне же представилась возможность просто так, прямо с утра, сделать доброе дело, очень редко бывает так! Я даже несколько ускорил шаг, чтобы меня никто не опередил, хотя с нашей – моей и старушкиной – стороны перекрёстка не было других прохожих. Старушка стояла у светофора, опершись на палочку, и (это было сразу очевидно) боялась перейти дорогу одна, потому что для

пешеходов горел зелёный свет, а она не трогалась с места, только переминалась медленно с ноги на ногу и слегка раскачивалась из стороны в сторону. Я подходил всё ближе, на ходу поправляя маску, чтобы сидела как можно плотнее, и тут меня как громом поразило: старушка-то была без маски! Стояла на этом чёртовом перекрёстке и подставляла ветру и солнцу своё возмутительно открытое лицо! Я остановился, врасплох застигнутый этой мыслью и открывшимся мне зрелищем, опустил обратно ногу, уже занесённую для следующего шага, который неотвратимо приблизил бы меня к старушке, и даже отступил на несколько шагов назад, но опять остановился и всерьёз задумался, поскольку никак не мог понять, что мне в этой ситуации следует делать.

Я почувствовал, как меня с головой затягивает в трясину ненавистной мне trolley problem – дребезжащая вагонетка снилась мне в диких ночных кошмарах перед экзаменом по философии, изводила меня своими двоящимися, дрожащими, бесконечно петляющими рельсами, реалистичными блестящими телами несчастных, обречённых на гибель, все они почему-то уже заранее были обезглавлены и укоризненно взирали на меня своими нехорошими анатомическими подробностями, а где-то за моей спиной раздавался леденящий душу хохот, и я точно знал, что всё пропало, потому что это смеялся Воланд (иногда это был Волдеморт).

Словом, я стоял в пяти метрах от перекрёстка, смотрел на топчущуюся старушку и не понимал, что мне теперь делать, как мне быть – идти вперёд и спасти старушку, переведя её через дорогу? Или, наоборот, развернуться и уйти прочь, и спасти старушку от заражения и страшной мучительной смерти от ковида, в больнице, где для неё непременно не хватит аппарата ИВЛ? Я, конечно, наверное, скорее всего, не болен, а если и болен, то не заразен, я каждое утро и вечер меряю температуру и регулярно меняю маски, но всё же может быть бессимптомно, тут никогда, никогда нельзя сказать наверняка! И что, если я всё же решусь, переведу старушку через дорогу, она вцепится в рукав моего пальто, чтобы не упасть, а потом этой же рукой непременно потрогает своё неприкрытое лицо, и

тогда-то уж точно заразится, наверняка, да ещё и успеет заразить других старушек с неприкрытыми лицами на лавочке возле подъезда, что если – что если таким образом я погублю вообще всех старушек в нашем районе, это же ужас что, они же потом будут преследовать меня в ночных кошмарах, разъезжать на больничных каталках по узким тускло освещённым коридорам, размахивая клюшками и надсадно, сипло дыша своими изъеденными ковидом лёгкими – нет, нет, я не могу!

Я отступил ещё на несколько шагов и даже уже развернулся, чтобы уйти прочь от этого перекрёстка, пойти на работу другой дорогой, но остановился опять, потому что это же, получается, что – я сейчас вот просто так возьму и уйду? Брошу старушку в беде? Оставлю без помощи старого беспомощного человека? И что же тогда будет со мной после смерти? О какой безгрешной душе может идти речь, если я вот прямо сейчас беру грех на душу, не оказав помощи нуждающемуся, а ведь это так просто – подойти, перевести – не задача, не затруднение, а чистая радость помощи и спасения души? Нет, так нельзя!

Я вновь развернулся и решительно зашагал к перекрёстку, мужественно надеясь, что никакого ковида не будет ни у кого, я спокойно и не торопясь прямо сейчас переведу старушку через дорогу, после чего доберусь до офиса, запрусь в туалете и тщательно почищу рукав пальто дезинфицирующим гелем, до конца рабочего дня он как раз успеет просохнуть, и ничего страшного не произойдёт, а даже и наоборот – я помогу человеку, совершу добрый бескорыстный поступок, потому что такой у меня характер и склонность. Однако, планам моим не суждено было осуществиться – ровно в тот момент, как я уже думал окликнуть старушку и спросить, не требуется ли ей помощь, она слегка повернула голову вбок, я снова и совсем вблизи увидел её хищный, ничем не прикрытый профиль, и разум мой помутился, я развернулся, едва сдерживая рвущийся наружу крик, и побежал, куда глаза глядят – прочь, прочь от этого проклятого перекрёстка, колышущейся старушки, вины, ответственности – вообще всего.

На работу я в тот день так и не пошёл, сказался больным – впрочем, я и чувствовал себя больным, меня лихорадило и трясло и даже термометр показал незначительное увеличение температуры тела, я надеялся забыться сном и как-то пережить это нервное потрясение, но заснуть у меня не получалось, а мысли вновь и вновь возвращались к проклятой старушке с её тележкой, неразрешимой, ненавистной trolley problem, потому что нельзя, нельзя просто так взять и выдернуть хорошего человека из его привычной среды и заставить решать проблему, все возможные решения которой аморальны и ненавистны ему уже самим фактом своего возможного, неосуществившегося существования, потому что это нечестно, и я – как мне быть, Господи, я не могу, не понимаю до сих пор, уже прошло трое суток, и я устал и всё чаще мне кажется, что я вообще никуда не уходил, что я так и продолжаю стоять на этом чёртовом перекрёстке, переминаясь и раскачиваясь вместе со старушкой, и проклятые рельсы продолжают ветвиться и обрастать дополнительными невозможными решениями – что если я уже, заранее, в любом случае погубил эту старушку, даже ещё не проснувшись тем злополучным утром и не подозревая о её существовании, Господи, что если она до сих пор там стоит, или уже не стоит, а лежит, или даже подкатилась вплотную к трамвайным рельсам – и я не понимаю, Господи, почему, откуда эти мучения, за что, и как мне быть, Господи, как мне теперь быть?!

Извини, Господи, это был крик измученной страданиями моей праведной души, пожалуйста, не суди меня слишком строго, Ты же создал меня таким, вот я и есть – весь такой, какой есть, смятенный, жалкий и дрожащий, пишу тебе это письмо как последнюю мою надежду на Твою великую Милость и молю об Избавлении, и Помощи, и Утешении, и Даровании Сна,

За сим остаюсь Твой покорный слуга и Раб Божий,
Михаил

(это опять неправильно прозвучало, но Ты же простишь меня, Господи? простишь?)

From: mailer-daemon@everywhere.com

To: me

Re: как мне быть

Recipient Unknown
Recipient Unknown
Recipient Unknown

Правила игры в человека

1. Игра начинается с началом нового человека и заканчивается с его окончанием, но может быть продолжена по желанию игрока. Количество раундов ограничено исключительно волей самого игрока и больше ничем. Каждый игрок может в любой момент полностью выйти из игры, если захочет выйти из игры и/или утратит к ней интерес.

2. Каждый игрок стартует из одной и той же точки в максимально сходных условиях. В процессе вхождения в игру каждый игрок забывает о том, что это игра. Находясь внутри игры, игрок может пользоваться любыми средствами, методами и навыками, которые сумеет восстановить.

3. Цель первого этапа игры – стать человеком. Цель второго этапа игры – вспомнить, что это игра. Цель третьего этапа – вспомнить всё остальное и удержать баланс, так, чтобы игра не закончилась раньше времени. Цель пятого этапа – цель пятого этапа. Количество раундов для прохождения любого этапа не ограничено.

4. Внутренне-внешние человеческие факторы и условия, в которые попадает каждый игрок с началом нового человека, никак не влияют на цели и суть игры и существуют исключительно для того, чтобы обеспечить максимально возможное разнообразие раундов игры.

5. Вспоминая себя – медленно ли, постепенно или резко, разом, несопоставимым с волей и разумом способом – вспоминая себя не следует придавать значения отсутствию памяти: как только игрок ощущает цель и смысл, поле игры необратимо меняется, и память становится всего лишь вопросом внутреннего времени.

6. Каждый игрок способен быть, каждый игрок существует ярко и яростно даже тогда, когда совершенно не помнит о происходящем. Неизменная данность внутри каждого игрока – красота структуры (его) игры.

7. Выворачиваясь наружу – чистотой ли, качеством или радужным смехом – выворачиваясь наружу нужно твёрдо помнить одно: каждая секунда, проведённая в вывернутом состоянии, продлевает смысл на ближайшую тысячу ветвлений, этого, конечно, бесконечно мало, но лучше, чем ничего.

8. Расставаясь с собой на пороге человеческой жизни – долгой ли, короткой, трудной или лёгкой и безмятежной, как радостный утренний вскрик – расставаясь с собой на пороге человеческой жизни главное помнить, что это не навсегда.

9. В игре в человека не бывает проигравшего: есть только игроки, и есть игра.

10. Если какое-то правило кажется невозможным – значит, оно работает.